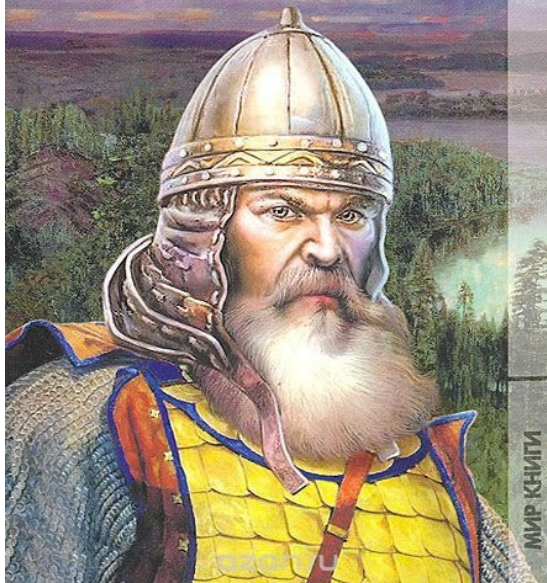


Н. Гейнце
Ермак
Тимофеевич



МИР КНИГИ

Гейнце Н.Э. «Ермак Тимофеевич»: Роман // Мир Книги Ритейл, Литература, Москва, 2012
ISBN: 978-5-501-00207-4
FB2: Starkosta, 18 March 2019, version 1.0
UUID: AD225FB9-8FA7-4DE1-94AB-8F3D078F5DCB
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Эдуардович Гейнце

Ермак Тимофеевич

Николай Эдуардович Гейнце (1852–1913) — русский беллетрист, журналист, драматург; автор множества исторических романов. В своих произведениях он допускал немало исторических вольностей, но его книги, написанные живо и увлекательно, пользовались большим спросом у читателей. Гейнце сочинял не только исторические, но и уголовно-бытовые романы и повести. Им также создано несколько пьес, с успехом встреченных публикой.

Роман «Ермак Тимофеевич», представленный на страницах этой книги, повествует о легендарном предводителе казацкой дружины, о его походах за Урал, о разгроме татарского войска хана Кучума, тревожившего русское государство частыми набегами, и о присоединении Сибирских земель к российской короне. Красной нитью проходит в романе история короткой, но яркой любви атамана Ермака и Ксении Строгановой.

Содержание

Часть первая «На конце России»	0006
I В деревенском замке	0006
II Купцы знатного рода	0014
III В светлице	0024
IV Суженый	0033
V Семен Строганов	0044
VI Русская вольница	0055
VII Иван Кольцо	0065
VIII На новой стройке	0077
IX Сны Ермака	0090
X Найденыш	0101
XI Ермак — знахарь	0112
XII Гонец	0124
XIII На пустыре	0134
XIV Неожиданная встреча	0146
XV Наедине с собою	0156
XVI Внезапная мысль	0165
XVII Нежданная гостья	0174
XVIII Полонянка	0184
XIX Хворь усиливается	0193
XX Крайнее средство	0203
XXI В опочивальне	0213
XXII Чудо	0222
XXIII Второй день лечения	0232
XXIV Колечко	0242

XXV Ходатай	0252
Часть вторая Князь Сибирский	0264
I Москва XVI века	0264
II Сыноубийство	0276
III Он не пришел	0288
IV Сила любви	0300
V Московские страхи	0311
VI Возвращение Ивана Кольца	0323
VII На старуху бывает проруха	0334
VIII Семейный совет	0346
IX Обручение	0358
X В поход	0370
XI Первая стычка	0381
XII На зимовье	0392
XIII Цыганка	0404
XIV Мать и дочь	0415
XV Гаданье	0425
XVI Возвращение Якова	0434
XVII В глубь Сибири	0445
XVIII Дело началось	0456
XIX В столице Кучума	0467
XX Под звон колоколов	0478
XXI Возвращение Ивана Кольца	0491
XXII Свадьба	0503
XXIII Смерть Ивана Кольца	0519
XXIV Смерть Ермака	0533
XXV В тихой обители	0542

Николай Гейнце
Ермак Тимофеевич

Часть первая **«На конце России»**

I

В деревенском замке

— Ну что, Антиповна, как Аксюта?
— Да все так же, батюшка Максим Яковлевич, все так же...

— И с чего бы это?

— Ума не приложу, батюшка Максим Яковлевич, что за напасть такая стряслась над девушкой... Кажись, с месяц всего, как кровь с молоком была, красавица писаная, она и теперь краля кралей, но только все же и краски поубавились, и с тела немножко спала, а о веселье прежнем и помину нет, сидит, в одно место смотрит, по целым часам не шелохнется, ни улыбки, не токмо смеху веселого девичьего, в светлице и не слышать, оторопь даже берет...

— Недужится, может?

— Пытала я ее, здорова, говорит... Да и, по видимости, не недужится, ни тебе огневицы,

ни лихоманки не видать, батюшка... Мекала я, может, от сглазу... С уголька три зари вспрыскивала, крещеной водой три утра, ничегошеньки не действует... А видимо, напущено.

— Напущено?

— Напущено, батюшка Максим Яковлевич, напущено... Поверь мне, старухе. Истинное слово напущено...

— Отчитать надо, не мне тебя учить, чай, сама знаешь эти колдовства и наговоры.

— Знаю, батюшка, знаю, как не знать, столько лет на свете живши, читала, отчитывала...

— Но что же?

— Не в пользу, батюшка, не в пользу... Видно, колдовство-то припущено сильное... Бес в ней... Прости господи...

Последние слова были произнесены шепотом.

— Окстись! Бес... Неладное болтаешь... Ребенок ведь...

— Ну какой же, батюшка, Максим Яковлевич, она ребенок, девятнадцатый год пошел... Знамо, девушка соблюдена, душа невинная,

то он-то враг людской, таких-то и любит...

— Полно болтать, Антиповна, несуразное... Поди, присмотрись к Аксюте, может, болезнь внутри еще выкажется...

— Пойду, батюшка, Максим Яковлевич, присмотрюсь. Ноне ее на ночь маслицем освященным помажу... Может, Бог даст, и полегчает ее душеньке. Только ты, батюшка, занапрасну меня, старуху, обижаешь, что болтаю я несуразное... Силен он, враг людской, силен... Горами ворочает, а не только что де-вушкой...

— Да ты раскинь умом, старая, с чего бесу входить-то в нее?

— С чего? Злым человеком, лиходеем напущен... За всяко просто бывает, батюшка...

— Где у нас лиходеец-то... Татары, вогуличи, остяки. Так Аксюта их и в глаза не видала... Наша же челядь вся нам проданная...

— Ох, батюшка, разве можно влезть в человека-то? Вот взять хотя бы нового-то черномазого, гостя желанного...

— Ты говоришь о Ермаке?

— Хотя бы и о нем.

— Да Аксюта его, кажись, всего на счет ра-

за три видела...

— Много ли ребенку-то надо?

— Вот и толкуй тут с тобой... То ребенок, а то не ребенок...

— Вестимо, ребенок душенькой...

— Иди... иди...

Разговор этот происходил в июле 1581 года между Максимом Яковлевичем Строгановым, высоким, красивым, мужчиною лет тридцати, с чисто русским открытым лицом — несколько выдающиеся только скулы его указывали на примесь татарской крови — и старухой лет под пятьдесят, Лукерьей Антиповной, нянькой его сестры Ксении Яковлевны, в одной из горниц обширных хором братьев Строгановых.

Привольно раскинулись и высоко поднялись эти хоромы и могли, по справедливости, быть названными деревенским замком. Трехэтажные, хотя окна начинались только со второго этажа, они стояли посреди огромного двора, обнесенного острогом из заостренных толстых бревен: кругом хором по двору стояли отдельные избы, где жила многочисленная прислуга, составляющая при случае и

оборонительную силу.

У крепких дубовых ворот грозно глядели две пушки, а в амбарах, помещавшихся в нижнем этаже хором, было множество пища-лей и холодного оружия — хорошего гостин-ца для неожиданных врагов.

Внутри хоромы Строгановых были убраны с царской роскошью. Стены многих горниц были обиты золотой и серебряной парчой, по-толки искусно расписаны.

Словом, жили купцы Строгановы, как мно-гим боярам в описываемое время жить не приходилось, но жили зато у Великой Перми, «на конце России», по выражению Карамзи-на, на рубеже неизмеримого пространства се-верной Азии, огражденного Каменным поя-сом (Уральским хребтом), Ледовитым морем, океаном Восточным, цепью гор Алтайских и Саянских — Сибири. Тогда это было отечество многолюдных монгольских, татарских, чуд-ских, финских племен.

Страна эта ускользнула от исследования древних космографов, и эта неизвестность да-вала обильную пищу фантазии.

Так, на главной высоте земного шара бы-

ло, как указывал великий Линней, первобытное убежище Ноева семейства после губительного всемирного наводнения. Там воображение современников Геродота искало грифов, стерегущих золото.

Но история не ведала Сибири до нашего гуннов, турок и монголов на Европу. Предки Аттилы скитались по берегам Енисея, славный хан Дизавул принимал Юстиниана — сановника Земерка в Алтайских долинах, послы Иннокентия IV и святого Людовика ехали к наследникам Чингисхана мимо Байкала, и несчастный отец Александра Невского падал ниц перед Гартом в окрестностях Амура.

Русские люди, еще ранее чем узнать в XIII веке юг Сибири как данники монголов, узнали ее северо-запад как завоеватели. Смелые новгородцы еще в XI веке обогащались драгоценными сибирскими мехами.

Завоеватели явились русские люди и после освобождения из-под татарского ига. В исходе XV столетия знамена Москвы уже развевались на снежном хребте Каменного пояса, называвшегося в древности горами Рифей-

скими, и воеводы Иоанна III возгласили имя первого русского самодержца на берегах Тавры, Иртыша, Оби, в пяти тысячах верст от Москвы.

Иоанн III уже именовался в своем титуле князем югорским, сын его Василий обдорским и кондинским, а внук Иоанн IV — сибирским. Эта огромная по пространству, но малолюдная монгольская или татарская держава, составившаяся из древних улусов камских и тюменских, была обложена данью.

По весьма недостоверным сказаниям, записанным летописцами со слов магометанских жителей Сибири, история основания этой державы передается следующим образом.

Некий князь Ивек, или Он, ногайского племени, магометанской веры, жил на реке Иртыш, повелевая многими татарами, остяками и вогуличами. Мятежник Чингис сверг Ивека, но из любви к его сыну Тайбуга дал последнему рать для завоевания берегов Иртыша и великой Оби, где Тайбуг и основал Сибирское ханство и город Чингис на Туре.

После смерти Тайбути в этом ханстве

властвовал его сын Ходжа, а затем внук Мар, отец Адора и Ябока, женатый на казанской царевне, сестре Упака. Последний убил Мара, а сын Адерса Магмет убил Пака, построил Искор, или Сибирь на Иртыше. Этот город находился в шестидесяти верстах от нынешнего Тобольска.

Преемники Магмета были Агиш, сын Ябока, затем сын Магмета Казый и дети последнего — московские данники Едигер и Бембулат. Они были свержены Кучумом, сыном киргизского хана Муртасы — первым царем сибирским.

Такова древняя история страны, лежавшей за «концом России», на рубеже которой высился деревянный замок владетельных купцов Строгановых, окруженный на неизмеримое пространство дарованными им жалованными царскими грамотами землями с построенными их же иждивением городищами, поселками и крепостцами, кипевшими жизнью среди этого обширного безлюдья.

Купцы знатного рода

Хотя в описываемое нами время «сибирский царь» Кучум и был данником Иоанна IV, но русское господство за Каменным поясом, то есть за Уралом, было слабо и ненадежно. Сибирские татары, признав московского царя своим верховным властителем, не только неаккуратно и худо платили ему дань, но даже частыми набегами тревожили стоящую на тогдашнем рубеже русском Великую Пермь.

Озабоченный как внутренними смутами, так и внешними делами — непрерывными войнами, царь Иоанн Васильевич не мог ни утвердить свою власть над далекой Сибирью, ни охранить спокойствия русских владений между Камою и Двиною, где издавна уже были поселки людей, привлеченных туда естественным изобилием почвы, дешевизной жизненных припасов и выгодами мены с соседними полудикими охотничьими народами, доставлявшими в изобилии драгоценные

меха.

В числе местных «российских всельников» были и купцы Яков и Григорий Иоаникиевы Строгановы. Отец их Иоаникий, или Аника, Строганов обогатился устроенными им на Вычегде соляными варницами и первый открыл путь для русской торговли за уральский хребет.

Купцы эти были не простого рода. Они происходили от знатного мурзы Золотой Орды, принявшего святое крещение и названного Спиридоном, по преданию научившего русских людей употреблению счетов. Попавши в одной из битв с татарами в плен, он был измучен своими озлобленными единоверцами — они его «застрогали» до смерти. Поэтому его сын назван «Строгановым», внук же способствовал освобождению великого князя Василия Темного, бывшего в плену в казанских улусах.

Желая как-нибудь обезопасить границы своего государства с беспокойной Сибирью и обуздать своих данников — татар, Иоанн Васильевич обратил свое внимание на этих купцов знатного рода Якова и Григория Стро-

гановых как на людей умных и знающих все обстоятельства, условия жизни северо-восточного края России. Воспользовавшись бытностью их в Москве по делам, он призвал их к себе, долго беседовал с ними, одобрил высказанные ими мысли и данные советы и жалованными грамотами отдал в их владение все пустые места, лежавшие вниз по Каме, от земли пермской до реки Силвы и берега Чусовой до ее устья, позволил им ставить там крепости в защиту от сибирских и ногайских хищников, иметь в своем иждивении огнестрельные снаряды, пушкарей, воинов, принимать к себе всяких вольных, не тяглых и не беглых, людей, ведать и судить их независимо от пермских наместников и тиунов, не возить и не кормить послов, ездивших в Москву из Сибири или в Сибирь из Москвы, заводить селения, пашни и соляные вариницы и в течение двадцати лет торговать беспошлинно солью и рыбою, но с обязательством «не делать руд», а если найдут где серебряную, или медную, или оловянную, немедленно извещать о том казначеев государевых.

Эта царская милость, полная государствен-

ной мудрости, была оказана Строгановым царем Иоанном Васильевичем в блестящий и счастливый период его царствования, неомраченного еще внутренними смутами, так повлиявшими на впечатлительного Иоанна, знавшего с самых юных лет цену боярской преданности.

Братья Строгановы деятельно принялись за осуществление своих одобренных царем планов. В 1558 году они основали близ устья Чусовой городок Канкор, на мысу Пискорском, где стоял монастырь Всемилоостивейшего Спаса, в 1564 году — крепость Кергедон на Орловском Волоке, а в 1568 и 1570 годах — несколько острогов на берегах Чусовой и Силбы. Целая масса бродяг и бездомников явилась на клич братьев Строгановых, обещавших богатые плоды трудолюбия и добычу — смелости. С тех пор безлюдные пространства населились.

Подобно владетельным князьям, братья Строгановы имели свое войско, свою управу, стоя по царскому велению на страже северо-востока России. Уже в 1572 году оказался благой результат их деятельности, они сми-

рили бунт черемисов, остяков, башкирцев, одержав победу над их соединительными толпами и снова взяв с них присягу на верность царю московскому.

В соседней между тем Сибири произошли значительные перемены.

Кучум в начале своего владения Сибирью искал благоволения царя Иоанна Васильевича, опасаясь неведомых ему жителей захваченной страны, которых он насильно обращал в магометанскую веру, и ногаев — друзей России.

Утвердивши же власть над Тобольской ордою, переманив к себе многих степных киргизов и женив своего сына Алея на дочери ногайского князя Тип-Акмета, он почувствовал себя самостоятельным и перестал исполнять обязанности московского данника, сносился тайно со свирепыми черемисами, возбуждая их к бунту против московского государя и под угрозой смертной казни запрещал остякам и вогуличам платить древнюю дань России.

Все это не могло нравиться в Москве, куда, однако, эти вести, за дальностью расстояния, пришли уже после того, как Кучум, встрево-

женный слухами о строгановских крепостях, в июле 1573 года послал своего племянника Маметкула разведать о них и, если можно, истребить все поселки и крепости в окрестностях Камы.

Маметкул явился с войсками как неприятель, умертвил несколько верных России остяков, пленил их жен, детей и посла московского Третьяка Чебукова, ехавшего в Киргиз-Кайсацкую орду. Узнав, однако, что в городах чувовских довольно и ратных людей, и пушек, Маметкул счел за лучшее убраться во свояси.

Обо всем этом узнали в Москве из извещения Строгановых, приславших гонца к царю. В этом извещении они говорили, что без царского повеления не посмели гнаться за Маметкулом по сибирской земле и просили дозволения строить там крепости, чтобы стеснить Кучума в его собственных владениях и навсегда утвердить безопасность наших.

Строгановы не требовали ни полков, ни оружия, ни денег, а только жалованной грамоты на неприятельские земли. Они ее и получили.

Тридцатого мая 1574 года царь Иоанн Васильевич дал им эту грамоту, в которой было сказано, что Яков и Григорий Строгановы могут укрепляться на берегах Тобола и вести войну с изменником Кучумом для освобождения первобытных жителей югорских, русских данников от его ига; могут в возмездие за их добрую службу выделять там не только железо, но и медь, олово и свинец, серу для опыта, до некоторого времени; могут свободно торговать беспошлинно с бухарцами и киргизами.

Таким образом, Строгановы имели право идти с огнем и мечом за Каменный пояс, но, увы, силы не соответствовали еще в равности для такого важного предприятия.

Прошло шесть лет. Яков и Григорий Иоаникиевы Строгановы сошли в могилу. Их великое дело на далекой по тогдашнему времени окраине России перешло в руки не принимавшего до тех пор участия в делах братьев их младшего брата Семена Иоаникиева и двум сыновьям покойного Максима Яковлевича и Никиты Григорьева Строгановых. Их и застаем мы в момент начала нашего рассказа

в июле 1631 года в деревянном замке.

Семен Иоаникиев был холост, племянники его Максим и Никита, потерявшие матерей ранее отцов, были тоже еще на линии женихов, и потому молодой хозяйшкой, но только по имени, так как за молодостью лет она не заправляла хозяйством, была дочь Якова Иоаникиева и сестра Максима Яковлева — Ксения Яковлева Строганова, о загадочном недомогании которой он и вел разговор с ее нянькой Лукерьей Антиповной.

Когда старуха вышла, ворча и охая, из горницы, Максим Яковлев некоторое время просидел на лавке в глубокой задумчивости. Он не был суеверен. Как это ни странно, но на конце России, где жили Строгановы, скорее в то время усваивались более трезвые, просвещенные взгляды на вещи, нежели в ее центре. Носителями этих взглядов, этой своего рода цивилизации были вольные люди, стекавшиеся из жажды труда и добычи на новые земли, которые представляли из себя сопермский край.

Среди этих вольных людей встречались иноземцы, литовцы, немчины, общество ко-

торых не проходило бесследно для восприимчивых русских людей.

Яков, Григорий и Семен Иоаникиевы Строгановы приближали к себе этих людей, выдававшихся из толпы бродяг и бездомников, представлявших из себя лишь нужную им грубую силу, ласкали их и научились от них многому, чего не ведала тогдашняя Русь.

Еще большее влияние эти люди имели на детей, приблизивших к себе их отцов. Детский ум и детское воображение скорее и сильнее воспринимает все новое, неизвестное.

Таким образом, братья Строгановы на «конце России» были первообразами тех русских людей, которые спустя целый век при царе Алексее Михайловиче подпали под влияние московской Немецкой слободы, воспитавшей Великого Петра.

Максим Яковлевич, как и его двоюродный брат Никита Григорьевич, могли назваться по тому времени людьми просвещенными, представителями нового поколения, и вера в сглаз, порчу, колдовство была уже несколько поколеблена в их уме. Но при всем этом бесе-

да Максима Яковлевича с Антиповной произвела на него впечатление и заставила задуматься. Он горячо любил свою сестру, бывшую любимицей дяди и двоюродного брата, и ее загадочное недомогание очень тревожило его.

«И с чего бы, кажись! — задавал он мысленно себе тот же вопрос, который безуспешно задавал Антиповне. — Живет она в довольстве, холе, ветерку лишний раз на нее дунуть не дадут, и вдруг беспричинная хворь напала».

И снова сидит Максим Яковлевич в тяжелом раздумье.

«Ермак! Ужели?» — вдруг поднял он голову.

У Максима Строганова мелькнула мысль, что действительно не сглазил ли сестру Ермак, но далеко не в том смысле, как думала старая Антиповна.

III

В светлице

Горницы второго этажа хором Строгановых предназначались для приема, хотя и редких, но все же заглядывавших к купцам-владельцам заезжих почетных гостей из Великой Перми и даже из далекой Москвы.

Посещали царские посланцы с грамотами, и хотя Строгановы, по смыслу первых царских грамот, не обязаны были ни возить, ни кормить государевых послов, ехавших из Москвы в Сибирь и обратно, но по исконному русскому гостеприимству всегда были рады заезжему человеку, вносившему все же некоторое разнообразие в их далеко не разнообразное житье-бытье.

Заброшенные же судьбой или царской волей на северо-восток России бояре и дворяне московские еще далеко до Великой Перми насмехались над «строгановским царством», как воеводы лежащих по дороге в Великую Пермь городов с злобной насмешкой называли «запермский край», сочувствуя воеводе Ве-

ликой Перми, лишенному власти во владениях братьев Строгановых.

Наслушивались заезжие люди и о богатстве братьев, и об их широком гостеприимстве. И заезжали бояре и дворяне московские по пути в строгановские хоромы и убеждались, что эти купцы-владельцы живут вольно, свободно, с защищенными от гнева царского и казни головами отдаленностью места, живут точь-в-точь как князья удельные, окруженные своими дружинниками. Из себя же братья ласковые да приветливые, принимают гостей желанных в хорамах богато убранных и дивно расписанных, не знают, где посадить гостя, чем угостить, как чествовать. Искренне рады приезжему. Слушают не наслушаются новостей московских, им они в диковинку, редко достигают до них, так что до утренней зари, бывает, просидят с гостем за столом, переполненным бражками и питьями самодельными и заморскими.

Для таких-то дорогих гостей и были предназначены богато украшенные горницы второго этажа. Жилые обыденные горницы помещались в верхнем этаже и были более скром-

ным убранством, хотя блестили чистотой и отличались всеми удобствами житейскими.

Но в третьем этаже три большие угольные горницы не в пример другим были убраны с роскошью, даже превышающей роскошь убранства парадных горниц второго этажа.

Эти горницы были известны под общим названием светлицы и служили обширным и уютным гнездышком для «сизой голубки», как называла ее нянька Антиповна, — Ксении Яковлевны Строгановой. Любимица отца и покойника дяди, она осталась после их смерти на пятнадцатом году и стала жить среди боготворивших ее родного и двоюродного братьев и заменяющего ей родного отца — дяди Семена.

Вся любовь и забота этих людей сказалась в устройстве этого действительно сказочного уголка для молодой девушки.

Первая горница служила рукодельной. В ней Ксения Яковлевна занималась рукодельями со своими сенными девушками. Стены этой горницы были обиты золотой парчой, скамьи были с мягкими подушками, крытыми золотистой шелковой материей, столы бы-

ли лакированные из карельской березы, из этого же дерева стояли фигурные пальцы с серебристой насечкой, за которыми работала девушка. Пальцы сенных девушек были лакированные, ясеневые.

Вторая горница, тоже большая, но несколько меньше первой, служила местом отдохновения Ксении Яковлевны, когда она захотела бы остаться одна или же провести время в душевной беседе с одной из своих наиболее любимых сенных девушек. Стены этой горницы были обиты заморским бархатом бирюзового цвета, столы были красного дерева и того же дерева лавки с мягкими подушками, покрытыми дорогими звериными шкурами.

Медвежьими пушистыми шкурами было красиво застлан почти весь пол горницы.

Третья, наконец, меньшая, чем две остальные горницы, с большой изразцовой лежанкой, служила опочивальней Ксении Яковлевны. Широкая, красного дерева с вычурной резьбой кровать, на которой лежали высокая перина, покрытая розовым шелковым, с искусными узорами стеганым одеялом, и целая

гора подушек в белоснежных наволочках, стояла прямо против двери у задней стены. Стены опочивальни были обиты серебряной парчой с вытканными розовыми цветами. Пол покрыт выделанными шкурами горных коз.

Громадный иконостас с множеством образов в драгоценных окладах, осыпанных семицветными камнями и бурминными зернами, в которых переливался всеми цветами радуги мягкий свет золотой лампы, спускавшейся с потолка на золотых же цепочках, занимал передний угол девичьей опочивальни, в которую мы дерзновенно проникли по праву бытописателя.

Горницы эти оправдывали всецело свое название «светлицы», так как в высокие и широкие окна лилось много света и из этих окон открывался чудный вид на далекое пространство — окна приходились несколько выше окружавшего двор высокого острога.

На самом заднем плане открывавшегося великолепного вида синели Уральские горы. Ближе зеленели луга, отливали золотистым цветом поспевающей ржи засеянные поля, а

еще ближе виднелся обширный поселок со стоявшей на пригорке маленькой деревянной церковкой, на золотом кресте которой играло июльское солнышко. Несколько вправо от первого виднелся другой поселок, особенно бросавшийся в глаза новизною только что срубленных изб, одна из которых несколько выше других, украшенная затейливой резьбой, с громадным деревянным петухом на коньке, вращавшемся даже при легком дуновении ветра, особенно выделялась от остальных построек, быть может, и потому, что стояла на самом краю поселка.

Было около полудня на другой день после разговора Антиповны с Максимом Яковлевичем. Ксения Яковлевна стояла задумчиво у окна второй горницы, и, следя по направлению ее взгляда, можно было догадаться, что внимание девушки всецело поглощено созерцанием высокой избы нового поселка с вращающимся на коньке деревянным петухом.

Сестра Максима Строганова была высокая, стройная девушка, умеренной полноты, с неособенно правильными чертами миловидного личика, украшением которого служили

темные, карие, большие глаза и тонко очерченные ярко-красные губки. Заплетенные в одну косу, спускавшиеся далеко ниже пояса светло-каштановые волосы, видимо, оттягивали своей тяжестью голову их обладательнице.

На Ксении Яковлевне был надет голубой штофный сарафан, обшитый серебряным галуном, высокая грудь колыхалась под снежной белизны тонкой сорочкой, с широкими рукавами, спускавшимися буфами ниже локтя и открывавшими часть полной руки с выхоленными тонкими пальцами.

Двойная нитка крупного жемчуга покоилась на полуоткрытой шее цвета лепестков белой чайной розы. Бледный румянец на щеках и какая-то дымка затаенной грусти, не сходившей с личика девушки, да сосредоточенный взгляд прекрасных глаз объясняли опасения няньки, что ее питомице недужится.

Девушке на самом деле было, видимо, не по себе, если не физически, то нравственно. Ее, казалось, угнетало какое-то горе. Это угадывалось по осунувшемуся лицу, в грустном

взгляде глаз и глубокой складке, вдруг появившейся на ее точно выточенном из слоновой кости лбу. Видимо, в ее красивой головке работала какая-то неотвязная мысль.

О чем же была эта мысль? Смотрела ли действительно Ксения Яковлевна на вращающегося деревянного петуха высокой избы новоотстроенного поселка или же устремляла свои взгляды на одну ей видимую точку, и мысль эта была далека от высившейся среди новых строек избы? Откуда же мог закрасться в светлицу молодой хозяйшки счастливого строгановского дома неведомый в нем доселе гость — горе.

Отец Ксении Яковлевны умер несколько лет тому назад, дядя еще ранее, Ксению Яковлевну, тогда еще девочку, действительно сильно потрясла кончина их обоих, особенно отца, которого боготворила. Она долго, горько и неустанно плакала, но любовь и ласка дяди Семена и братцев Максима и Никиты не дали ей узнать горечь сиротства, и, погрузив около полугода, она утешилась.

Смерть матери она не помнила, так как осталась после нее двухлетним ребенком на

руках у Антиповны, а смерть тетки, жены покойного дядя Григория, случилась еще ранее смерти матери.

Какое же горе приключилось с ней именно теперь, почему ей не по себе, почему стоит она у окна светлицы с устремленным вдаль задумчивым взглядом?

Кто ответит на эти вопросы?

Кто разгадает тайну девичьего сердца? Даже сама Антиповна, на что прозорливая старуха, и то стала в тупик, что за напасть стряслась над ее сизой голубкой, и решила, что не иначе как испортили ее кралечку, колдовством изводят, беса, прости господи, подпустили — по подлинному выражению старухи.

Но вот от высокой избы с петухом на коньке вдруг отделилась высокая мужская фигура и пошла по направлению к хоромам. Ксения Яковлевна быстро, точно ужаленная, отскочила от окна, скорее упала, нежели села на покрытую мехом лавку и закрыла лицо руками.

— Это он, он! — чуть слышно прошептала она.

IV

Суженый

Войдя в горницу, Антиповна застала свою питомицу сидевшею на лавке с лицом, закрытым руками. Старуха остановилась у при-толки и с немым ужасом созерцала эту картину.

«Что же это такое делается? — мелькало в голове Антиповны. — Кажись, вчера на ночь лобик и грудку крестообразно освященным из неугасимой лампы маслицем ей помазала, а поди же ты, не помогает... Тьфу ты, пропасть какая, ума не приложу...»

И старуха даже сплюнула и решительно направилась к девушке, сидевшей закрыв лицо руками.

— Ксюта, а Ксюта, Ксюшенька! — так звала по праву своих лет и положению в доме свою питомицу старая Антиповна.

В доме Строгановых она жила с малых лет. Сначала была девчонкой на побегушках, еще при Анике Строганове, затем горничной, в этом доме она вышла замуж, вынянчила Мак-

сима, сына Якова Иоаникиевича, овдовела и наконец была приставлена нянькой к родившейся Аксюше. И сына и дочь кормила сама мать — жена покойного Якова Иоаникиевича.

После смерти обоих хозяев Антиповна вступила в управление всею домашностью и сделалась первым человеком в доме после хозяев.

Ксению Яковлевну, оставшуюся на ее попечении после смерти малолетним ребенком, Антиповна любила чисто материнской любовью. Ей не привел Господь направить нежность материнского сердца на собственных детей. Двое было их, мальчик и девочка, да обоих Бог прибрал в младенчестве, а там и муж был убит в стычке с кочевниками. Одна-одинешенька оставалась Антиповна и все свое любящее сердце отдала своей питомице. Ксения Яковлевна на ее глазах росла, выросла, но для нее оставалась той же Ксюшенькой.

— Ксюша, а Ксюша, Ксюшенька! — повторила старуха.

— А? Что? Это ты... няня... — вздрогнула де-

вушка и отняла от лица руки.

— Что с тобой, Ксюшенька, чего ты убиваешься?.. Глянь, на лице-то кровинки нет, краше в гроб кладут...

— Я, няня, ничего. Так, неможется...

— Да что болит-то, родная, скажи ты мне...

— Я и сама не знаю, няня...

— Как не знаешь, чай, ведаешь, где боль-то чувствуется...

— Да нигде у меня, няня, не болит.

— Оказия! С чего же это ты охаешь да кручинишься?

— Скучно мне, няня, скучно...

— Скучно... — протянула старуха. — Как это скучно? Всю жизнь прожила, скуки не ведала.

— Места не найду себе нигде, няня. Кажись бы, ушла куда-нибудь отсюда за тридевять земель в тридесятое царство... Убежала бы...

— Окстись, родная, куда же тебе бежать из дома родительского! Срам класть на свою девичью голову... Что ты, что ты, Ксюшенька! Смущает тебя он...

— Кто — он? — встрепенулась девушка и бросила на свою няньку тревожный взгляд.

— Известно кто! Враг человеческий...

— А-а... — облегченно вздохнула Ксения Яковлевна.

— Погодь, родная, недолго... — заговорила снова Антиповна, присаживаясь рядом. — Явится добрый молодец, из себя красавец писанный, поведет мою Ксюшеньку под святой венец и умчит в Москву дальнюю, что стоит под грозными очами царевыми, и станет моя Ксюшенька боярыней...

— Не бывать тому, нянюшка... — вдруг резко оборвала Ксения Яковлевна.

Старуха даже опешила.

— Как не бывать, родная! Не вековухой же тебе оставаться, такой красавице... — начала она снова, придя в себя от неожиданности. — Самой тебе, чай, ведомо, что в Москве о тебе боярское сердце кручинится. Может, и скука-то твоя перед радостью. В дороге, может, твой суженый...

— Нет у меня суженого!.. — с грустной улыбкой снова перебила ее девушка.

— Как нет! А посол-то царский, что летось приезжал с грамотой? Тогда еще Семен Аникитич говорил, как ты ему со взгляду и полюби-

лася, только и речи у него было, что о тебе, после того как увидел тебя при встрече... И теперь переписывается с Семеном Иоаникиевичем грамотами, все об тебе справляется... Видела я его тогда, из себя молодец, красивый, высокий, лицо бело-румяное, борода пушистая, светло-русая, глаза голубые, ясные... Болтала и ты тогда, что он тебе по нраву пришелся... Он — твой суженый...

Девушка молчала. Чуть заметная печальная улыбка продолжала мелькать на ее побледневших губах.

Старуха между тем продолжала:

— Боярский сын он. Отец-то его у царя, бают, в приближении и милости... Наглядишься ты на московские порядки под очами царскими, скуку-то как рукой снимет... Может, и меня, старуху, возьмешь с собой...

Антиповна остановилась и пытливо посмотрела на свою питомицу, как бы ожидая от нее ответа. Но ответа не последовало.

— Что ты молчишь, как истукан какой остяцкий? — рассердилась старуха. — Слова не выговоришь...

— Все пустое, нянюшка... — чуть слышно

произнесла Ксения Яковлевна.

— Как пустое!.. — вспыхнула Антиповна. — Это с каких таких пор старуха-нянька тебе пустые речи говорить стала?.. Дождалась я от своей Аксюши доброго слова, дождалась... И на том спасибо...

— Не то, няня, не то... — взволнованно перебила ее девушка. — Не люб мне этот твой суженый.

— Не люб? — удивленно вскинула на нее взгляд Антиповна. — А кто же люб тебе?

В голосе старухи прозвучали строгие ноты.

— Никто! — после чуть заметного колебания отвечала Ксения Яковлевна.

Антиповна не заметила этого колебания, но продолжала смотреть на свою питомицу недоумевающе.

— В монастырь я хочу, нянюшка, в монастырь...

— В монастырь! — ужаснулась старуха. — Час от часу не легче! То в бега собирается, то в монашки. В монастырях-то и без того мест не хватает для девиц бездомных, для сирот несчастных, а тебе от довольства такого, от богатства, в таких летах в монастырь и ду-

мать не след идти. Молиться-то Богу и дома молись, молись хоть от зари до зари.

— Не могу я здесь молиться-то, — словно невзначай, против воли, вырвалось у девушки.

— Что-о-о? — с выражением ужаса на лице вскочила с лавки Антиповна.

Но Ксения Яковлевна не повторила своих слов. Старуха тоже молча стояла перед нею.

«Околдовали, беса вселили, отчитывать надо», — мелькало в ее голове, и она широким взмахом правой руки, сложенной в двухперстие, перекрестила девушку.

На губах Ксении Яковлевны мелькнула улыбка. И это привело в окончательное недоумение Антиповну. Она ожидала, что от креста с молитвой, которую она шептала, девушка упадет в корчах и потому, жалея ее, не решалась до сих пор прибегать к этому средству, даже оставила свой обычай крестить ее на ночь и вдруг после креста явилась первая за последнее время улыбка на грустном лице питомицы.

«Что же это?.. И крест с молитвой на нее не действует, — мысленно соображала Антипов-

на. — Или, быть может, — напало на нее утешительное сомнение, — не колдовство тут и бес ни при чем, просто замуж ей пора, кровь молодая играет, бушует, места не находит... Доложить надо Семену Аникичу, он ей вместо отца, пусть отпишет в Москву жениху-то... Один конец сделать, а то изведется дотла ни за грош, ни за денежку...»

Этот суженый действительно существовал не в одном воображении старухи. За год до начала нашего повествования к Строгановым приезжал с жалованною грамотою царский гонец, боярский сын Степан Иванович Обносков. Боярский род Обносковых был не из древних. Дед Степана — из мелких татарских князьков; перебежав в Москву в княжение Иоанна III, принял святое крещение. Дело это было зимой, и он был пожалован шубой с царского плеча и званием дворянина. Перебеги он летом, то вместо шубы за ним было бы оставлено княжеское достоинство. Иоанн III, скупой и экономный, наградил своего нового дворянина небольшой вотчиной и заставил нести дворцовую службу.

Из характера бывшего татарского князя

передались его потомству вкрадчивость и угодливость, качества неоценимые во все века и у всех народов для приближенных к властителю. Эти качества, перешедшие как родовое наследие и самое драгоценное к отцу Степана Обноскова, Ивану, сделали то, что при великом князе Василии III Иоанновиче род Обносковых был возведен в боярство, но материально их благополучие от этого не улучшилось.

В царствование Иоанна IV, не любившего древних, непоклонных, туговыйных бояр и князей, Иван Обносков стал играть при дворе некоторую роль и был одним из первых бояр, вступивших в опричину. Его сына Степана государь определил к посольским делам. В качестве царского гонца и приехал он к Строгановым, был очарован их радушием, приветливостью и гостеприимством, а более всего красотою племянницы Семена Иоаникиевича — Ксении Яковлевны.

Когда она вошла, окруженная своими сенными девушками, одетая в сарафан из серебряной парчи, красиво облежавший ее полный упругий стан, со встречным кубком к приез-

жему гостю, когда глянула на него своими прекрасными большими глазами, Обносков окончательно ошалел. Как во сне прошел перед ним «поцелуйный обряд», во время которого молодая хозяйка должна была облобызать встречаемого гостя. Он очнулся уже тогда, когда за дверями горницы исчезала последняя сенная девушка, ушедшая вслед за Ксенией Яковлевной. Губы его, ему казалось, были сожжены этим холодным, обычным поцелуем.

— Много я, Семен Иоаникиевич, на Москве красавиц видал, а такой, как твоя племянница, не видывал, — сказал он дрожащим голосом.

— Ничего, девка средственная, из дюжины не выкинешь... — улыбаясь, ответил Строганов.

— Какой там из дюжины, едва ли другая, вторая сыщется...

И действительно, все дни, что прогостил у Строгановых «царский посланец», только и разговоров у них было с дядей и с братьями про Ксению Яковлевну.

В день отъезда гостя она снова вышла с

прощальным кубком.

Степан Обносков уехал в Москву очарованный, с полусогласием Семена Иоаникиевича и Максима Яковлевича начинать сватовство.

В сравнительной скорости пришла от него из Москвы с одним приезжим в Великую Пермь торговым человеком грамотка, в которой Степан Иванович объяснил, что отец и мать его согласны и заранее, по одному его описанию, уже полюбили свою будущую дочь, только надо-де испросить царскую волю, а для того улучшить время, когда царь будет в расположении, чего, впрочем, вскорости ожидать, пожалуй, нельзя, потому что Иван Васильевич гневен и в расстройстве, ходит туча тучей и не приступиться.

Вторая грамотка, присланная незадолго до описанных нами событий, была почти того же содержания, но в ней выражалась надежда на скорую возможность попасть в добрую минуту к царю, так как стал он отходчивее.

Семен Иоаникиевич и Максим Яковлевич говорили о том и Ксении Яковлевне, и она ответила, что будущий жених ей не противен.

Вот о ком говорила Антиповна, называя

V

Семен Строганов

Придя к тому выводу, что волнение молодой крови единственная причина недомогания Ксении Яковлевны, старуха Антиповна снова присела рядом со своей питомицей и начала ласковым, вкрадчивым тоном:

— Ты бы, Ксюшенька, родная, потешалась чем ни на есть со своими сенными девушками, песню бы им приказала завести веселую, а то я крикну Яшку, он на балалайке тебе сыграет, а девушки спляшут, вот и пойдет потеха.

Яшка — один из челядинцев Строгановых — был виртуоз на балалайке, его часто призывали, чтобы тешить молодую хозяйшку и ее сенных девушек, среди которых многие сильно вздыхали по чернокудром, всегда веселом, высоком и стройном молодце.

— Надоело, няня, скучно... — ответила девушка.

— Ишь ты какая, — через силу улыбнулась

старуха — и ума я, старая, не приложу, чем тебя и потешить... Хочешь, сказку расскажу?..

— Слышала я их все... Все старые...

— Где же новых-то взять, касаточка, слогать я не мастерица... В старину они, сказки-то, умными людьми сложены и идут от отцов к детям...

— Я все их сама знаю на память...

— Это и хорошо, деткам своим будешь рассказывать.

Девушка сперва вспыхнула, затем снова побледнела, но не сказала ни слова.

— Али поработать выйди в переднюю горницу, девушки там уже с утра за работой сидят, да петь не смеют, так как ты не выходишь к ним...

— Пусть поют, мне что же.

— Да ты выйди к ним, поработай, может, за работой тебе полегчает...

— Пожалуй, пойду... — нехотя сказала Ксения Яковлевна, видимо, только для того, чтобы отвязаться от Антиповны, встала и пошла в первую горницу.

Старуха последовала за ней, задумчиво качая своей седой головой в черной шелковой

повязке. Девушка молча вошла в рукодельную, молча поклонилась вставшим сенным девушкам, жестом руки разрешила им снова садиться за работу и молча села за пяльцы. Антиповна обвела пронизательным взглядом всех девушек, остановила несколько более пристальный взгляд на Ксении Яковлевне и вышла из светлицы. Она направилась в горницу, занимаемую Семеном Иоаникиевичем Строгановым, где застала его сидящим за большим столом, заваленным пробными мешочками соли, кусками железа, олова, за чтением какой-то грамотки и то и дело делавшим выкладки на больших счетах. Горница главы рода Строгановых была большая и светлая, а по убранству чрезвычайно простая, прямой контраст с горницами, занимаемыми его любимой племянницей. Стены, потолок и пол были тесаного дуба, ничем не обитые и не рисованные, мебель состояла из ясенева стола и таких же лавок и больших шкафов.

Семен Иоаникиевич был еще не старый человек, лет пятидесяти с небольшим, но казался даже моложе своих лет. Невысокого роста, средней полноты, с фигурой, о которой

русский народ говорит «неладно скроен, да крепко сшит», с обстриженными в кружок русыми волосами и длинной бородой, в которой только изредка мелькали серебристые нити седых волос, с открытым, чисто русским лицом и светлыми, почти юношескими глазами, он производил впечатление добродушного, отзывчивого, готового всегда на всякую помощь, «души-человека».

Таков он был на самом деле.

При старших братьях, как мы знаем, он не касался дел и даже считался неспособным, «маленько тронутым», как выражались о нем братья. Происходило это потому, что Семен Иоаникиевич был всегда задумчив и вставлял свое слово лишь тогда, когда надо было за кого-нибудь заступиться, кому-нибудь помочь в беде, кого-то выручить в несчастье. Он вызывал некоторое сочувствие в сравнительно мягком сердце второго брата своего Григория, но старший Яков был суров нравом и обрывал его неизменной фразой: «Ну, понес окоlesiцу, сердоболец!»

Хотя и в шутку, но Яков Иоаникиевич часто говорил:

— В нашей семье, что в сказке о трех братьях: «старший умный был детина, второй так и сяк, третий вовсе был дурак».

Когда же оба старших брата сошли в могилу, этот третий брат оказался не только не «вовсе дураком», а опытным руководителем знакомого ему во всех подробностях дела, к которому он при жизни братьев внимательно приглядывался. Он привлек к делу и своих взрослых племянников, но они невольно подчинились его знаниям и опыту. Душою дела остался дядя Семен, хотя он во всех официальных случаях выдвигал и их, как полноправных хозяев в деле, что, конечно, приятно щекотало их самолюбие и вызывало к нему искреннюю сердечную признательность. В доме поэтому не было распрей, как это бывает при совместном владении, а была тишь, гладь и Божья благодать.

Увидев Антиповну в горнице, он поднял голову от грамотки и счетов, быстро встал и тревожно спросил:

— Это ты Антиповна? Что случилось? Как Аксюша?..

— Об ней-то я, батюшка, Семен Аникич, и

пришла доложить твоей милости...

— Что такое?.. Хуже ей?.. — еще более взволнованным голосом спросил Семен Иоаникиевич.

Старый холостяк, потерявший в молодости свою невесту, полоненную татарами, на безуспешные розыски которой употребил десяти лет, он всю силу своей любви направил на свою племянницу, заменив ей действительно отца после смерти брата Якова.

Хотя злые языки указывали, быть может, не без основания, на ключницу Марфу, разбитную, еще далеко не старую бабенку, как на «предмет» Семена Иоаникиевича, но в этих отношениях, если они и существовали, не было и не могло быть любви в высоком значении этого слова. Любил Семен Иоаникиевич из женщин только одну свою племянницу, хотя это не мешало ему любить весь мир своим всеобъемлющим сердцем.

Понятно, что доведенное до его сведения, как главы дома, страшное недомогание девушки его сильно обеспокоило.

— Хуже, не хуже, батюшка Семен Аникич, ноне даже улыбнулась она, но только я, ка-

жись, додумалась, откуда эта хворь ее идет, батюшка...

— Додумалась?.. Откуда же?

Он нервно затеребил поля своего простого, черного сукна, кафтана.

Антиповна между тем довольно пространно и по порядку стала передавать ему весь ход хвори своей питомицы и принятые ею меры, вплоть до смазывания ее лба и грудки освященным маслом из неугасимой лампадки и осенение крестом с молитвою.

— Не болезнь это, батюшка, не сглаз, не колдовство и не бесовское наваждение, — закончила она свой рассказ.

— А что же, по-твоему? — спросил Семен Иоаникиевич.

— Пора пришла, батюшка, пора...

— Какая «пора»?

— Известно, изволь, батюшка Семен Аникич, девичья...

— Что-то я в толк не возьму, к чему ты речь ведешь.

— Замуж ее выдавать надо...

— А, вот оно что...

— Кровь забушевала, девка-то и туманит-

ся...

— Как же быть-то, Антиповна?

— Говорю, замуж ей пора.

— Слышу. Да за кого выдавать-то?

— Про это тебе, батюшка Семен Аникич, ведать лучше.

— То-то и оно, что московский-то жених далеко, да и дело-то не ладится...

— А ты отпиши ему, батюшка, чтобы поспешил...

— Отписать не труд, да до Москвы-то не ближний свет, пока ответную пришлет грамотку, пока сам пожалует, много, ох, много пройдет времени...

— Это-то ничего, болесть-то эта не к смерти, перенедужится, Бог даст и полегчает, а все же со свадьбой надо поспешить. Неча откладывать, девушка в поре...

— Я сегодня же отпишу и гонца пошлю, — сказал Семен Иоаникиевич.

— Отпиши, батюшка, отпиши... Дело доброе.

— А ты все-таки за ней поглядывай, Антиповна, чем-нибудь да попользуй. Потешь чем ни на есть... Песнями ли девичьими или же

Яшку кликни.

— Предлагаю ей, батюшка, и то и другое. Не хочет. Да ты не сумлевайся, я уж как зеницу ока берегу ее, с глаз не спускаю... Травкой ее нынче еще попою, есть у меня травка, очень полезительная, может, подействует, кровь жидит, а ей это и надо. Сейчас только в голову вошло, забыла я про нее, про травку-то. Грех какой, прости господи.

— Попой, попой травкой. Она ничего... Не повредит...

— Где повредит! Не такая травка... Прощенья просим, батюшка Семен Аникич.

И старуха, отвесив Строганову поясной поклон, вышла. Почти на пороге горницы Семёна Иоаникиевича она столкнулась лицом к лицу с мужчиной среднего роста, брюнетом с черной, как смоль, бородою и целой шапкой кудрявых волос. Лицо у него было белое, приятное, но особенно хороши были быстрые, как бы светящиеся фосфорическим блеском глаза, гордо смотревшие из-под густых соболиных бровей. Одет он был в черный суконный кафтан, из-под которого виднелась красная кумачовая рубашка, широкие такого же

сукна шаровары, вправленные в мягкие татарские сапоги желтой кожи, с золотыми кистями у верха голенищ.

Антиповна шарахнулась в сторону и чуть не позабыла ответить на почтительный поклон столкнувшегося с ней парня. Она узнала в нем того «нового желанного гостя» Строгановых, которого обвиняла накануне перед Максимом Яковлевичем в порче своей питомицы, — Ермака Тимофеевича.

Он шел к Семену Иоаникиевичу для совещаний по важному делу. От своих разведчиков он узнал, что мурза Вегулий с семьюстами вогуличей и остяков появился на Сысьве и Чусовой и разграбил несколько селений. Надо было остановить дерзкого кочевника, который при успехе мог пойти и далее. Об этом-то и пришел посоветоваться с Семеном Иоаникиевичем Строгановым Ермак Тимофеевич. Он мог назваться «новым гостем» Строгановых только потому, что с недавнего времени стал часто вхож в хоромы. Близ же этих хором, на новой стройке, он жил уже года два в высокой избе с вертящимся петушком на коньке.

Но прежде чем продолжать наш рассказ, нам необходимо ближе познакомиться с этой выдающеюся историческою личностью, которая явится центральной фигурой нашего правдивого повествования и героем разыгравшейся на «конце России» романической драмы.

Жизнь Ермака Тимофеевича до его появления во владениях братьев Строгановых была полна всевозможными приключениями, почву для которых создавало более трех веков тому назад государственное устройство или, лучше сказать, неустройство России.

VI

Русская вольница

Началом государственного устройства России следует несомненно считать царствование Иоанна III, со времени женитьбы его на племяннице византийского императора Софье Палеолог, до того времени проживавшей в Риме. Брак этот состоялся в 1472 году. Новая русская великая княгиня была красивая, изворотливая и упорная принцесса с гордым властительным нравом. За нее сватались многие западные принцы, но она не хотела соединить свою судьбу с католиком.

Папа предложил ей брак с московским князем, слух о котором, как об искусном политике, проник на запад. Он надеялся с помощью этой московской княгини внести в Москву унию и поднять крестовый поход против турок. Но папа ошибся в своих расчетах.

Великая княгиня Софья слишком строго держалась правосудия, чтобы стать орудием Рима. Не в религии, а в политике проявилось ее влияние.

Под этим влиянием был поставлен в России ребром вопрос о самодержавии и началась борьба старины с новой властью, длившаяся полтора века. Современники называли это время «началом смуты». Бояре говорили:

— Когда пришла сюда Софья, то наша земля замешалась. Великий князь обычаи переменял: он перестал советоваться с нами, а все дело вершит, запершись у себя сам-третей со своею княгинею да с наперсником.

Бояре и князя ее ненавидели. Это объясняется тем, что она внушила Иоанну обращаться с ними как с подданными и окружать себя пышностью и почти церковною обрядностью византийских императоров.

Придворные обычаи и порядки Царьграда перешли к Москве, сделавшейся Третьим Римом. Византийский черный двуглавый орел стал московским гербом. Появились греческие придворные чины: постельничьи, ясельничьи, окольничьи. Иоанна стали называть царем, били ему челом в землю. При дворе совершались великолепные и пышные церемонии.

Великий князь, сделавшись царем, стал

недоступен, суров и гневен. Он строго наказывал бояр за малейшую провинность, не позволял им отъезжать из Москвы, казнил их и лишал имущества.

Государство начало принимать стройный вид.

Бояре, лишившись права отъезда, перестали сутянить и исполняли свои обязанности. Под строгим надзором князя они стали заведовать делами, которые впервые были разделены по своему содержанию, рассортированы.

Иоанн III одним из бояр приказывал вершить одни дела, другим — другие — так образовались приказы — род министерств.

Постепенно взводился порядок и в сельском, и в городском управлении. Все должны были платить определенную подать, для чего писцы ездили по стране, составляли «писцовые книги», то есть делая перепись населения. Кроме податей Иоанн III собирал много разных пошлин с внутренней торговли.

При таком условии государственного строя немыслимо было чужеземное иго, хотя и самое слабое.

Внешняя политика должна была преследовать более широкие цели, чем прежде. Она сосредоточилась на двух задачах уже не местного московского значения. Это, с одной стороны, «восточный вопрос» того времени — уничтожение татарского ига, с другой — вопрос западноевропейский: борьба с Польшей.

Татарская сила постоянно слабела, по мере развития русского народа. Явственно сокращались даже ее внешние пределы. Понемногу исчезало самое раздолье степняков — это безбрежное море роскошных трав с переливающимися цветами, могильная тишина которого нарушалась лишь писком ястреба вверху да таинственным шелестом внизу, когда не раскидывался на нем случайный табор кочевников. Здесь еще со времен «бродников XII века» кишела русская вольница, вроде молодцов-повольничков.

Позднее, когда у Оки и нижнего Днепра образовалась живая изгородь засечной стражи, вольница разрасталась от притока станичников, следы которых видны и теперь в насыпях и курганах южнорусских губерний. Это легкое воинство приобретало привычки степ-

няков и заимствовало у басурман имя казаков — как назывались у татар воины.

Казачество порождалось двумя причинами — внутреннею и внешнею. Быстрое усиление самодержавия, к которому еще не приспособилась первобытная вольность населения, да бедность государства поддерживали привычку «разбрестись разно».

Татары также заставляли народ разбегаться, да еще придавали нравственную силу беглецам, освещая их выход из русского строя знаменем борьбы с иноверными иноплеменниками.

Казаки — сброд всяких выходцев из Руси, в особенности же холопов. Эти нищие бежали из южных окраин или Украины в чисто поле древних богатырей. Там встречало их привольное житье. Там был полный простор для силы-волюшки, которая еще ходила ходуном по косточкам и просилась «волевать» — охотиться.

А продовольствия было достаточно для невзыскательной головы, которая не дорожила собою: всегда можно было «показаковать» насчет татар, а в крайнем случае и за счет

своих.

Беглецы составляли общины, связанные крепким духом товарищества и управляемые сходкою, или кругом, который избирал атаман.

С ними ничего нельзя было поделаться, при слабости государственного порядка, при отсутствии границ в степи. К тому же они приносили существенную пользу своею борьбою с татарами и заселением травянистых пустынь. Вот почему правительство вскоре бросило мысль «казнить ослушников, кто пойдет самодурью в молодечество». Оно стало прощать казакам набеги и принимало их на свою службу, с обязательством жить в пограничных городах и сторожить границы.

Так образовался среди этой вольницы оседлый отдел — казаки городские, или сторожевые. Они возникли преимущественно на Дону и больше из рязанцев — летопись впервые глухо упоминает о них при Василии Темном.

Но с течением времени, по мере ослабления татар, казачество распространялось по всем южным окраинам, в особенности же на

низовьях Днепра. Новые пришельцы, с характером еще не установившимся, кочевали, уходили подалее в степь и не признавали над собой никакого правительства. Эти вольные или степные казаки были народ опасный, отчаянный, грабивший все, что ни попадалось под руку. Они одинаково охотно дрались и с татарами, и со своим братом — городским казак.

В описываемое нами время особенно отважна была донская вольница, которая господствовала на водах Волги, не давала проходу как азиатским, так и русским купцам и царским послам.

Грозный Иоанн IV несколько раз высылал воинскую дружину на берега Волги и Дона, чтобы истребить этих хищников. В 1577 году стольник Мурашкин, предводительствуя сильным отрядом, многих из них взял в плен и казнил. Но другие не смирились, уходили на время в степи, снова являлись и злодействовали на всех дорогах, на всех перевозах.

В быстром набеге они взяли даже столицу ногайскую город Сарайчик, не оставив в нем камня на камне, и ушли с богатою добычею,

раскопав даже могилы и обнажив мертвецов.

К числу самых буйных, наводивших страх на государство представителей этой вольницы были Ермак (Герман) Тимофеевич, Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан и Матвей Мещерик. Все пятеро отличались редким удальством.

Из них Иван Кольцо был осужден на смерть самим царем Иоанном IV, но счастливо избегал поимки. Он был правою рукой атамана Ермака Тимофеевича, его закадычным другом, делившим с ним и труды и опасности разбойничьей жизни.

Мы описали уже наружность этого «народного героя». Скажем несколько слов о его прошлом и именно потому несколько слов, что это прошлое очень мало известно. Не любил он подробно касаться его сам даже в дружеской беседе.

Какого был происхождения русский удалец, носивший, по словам Карамзина, нерусское имя Герман, вероятнее же Гермоген, видоизмененное в Ермака, положительно неизвестно. Существует предание, что отец его занимался тоже разбойным делом, вынужден-

ный к тому крайностью, рискуя в противном случае осудить на голодную смерть хворую жену и любимца-сына. Перед смертью он завещал последнему остаться навсегда бобылем, чтобы семья не заставила его взяться за нож булатный.

Ермак свято исполнял первую часть завета отца, но и жизнь бобыля, подначального работника не пришлась по его нраву. Ему, как и отцу, не улыбнулось счастья в частной жизни, несправедливые обиды зажиточных людей оттолкнули его от них, и он бросился в вольную жизнь, взявшись тоже за булатный нож.

Скоро имя его стало громко по злодеяниям, но вместе с тем было окружено ореолом «геройства». Это объясняется тогдашним взглядом народных масс на разбойников, которые имели недоступную для других, но заманчивую силу уйти из-под гнета воевод и подьячих и добывать себе средства для привольного житья грудь с грудью, ценою своей жизни. Оттого-то в русских народных песнях встречается почти всегда ласкательное слово «разбойничек».

Также покрыты мраком неизвестности и первые шаги Ермака Тимофеевича в роли «разбойничка». История застаёт его уж во главе огромной шайки, в звании атамана с есаулом Иваном Кольцом.

Теснимый воинственным и неугомонным астраханским воеводой Мурашкиным, Ермак ушел с Волги далее на северо-восток и добрался до Камы. Здесь впервые он узнал о существовании целого «промышленного царства» Строгановых у подошвы Урала.

Узнал он также, что это «царство» нуждается в ратных людях для защиты своих владений от зауральских татар, вотяков, остяков, вогуличей и прочей погани мухомеданской и языческой.

Нашло раздумье на Ермака. Довольно пролил он крови христианской, добился того, что на Москве уже готова для него петля, что назначен выкуп за его буйную голову — пора и честь знать! Лучше идти бить неверных, нечисть-то эту и убить не только не грех, а что паука раздавить — семьдесят грехов, чай, простится за каждого.

А много грехов у него на душе! Посбавить

бы маленько следовало! Запала ему эта мысль в голову — колом не вышибешь. И спит и видит идти в «строгановское царство».

Призвал он на совет Ивана Кольцо, тот одобрил план своего друга.

— А наши пойдут ли за нами? — с сомнением спросил его Ермак.

— За тобой-то, атаман! В чертово пекло пойдут, а не то что к Строгановым.

Так и порешили.

VII

Иван Кольцо

Года за два до начала нежданного и негаданного недомогания Ксении Яковлевны Строгановой, повергшего ее дядю Семена Иоаникиевича в большое беспокойство, в «строгановском царстве» произошло тоже нежданное и негаданное событие, которое, как впоследствии увидит читатель, имело непосредственную связь со странной «хворью» молодой хозяйки строгановских хором, о причинах которой недоумевала старуха Антиповна.

Однажды ранним утром, когда Семен Иоаникиевич только что успел умыться, одеться и помолиться Богу, к нему в опочивальню вошел его старый слуга Касьян, служивший в доме Строгановых еще при отце, Анике Строганове. Ему было, по его собственным словам, «близ ста» лет, но, несмотря на это, он был еще очень бодр и крепок, с ясными, светло-серыми глазами и крепкими белыми зубами, которые так и бросались в глаза при частых улыбках этого добродушного и веселого нрава старца, судя по седым как лунь волосам и длинной бороде.

В доме все челядинцы относились к нему с уважением и называли по отчеству Дементьич. Касьяном звал его только сам Строганов, и это было уже освящено обычаем.

— Что скажешь, Касьянушка? — спросил его Семен Иоаникиевич. — Что случилось?

Строганов знал, что старик напрасно не потревожит его в опочивальне.

— Да там, во двор, батюшка Семен Иоаникиевич, пришли невесть какие люди, в хоромы просятя до твоей милости.

— Какие люди?

— А кто их знает, батюшка... Говорят, вольные...

— Вольные?..

— Дело есть до твоей милости.

— Много их?

— Пятеро.

— Все в хоромы просятся?

— Никак нет. Один просится, во-видимому, их наибольший.

— Что же, пусть войдет, — сказал Семен Иоаникиевич и вышел вслед за Касьяном в соседнюю горницу, ту самую, в которой он беседовал с Антиповной по поводу необходимости выдать скорее замуж Ксению Яковлевну.

Через несколько минут в горницу вошел высокий, стройный, еще молодой парень, одетый в кафтан тонкого синего сукна, опоясанный широким цветным шелковым поясом.

Лицо его было некрасиво, но на нем лежала печать какой-то бесшабашной удалы, которая выражалась и в насмешливом складе губ, красневших из-под русых усов и небольшой окладистой бородки, и во всей его прямой, даже почти выгнутой назад фигуре, в гордо поднятой голове с целою шапкой густых волос,

вьющихся в кудри.

— Здоровы будете... — поклонился он Семену Иоаникиевичу легким поклоном, исто-во перекрестившись на большой образ Божьей Матери, висевшей в переднем углу горницы в богатом кованом золотом окладе.

— Здравствуй, молодец. Откуда Бог несет?..

— С Волги, Семен Аникич, — просто отвечал тот, точно уже много лет знакомый хозяину.

— С Волги, — повторил Строганов. — Велика матушка Волга...

— Вся была наша, — тряхнул густыми волосами вошедший.

— Чья это ваша? — возразил купец Семен Иоаникиевич.

— Вольных людей.

— А-а... Зачем пожаловал?

— К твоей милости, купец.

— С чем?

— С услугою.

— Вот как! Какую же услугу ты можешь оказать мне?

— Понаслышаны мы были давнехонько о вашей сторонущке. Богатая она страсть и

привольная. Нет в ней ни воевод, ни стрельцов, жить можно вольготно, не опасаячись. Остяки, бают, да всякая нечисть беспокоит порой, ну да на них управу найти можно...

— Один, што ли, ты с ними справишься?

— Зачем один? Нас много... Сот семь наберется...

— Все с Волги?

— Откуда же больше? Она была наша кормилица.

— А теперь...

— Теперь царь засилье взял. Казань сложил, Астрахань... Воеводы да стрельцы кишмя кишат на Волге-то... А нам это не на руку.

— Кому же это?..

— Известно: вольнице.

— А ты кто такой?

— Есаул Иван Иванович, по прозвищу Кольцо...

— Храбр же ты, молодец, коли так напролом и лезешь к незнакомым людям. Али тебе неведомо, что царь цену назначил за твою голову?

— Как неведомо? Ведомо...

— А что дороги тебе отсюда назад не най-

ти, не опасаясь?..

— Я опаску, купец, уже давно потерял, да и найти не хочу ее... Слухом о Строгановых земля полнится, не такие они люди, чтобы на деньги польстились и вольную казацкую голову воеводам, приказным подьячим и прочей царской челяди продать... Да и голову я свою ценю подороже, чем ценит ее царь Иван Васильевич, даром тоже не отдам. Трудно с Кольцом будет справиться. — Он тряхнул действительно могучими богатырскими плечами. — А коли одолеют, так тут неподалеку Ермак станом стоит, своего есаула не выдаст, выручит или жестоко отомстит за него, все в щепки разнесет...

— Ермак, говоришь?.. — переспросил его Семен Иоаникиевич, и голос его невольно дрогнул при этом имени.

Грозная слава Ермака с уstraшенных им берегов Волги донеслась до запермского края и невольно даже на властных людей производила впечатление.

— Да, атаман Ермак Тимофеевич, — отвечал Иван Кольцо.

Семен Иоаникиевич некоторое время мол-

чал как бы в раздумье. Иван Кольцо смотрел ему пытливо в глаза смелым взглядом.

— Не ошибся ты, добрый молодец, не такие люди были и есть Строгановы, чтобы выдать головы гостей своих. Без опаски можешь быть под нашею кровлею.

— Я опаски еще в жизни, купец, не испытывал, докладывал тебе кажись об этом... Не Ивану Кольцу опасаться кого, а его опасаться надобно, — как-то естественно просто прозвучала в устах есаула эта хвастливая фраза.

— Что нам о том препираться с тобой? Выкладывай лучше дело, добрый молодец. С чем вы к нам прийти надумали?

— Вот это слово твое, купец, правильно. Сейчас все тебе выложу, по душе, по совести...

— Садись, — сел на лавку Семен Иоаникиевич.

— И постоим перед твоей милостью...

— Чего стоять? В ногах правды нет. Садись...

— Коли приказываешь... Гость, известно, невольник...

Иван Кольцо сел рядом с хозяином.

— Говори, добрый молодец, а я послушаю.

Иван Кольцо откашлялся и начал:

— Вот оно что, купец, надоело и мне и атаману разбойничать. Прискучило дело это... А об вас, купец, слухом земля полнится, что житье у вас вольное, без воевод, подьячих и приказных, только одна лиха беда — соседи дикие, беспокойны, ну да нам-то они и на руку, и решили мы с атаманом ударить вам челом с просьбицей... Отрежьте нам землицы, лесу на избы пожалуйте, кое-что из хозяйства для пропитания, построимся мы и заживем тихо, мирно, никого не тревожа, а как придут из-за гор гости нежданно, татарва поганая, остяки или вогуличи, то с ними мы начисто разделаемся, будут нас долго помнить нехристи... Оберегать, значит, вас будем в оплату за милость. И вам и нам хорошо будет... Вот и сказ весь.

Иван Кольцо замолчал. Семен Иоаникиевич сидел в глубоком раздумье. Предложение Ермака было более чем кстати. Земли у Строгановых жалованной глазом не окинешь, а защиты, почитай, никакой нет. Есть служивые люди, да что в них толку? Мужичье, трусы, увидят со стрелой татарина или вогуляка

и драло, пищали побросают, врассыпную уда-
рятся, прямо вахлаки. Есть и удальцы между
ними, да немного, и их приходится посылать
со стругами в Астрахань. Вот и теперь Меще-
ряк с отборными людьми где-то запропастил-
ся, давно бы вернуться следовало, а его нет
как нет. А недавно тут налетели татары и раз-
грабили один поселок начисто. Вот тут поди и
пушки есть, и пищали, на всех московских
стрельцов хватило бы, а людей нет, чтобы с
ними управиться.

Ермаковы люди-то золото, удалец, чай, к
удальцу, по есаулу видать, но только грозна и
царская грамота, в ней беглых людей прини-
мать заказано под страхом опалы царской и
отобрания земель... Далеко, положим, от
Москвы, доведает ли? Да слухом земля пол-
нится: один воевода пермский по насадкам
отпишет в Москву все в точности, да еще с
прикрасою. Такую кашу наваришь себе, что и
не расхлебать ее.

Такие мысли неслись в голове Семена
Иоаникиевича.

— Что же, купец, долго думаешь?.. Коли
есть на то твое согласие, по рукам давай бить,

укажи землю — мы туда напрямик и двинемся... Внакладе не будешь. Все протоки за убытки отработаем.

— Не в том дело, добрый молодец, не за землей, лесом и хозяйством остановка — всего этого у нас — достаточно, и по душе мне челобитье ваше, да как на это решиться, не ведаю...

— В чем же дело?

— Препона есть...

— Какая?

— Царем нам в грамотах заказано принимать беглых, вольницу...

— Какая же мы вольница? Прежде были, а на землю сядем, такие же будем, как и все, — возразил Иван Кольцо.

— Все-таки опаска есть...

— Уж больно ты, купец, опасливый.

— Да и хозяин я здесь не один... — сказал Строганов. — Племянники у меня есть, двое, все мы трое хозяйствуем... Надо с ними поговорить, что они скажут...

— И то ладно, — согласился Иван Кольцо.

Семен Иоаникиевич ударил в ладоши. На этот своеобразный зов явился Касьян.

— Вот что, — отдал приказание вошедшему Семен Иоаникиевич, — отведи ты Ивану Ивановичу, — он рукой указал на Ивана Кольцо, — с его молодцами горницы, напои, накорми, угости гостей досыта. А завтра мы с тобой, добрый молодец, порешим это дело неповоротливо.

С последней фразой Строганов обратился уже к Ивану Кольцо.

— Слушаю, батюшка Семен Аникич, слушаю, — ответил Касьян поклоном. — Пойдем, добрый молодец.

Иван Кольцо, откланявшись, вышел из горницы в сопровождении Касьяна. Семен Иоаникиевич, не откладывая дела в долгий ящик, прямо прошел к племянникам и передал им предложение Ермака Тимофеевича. Те с пылом молодости ухватились за этот случай.

— Чего тут, дядюшка, раздумывать? — заметил Никита Григорьевич. — Сам Бог посылает нам таких людей... Государь опалился бы на нас, кабы вольница разбойничала, а то она смирно сидеть обещает и его же людишек оберегать.

С этим мнением согласился и Максим Яковлевич.

— Да и где Москве доведаться? Далеко она... — заметил он.

— Этого не говори... Воевода-то пермский поближе, дознается и отпишет, — сказал Семен Иоаникиевич.

— А почему узнает воевода, какие у нас люди поселились? На них ведь не написано, что они беглые.

— Это-то так, да и нужны нам людишки действительно... — сдался старик Строганов.

— Что и говорить, как нужны! Вестимо, согласиться надо, — в один голос сказали Никита и Максим.

На том и порешили.

VIII

На новой стройке

Ермак Тимофеевич не заставил себя долго ждать. Через несколько дней он с сотнями своих отборных удальцов прибыл в «строгановское царство». Вместе с есаулом Иваном Кольцом он ранее явился к Семену Иоаникиевичу Строганову, принявшему их уже вместе со своими племянниками, и повторил перед ними свое и своих удальцов желание бросить разбойное дело и послужить делу русскому — охране рубежа России от неверных и диких соседей.

Семен Иоаникиевич повторил от своего лица и от лица племянников согласие принять на сторожевую службу Ермака и его людей, отвести им земли и отпустить деревья для постройки изб и хозяйственного обзаведения. Как на отведенную новым поселенцам землю, он указал на местность, лежащую за старым поселком.

— Тут и храм Господен будет вам поблизости, может, и помолиться вашим грешным

душенькам захочется.

— Это-то, купец, правильно, давно мы не молились, — заметил со вздохом Ермак Тимофеевич.

— Где же люди-то ваши? — спросил старый Строганов.

— Люди тут поблизости, через час могут быть здесь, коли прикажешь.

— Что же, ведите с Богом, утро погожее...

Разговор происходил ранним утром.

— Может, встретишь нас, Семен Иоаникиевич, — спросил Ермак, — окинешь своим хозяйским глазом слуг своих?

— Встречу, вместе с племянниками встречу, дорога-то мимо усадьбы идет... — отвечал Семен Строганов.

Ермак и Кольцо, отвесив по низкому поклону, вышли.

— Славный парень, — похвалил Семен Иоаникиевич, обращаясь к племянникам по выходе Ермака. Последний действительно произвел на него хорошее впечатление.

— Воеводой ему царским быть, а не разбойником... — сказал Никита Григорьевич.

— Молодец из себя, и в лице нет ничего

зверского, — высказал свое мнение Максим Яковлевич.

— Да и есаул его тоже душа, парень, несмотря на то что в Москве на его шею уж сплетена петля, — сказал старик Строганов.

— Тоже удалец хоть куда... Каковы-то их люди? — произнес Максим Яковлевич.

— А вот увидим, — заключил Никита Григорьевич.

С небольшим через час посланные на сторож люди донесли, что Ермак с людьми подходит к усадьбе.

Утро было прекрасное, еще не достигнувшее своего зенита солнышко обливало землю горячими лучами и блестело в каплях невысохшей росы, круглое лето бывающей в том краю.

Семен Иоаникиевич с племянниками вышел к воротам усадьбы. Их сопровождало двое слуг, один из которых держал каравай хлеба с поставленной на него серебряной солоницей, а другой — большой образ царицы небесной в драгоценном окладе. За хозяевами в некотором отдалении толпились любопытные челядинцы, захотевшие хоть одним глаз-

ком взглянуть на грозных разбойников, пожелавших стать верными слугами Строгановых.

Весть об этом, после посещения и угощения Ивана Кольца, распространилась быстро по всему строгановскому двору и хоромам, достигла и до светлицы, и Ксения Яковлевна смотрела на приближение Ермака и его людей из открытых окон своих роскошных горниц. Сзади столпились сенные девушки, и даже старая Антиповна встала на лавку, чтобы лучше разглядеть «раскаявшихся душегубов», как она называла Ермака и его людей.

Увидя приготовленную встречу, Ермак Тимофеевич повел своих людей ближе к усадьбе. Диву дались Строгановы, и дядя и племянники. К ним приближались стройные толпы в несколько сотен человек, высоких, рослых, с добродушными, чисто русскими лицами.

— Ужели это разбойники? — невольно мелькнуло не только в их уме, но и в уме всех остальных зрителей.

Впереди шел Ермак, а в первой шеренге справа — Иван Кольцо. Приблизившись к тому месту, где стояли Строгановы и слуги с

хлебом-солью и образом, Ермак Тимофеевич снял шапку, истово перекрестился и отвесил Строгановым поясной поклон. То же самое сделали как один человек все его люди. Шапки с голов были сброшены словно ветром, и правая рука поднялась и осенила могучие груди истовым крестным знаменiem. Строганов отвечал проходившим тоже поясным поклоном.

Ермак поднял глаза вверх, и вдруг взгляд его упал на окно светлицы, у которого стояла Ксения Яковлевна. Он посмотрел на нее несколько мгновений и отвесил поясной поклон, его люди, не смотревшие наверх и не знавшие, кому именно кланяется он, последовали примеру своего атамана.

Ксения Яковлевна зарделась, как маков цвет, и ответила тоже поклоном.

Люди между тем шли по направлению к указанному месту их будущего поселка. Все они были, как мы уже сказали, молодец к молодцу, высокие, рослые, с открытыми, чисто русскими лицами, полными выражения отваги, презрения к смерти, но не зверства и злобы, что несомненно как тогда, так и теперь

предполагалось в разбойниках, хотя, как мы уже имели случай заметить, с представлением о разбойнике соединялся менее страх, чем сожаление.

И действительно, в те отдаленные времена в разбой шли дурно направленные людьми и обстоятельствами порой лучшие русские силы, не выносившие государственного гнета в лице тех «супостатов», для которых не было «святых законов»: воевод, тиунов, приказных и подьячих... Они уходили на волю и мстили государству и обществу, не сумевшим направить их на истинно русские качества: отвагу, смелость и любовь к родине, на хорошее дело.

Красноречивый пример явила в этом случае шайка Ермака Тимофеевича, нашедшая все же применение своим добрым духовным силам, поступив на службу к Строгановым.

Дойдя до назначенного места, Ермак и его люди расположились лагерем и первый день своего новоселья провели по-праздничному. По приказу Строгановых им были выкачены бочки зелена вина, вдосталь было привезено мяса, пирогов и караваев свежего хлеба.

Пирование в лагере шло до поздней ночи.

Сами Строгановы, дядя и племянники, посетили своих гостей и выпили по заздравной чарке. Побратались с ними за чаркою зелена вина и дворовые челядинцы Строгановых.

Ксения Яковлевна с сенными девушками до позднего вечера не отходила от окна, искала и, казалось ей, находила среди пирующих высокую и статную фигуру атамана Ермака Тимофеевича.

Далеко за полночь догорали костры, затихли удалые песни, и лагерь новоприбывших заснул мертвым сном вместе с многими дворовыми челядинцами Строгановых.

Но на другой день ранним утром уже закипела работа по постройке прочных изб. В какой-нибудь месяц вырос новый поселок, множество изб составили правильную улицу, а изба любимого атамана, построенная просторнее других на околице, была украшена на коньке вертящимся деревянным петухом.

Вольные люди зажили жизнью оседлых поселенцев. Жизнь эта была совершенно иная, чем та, которую они вели до сих пор: тихая, спокойная, без разгула, но и без еже-

дневных опасностей. Как новинкой, поселенцы были ею на первых порах очень довольны.

Еще больше довольны были сами Строгановы, в их владениях наступила такая тишь, гладь и Божья благодать, что любо-дорого. Соседние бродячие племена быстро узнали, что у Строганова появились силы во главе с Ермаком Тимофеевичем, имя которого было грозою и за Каменным поясом. Они притихли, даже, видимо, помышлять перестали о набегах и грабежах.

На руку это было Строгановым, не раз благодарили они Бога, что согласились принять Ермака с его людьми.

Но Ермак и его люди скоро перестали быть довольными. Не для их кипучей натуры было мирное житье. Сам атаман обещал им боевую деятельность, насылил золотые горы, соболей, искупление грехов борьбой с неверною нечистью.

А где эта нечисть? Кругом хоть шаром покати, все гладко и спокойно. Люди стали выражать недовольство, да и сам Ермак стал призадумываться.

«Что же это? — думал он. — Не лежебочничать пришли сюда, а дело делать, говорили, что настороже надо ежеминутно быть от диких людей, ан кругом не только лихого, а так просто чужого человека видом не видать... Этак своих людей всех перепортишь, избалуется, ослабнут, не будут годиться для ратного дела».

Не раз высказывал он эти мысли Семену Иоаникиевичу. Тот не совсем понимал его, но видел, что, не ровен час, поднимется он со всеми людьми и уйдет куда ни на есть — люди вольные... Это пугало Строгановых, уже привыкших за Ермаком и его людьми сидеть как у Христа за пазухой. Лаской, подарками и Ермаку и людям его старались Строгановы удержать их при себе.

— Чем не житье вам? Кажись, привольно, — спрашивал Ермака с тревогой Семен Иоаникиевич.

— Что говорить, не житье, а Масленица...

— Так чего же вам?

— Нам-то?

— Да...

— А ты, Семен Аникич, приручал вол-

ков? — спросил вместо ответа Ермак Тимофеевич.

— Где их приручишь... Одного действительно людишки изловили махонького и в избе приютили, вырос маленько, только ноги у него отнялись, задние...

— Вот видишь, Семен Аникич, и мы того же боимся.

— Чего?

— А чтобы ноги у нас не отнялись в тепле да в холе сидючи... Волки мы были, волками и умрем. Лес нам нужен, воля, а не избы теплые. Не на покой шли мы к тебе, а на дело. Сам, чай, ведаешь...

— Ведать-то ведаю, да только где возьмешь дел-то?.. Нечисть-то вся, об вас прознавши, притаилась. Жизни не подает...

— А ты, Семен Аникич, на медведя-то зимой охочивался?

— Не приводилось.

— Ну все же, чай, знаешь, что они зимой из лесу не выходят, да и по лесу не бродяжничают...

— Знаю, как не знать, в берлоге они зимой-то...

— Правильно, из берлог их и выгоняют охотники...

— К чему же ты речь ведешь?..

— А к тому, что и нам эту нечисть-то самую в ее берлоге искать надо, — ответил Ермак Тимофеевич.

— Может, и сами заглянут сюда... — в виде утешения сказал Семен Иоаникиевич.

— Долго дожидаться-то. И так, почитай, с год на месте сиднем сидим, индо одурь берет с покоя да с сытости...

— Погодь маленько, Ермак Тимофеевич, может, что и надумаем.

— Надумывай, Семен Иоаникиевич, да поскорей надумывай...

Старик Строганов подал эту надежду для того только, чтобы оттянуть время.

«Авось да еще обживутся, никуда им идти не захочется...» — мелькало в его голове.

Ермак вернулся в свою избу, где он жил вместе с Кольцом. Тот давно соскучился бездействовать и не раз заговаривал со своим атаманом. Но друг отмалчивался до поры до времени, и только уже начинавшее проявляться недовольство людей заставило его пе-

реговорить со стариком Строгановым. В себе он ощущал какую-то двойственность. С одной стороны, томился покойной жизнью и понимал это томление в Иване Кольце и в своих людях. При воспоминании о прежней разгульной жизни на Волге угрюмое лицо его прояснилось, он оживился, но только на короткое время. Он чувствовал, что не может возвратиться к прежней жизни, что здесь, в «строгановском царстве», его удерживает не сытая и покойная жизнь, не ласка, подарки и гостинцы добрых хозяев — ничего бы это не удержало его, а — какая-то другая сила.

Эта сила заключалась во взгляде девушки, стоявшей у окна в день прихода его в строгановские владения, взгляда, который ему показался яснее и теплее сиявшего на небе июльского солнышка. Стало ему с тех пор не по себе.

Узнал он, что эта девушка — племянница Семена Иоаникиевича и сестра Максима Яковлевича Строгановых, несколько раз встречался он с ней в строгановских хорах и обменивался молчаливым поклоном. Заметил он, что девушка ему стала даже приветливо

улыбаться и этой улыбкой приковала к себе еще сильней сердце бобыля, не знавшего ни нежной ласки женской, ни настоящей любви. Понял он, что любовь — сила, и стал бороться с ней, как с силой вражеской.

Не отуманила эта любовь еще его ум — понимал он, какая пропасть разделяла его, атамана разбойников, за голову которого в Москве назначена награда, и дочь влиятельных купцов-богатеев Строгановых. Надо было вырвать с корнем это гибельное для него чувство.

Да не вырвалось оно!

Начавшийся ропот и брожение среди людей сочтено было Ермаком началом его спасения. Он надеялся, что опасность предстоящего похода, о котором он говорил старику Строганову, излечит его от рокового увлечения.

IX

Сны Ермака

Брожение и ропот среди людей действительно все увеличивались. Некоторые уже громко выразили желание вернуться на Волгу.

— Что же это такое? — говорили они. — Так закиснуть здесь недолго, обабиться, многие уж милуются с дворовыми бабами да девками. Плохое дело это, не казацкое... Да и атаман стал сам не свой, ходит, словно сыч какой. Самому, чай, в тяготу...

— Кабы в тяготу было, увел бы, не подневольный, — слышалось замечание.

— А мы подневольные, што ли?.. — раздавался раздраженный голос.

— Зачем подневольные? В кабалу из нас никто не продавался.

— То-то и оно-то...

— Только как атаман, — замечали более благоразумные.

— Что атаман! Нянька он нам, што ли? И без него дорогу найдем.

- Как же без атамана?
- Другого выберем...
- Другого? Сказал тоже... А кого? Не тебя ли?..
- Зачем меня?.. Не меня и не тебя. Другие найдутся...
- Где они, другие-то?.. Надо, чтобы атаман атаманом был, чтобы знали его в окружности, имени боялись. Таков наш Ермак Тимофеевич.
- Ивана Кольцо попытать...
- Сказал тоже, Иван Кольцо... Не пойдет он...
- Для чего?..
- Супротив Ермака николи не пойдет... И пытать нечего...
- Так самому сказать... Ермаку...
- А как скажешь-то?..
- Круг собрать... А то ведь тошнехонько... Без дела лежать и от еды только брюхо пучить, совсем изведешься...
- Круг — это дело... Надо поготорить с товарищами...

Такие или подобные им шли разговоры среди новых поселщиков строгановских. Ер-

мак Тимофеевич если не знал о них, то угадывал... Надо было дать дело людям, иначе брожение среди них могло принять большие размеры — люди действительно могли уйти, не выдержав скуки однообразной жизни, а это — что плотина: прорвется — не удержишь.

Такого мнения был и Иван Кольцо, не раз предостерегавший Ермака в этом смысле и даже побудивший его завести с Семеном Строгановым разговор о необходимости похода.

— Что ни на есть там будет, а люди, по крайности, ноги поразомнут, и то дело, — говорил Иван.

Поэтому он встретил вернувшегося из хорм Ермака вопросом:

— Ну, что, как?..

— Пообождать просил недельку-другую, — ответил Ермак Тимофеевич.

— Ох уж это мне жданье да жданье... Дождетесь до беды, с людьми не управиться, как забушуют...

— Да много ли их бушевать-то будет?.. Большинство-то, кажись, довольно, краль за-

вели себе, — горько усмехнулся Ермак.

— Не узнаю тебя, атаман, чему радуешься. Король завели... Это-то и неладно, перепортят-ся вконец, к ратному делу годиться не будут... Только я наших людей знаю. Не из таковых... Смута выйдет, все пристанут к тем, кто из поселка тягу задаст на вольную волюшку, в степь просторную, куда и крали денутся, бросят, не жалеючи. Для казака нет лучшей крали, как пицаль да меч булатный...

По лицу Ермака во время горячей речи его друга и помощника пробежали мрачные тени. Он как бы слышал в этих словах упрек самому себе. Ведь он был почти рад этой отсрочке похода, выговоренной Семеном Иоаникиевичем. А все из-за чего? А из-за того, чтобы лишний раз увидеть в окне верхнего этажа хором строгановских стройную фигуру девушки, почувствовать хоть издали на себе взгляд ее светлых очей да ходючи в хоромы, быть может, ненароком встретить ее на одно мгновенье, поймать мимолетную улыбку уст девицких.

Какой он казак? Какой он атаман разбойников? Баба он слабовольная!

Нет, надо покончить с этим... Не Ермаку Тимофеевичу поддаваться женским прелестьям. Не радости семейной жизни на роду его написаны... Нарушишь главный завет отца — погибнешь ни за синь порох. Эти-то бродившие в его голове мысли и нагоняли тучи на его лице.

— Потороплю старика. Будь по-твоему, — сказал он Ивану Кольцу.

В голосе его послышалась невольная дрожь. Есаул удивленно посмотрел на него и тут только заметил особенно странное выражение его лица.

— Что это с тобою, Тимофеевич? В жисть не видел тебя такого-то...

— А что? — встрепенулся Ермак.

— Как что? Да ты туча тучей... Что с тобою приключилось?

— Ничего, так! Что-то не по себе, недужится... Засну вот, может, сном пройдет.

— Засни, засни, а я пойду с ребятами поговорю, может, и разговорю.

— Чего разговаривать их? Скажи, что скоро в поход двинемся, — раздражительно заметил Ермак Тимофеевич, укладываясь на лав-

ку, подложив себе под голову скинутый им с себя кафтан.

Иван Кольцо взял шапку и пошел из избы, но на пороге оглянулся на уже лежавшего Ермака и сомнительно покачал головой.

— Приворожила, — проворчал он себе под нос. — Вот она, баба-то, сила! Ермака осилила.

Он окончил эту фразу за дверью избы и пошел, насвистывая, по селу.

Ермак Тимофеевич между тем не спал. Ему спать не хотелось. Он нарочно сказал, что заснет, чтобы некоторое время полежать с закрытыми глазами, сосредоточиться.

Уход есаула и друга был очень кстати. Ермаку не надо было притворяться спящим. Он был и так наедине с самим собою.

Ермак открыл глаза и сосредоточенно устремил их в одну точку. Перед ним проносятся его прошлое. Кровавые картины разбоя и убийств так и мечутся в голове. Инда оторопь берет. Крутом все трупы, трупы. Волжская вода вокруг встреченных его шайкой стругов окрасилась алою кровью, стон и предсмертное хрипение раненых раздается в его ушах. Стычки со стрельцами и опять...

смерть. Кругом лежат мертвые его товарищи, а он один невредимым выходит из этих стычек — разве где маленько поцарапают.

А для чего? Для чего хранила его судьба? Не для того же, чтобы стать захребетником Строгановых и скоротать свой век в этой высокой просторной избе, издали изнывая по красавице-девушке, впервые заронившей в сердце искру любви, которая день ото дня, чувствует он, разгорается ярким пламенем, сжигает его всего, места он не находит нигде.

Дождется он, что поведут ее с другим под честный венец, бают среди челядинцев строгановских, что жених есть на Москве у молодой хозяйюшки, боярин статный, богатый, у царя в милости. Куда уж ему, Ермаку, душегубу, разбойнику, идти супротив боярина, может ли что, кроме страха, питать к нему девушка? Нет, не честный венец с ней ему готовится, а два столба с перекладиной да петля пеньковая. Вздернут его, сердечного, на просторе он и заболтается.

Да и лучше! Легче казнь вынести, нежели на глазах своих видеть ее с другим, хотя бы и с боярином.

— Венец... — повторил чуть слышно Ермак Тимофеевич, и на его губах вспыхнула горькая улыбка. Сон ему вспоминается, что видел он как раз в ту ночь, как порешили идти в «строгановское царство». Видит он страну неведомую, невиданную, странную, снег как будто, а деревья зеленые. Таких деревьев он отродясь не видывал. Толпы людей низкорослых, лохматых, в шкурах звериных, глядят на него с товарищами, осыпают тучами стрел, он приказывает палить из пицалей и идет вперед, а кругом него все трупы валяются. Вдруг все исчезло, а затем он и себя самого увидел, а у него на голове венец княжеский...

С тем он и проснулся. И к чему сон такой ему привиделся? И странно то, что отчасти он исполнился.

Когда наступила зима, поля и горы покрылись снегом, он уже здесь, в запермском крае, увидел то место, которое видел во сне: снег, а деревья зеленые.

Что бы это означало?

Люди бают, что там, за Каменным поясом, все так: зимой при снеге кругом стоят зеленые деревья, а нечисть эта поганая, низкорос-

лая в звериных шкурах ходит. Нет, надо идти в их берлогу! Когда их сюда дожждаться проклятых? Так мысленно решил Ермак Тимофеевич.

Утомленный тяжелыми воспоминаниями о прошлом, он незаметно для себя заснул, и ему привиделся снова тот же самый сон. Точно ужаленный вскочил Ермак Тимофеевич и сел на лавку, протирая глаза.

— Что бы это значило?

В это время дверь отворилась и в избу вошел Иван Кольцо.

— Что, брат Тимофеевич, выспался?

— Всхрапнул маленько, был тот грех, — отвечал Ермак.

— А я по поселку побродил, погуторил с молодцами, и ведь, пожалуй, ты намедни правду баял...

— Про что?

— А про то, что обсиделись наши удалыцы, как куры на насесте, не сгонишь.

— Ой ли!

— Право слово... Есть из них, индо дрожат, как про поход слышат, а зато много и таких, что другие речи ведут...

— Какие же такие речи?

— А такие, что от добра, дескать, добра не ищут... Живем как у Христа за пазухой, умирать не надо...

— Вот оно что...

— Дела не хвали...

— Ничего... — поднялся во весь рост Ермак Тимофеевич, — как кликну клич, не то заговорят, все пойдут до единого...

— Дай-то бог, только надо это скорее, а то и другие вконец излобчатся.

— Ничего... Не боюсь, повернутся... Сам же говорил, что со мной в чертово пекло пойдут, а не токмо на нечисть поганую.

— Да, но то говорил я на Волге, — со вздохом сказал Иван Кольцо, — ребята были не балованные.

Ему самому было страшно тяжело бездействие, но из любви и дружбы к Ермаку, в сердечную тайну которого он проник чутьем друга, он не говорил ему этого, хотя мысленно обвинял себя в слабости, так как ему для спасения друга надо было действовать решительно.

— На днях пойдем походом, так хоть по-

близости... — вдруг заявил Ермак Тимофеевич. — Созывай завтра круг к вечеру.

И действительно, Ермак на другой день утром вынудил у Семена Иоаникиевича согласие снарядить их в поход в ближайшие станицы кочевников. Казаки, как и предсказывал атаман, составили круг, решили идти в поход и пошли все до единого.

Дойдя до ближайшей станицы враждебных чувашей, они многих из них перебили, еще более разогнали, захватили много драгоценной пушнины, самопалов, стрел и вернулись в поселок с знатной, а особенно на первый раз, добычей. Часть мехов Ермак Тимофеевич, по приговору круга, подарил Строгановым, которые отдалили их угощением. Целый день пировали казаки. Поразмяты были у них и ноги, и богатырские плечи.

Х

Найденыш

Возвратившаяся из горницы Семена Иоанни-Киевича в светлицу Антиповна не застала уже Ксению Яковлевну в рукодельной. Она находилась снова во второй горнице у окна вместе со своей любимой сенной девушкой, чернобровой и чернокудрой Домашей.

Антиповна вошла в горницу, постояла у двери, поглядела на обеих и, повернувшись, пошла из комнаты, ворча себе под нос:

— Авось разговорит ее Домаша, девка шустрая.

Домаша была действительно веселая, разбитная девушка, умевшая угодить Ксении Яковлевне, войти всецело в ее доверие, утешить в горе и развеселить в грусти.

Тоненькая, но не худая, а, напротив, красиво сложенная — тонкость ее фигуры происходила от тонких костей, — с мелкими чертами оживленного личика матовой белизны и ярким румянцем, живыми, бегающими черными, как уголь, глазами, она как-то странно от-

личалась от остальных сенных девушек, красивых, белых, кряжистых, краснощеких, настоящего русского типа женской красоты. Цвет волос Домаши был иссиня-черный, то, что называется цветом воронова крыла. Происхождение Домаши, видимо, было нерусское, но кто были ее мать и отец — неизвестно.

Пятнадцать лет тому назад, после одного из набегов кочевников, дерзость которых дошла до того, что они явились под стены строгановской усадьбы и с трудом были отбиты, Семен Иоаникиевич нашел в одном из сугробов около острога полузамерзшую смуглую девочку, по внешнему виду лет двух или трех, завернутую в шкуру дикой козы и, видимо, кем-то впопыхах брошенную. Это было пятого января. Сердобольный Семен Иоаникиевич, конечно, принес в дом свою живую находку и сдал девочку Антиповне, которая отогрела ее, обмыла и одела в белье и платье своей питомицы Ксюшеньки, из которого она уже выросла.

Девочка освоилась, стала лепетать по-своему, на каком-то странном языке, непонятном

для окружающих. На совете братьев Строгановых решено было девочку окрестить. Крестным отцом стал Семен Иоаникиевич, а крестной матерью — Антиповна. Назвали девочку Домной, по имени святой, память которой празднуется пятого января, в тот день, когда она была найдена. По крестному отцу она звалась Семеновной.

Девочка росла, быстро научилась говорить по-русски и была допускаема для игр к маленькой Ксюше, которая была годом старше найденыша, но не в пример ее крупнее. Тоненькая, худенькая фигура девочки, похожей на большую куклу, видимо, была первым благоприятным впечатлением, которое она произвела на маленькую Строганову. Ксюша чувствовала над Домашей свое превосходство, и это прежде всего вызывало в ребенке симпатию к своей слабой и маленькой подруге; симпатия разрослась с годами в привязанность.

Девочки росли под зорким взглядом Антиповны, делили игры и забавы, делили и свое детское горе. С летами Ксюша сделалась молодой хозяйкой Ксенией Яковлевной, а Дома-

ша — ее любимой сенной девушкой, с некоторым отличием среди других, приставленных к Ксении Яковлевне.

Впрочем, в те отдаленные времена даже в боярских и княжеских домах на Москве не было особого различия между боярскими и княжескими дочерьми и их сенными девушками ни по образованию, ни по образу жизни. Разве что первые богаче одевались и спали на пуховых перинах, заменявшихся у сенных девушек перьевыми.

Еще меньше была разница между купеческой дочерью Строгановой и ее сенными девушками, а в особенности — поставленной в исключительное положение в доме Домашей.

Ксения и Домаша как были, так и оставались подругами. Обе были любимицами Антиповны, хотя, конечно, старая няня смотрела на найденыша Домашу как на первую из подвластных молодой хозяйшки и ценила ее постольку-поскольку она умеет угождать ее «сизой голубке» Ксенюшке, развлечь ее, развеселить.

На последнее Домаша была мастерица. Среди сенных девушек она слыла запевалой

и действительно обладала прекрасным, чистым голосом, шутки так и сыпались из ее вечно улыбающихся уст, на смешные прибаутки ее было взять статью, словно она была девушка, которая, по русской пословице, за словом в карман не лезла. Остальные сенные девушки боялись ее острого и подчас злого язычка.

Добрая по натуре, она, однако, не пользовалась своим превосходством дальше безобидных шуток над подругами. За это все любили ее. Души в ней не чаяла Ксения Яковлевна, не скрывала от нее своих тайн девичьих.

Антиповна была довольна, увидев, что Ксения Яковлевна призвала к себе Домашу поговорить. «Пусть их покалякают», — думала старуха, входя в рукодельную и занимая свой наблюдательный пост на лавке у окна.

Болтавшие было за работой сенные девушки примолкли. Речи их, видно, были такие, что не по нраву могли прийти строгой Лукерье Антиповне. В рукодельной наступила тишина. Слышен был лишь шелест шелка, пропускаемого сквозь ткань.

В соседней с рукодельной горнице тоже

было тихо. Стоявшие у окна Ксения Яковлевна и Домаша говорили пониженным шепотом.

— Здесь он, Домашенька, здесь, — говорила Ксения Яковлевна.

— Ермак?

— Тсс... Да... Поглядела бы на него хоть глазком.

— Не проберешься. Крестная в рукодельной. Как пройти?..

— Да, да... И братцы к себе не зовут, — грустно прошептала Ксения Яковлевна.

— Может, и сами с ним на беседе... Слышно, опять стали пошаливать кочевники...

— Ну?

— Да! Слышать...

— А ты почему знаешь, Домаша?

— Яков говорил, — покраснела девушка, стараясь особенно резко и грубо произнести это имя.

— Счастливая! — промолвила со вздохом Ксения Яковлевна.

— Чем это?

— Ты можешь с ним видаться, поговорить, душу отвести...

— Вот тоже невидаль! Сам сторожит меня всюду, а мне мало горюшка...

— Но ведь ты любишь его?..

— Ничего, парень ласковый.

— А щемит у тебя сердце, инда больнешенько?..

— Николи не щемит... Чтобы из-за их-то брата да сердце щемило девичье, рылом не вышли, пускай у них щемит...

— Не любишь ты, значит, Домашенька...

— Уж я не знаю, как и сказать тебе, Ксения Яковлевна. Пригож он, слов нету, весел нравом, ульстит норовит словом да подарком. Дня два-три не повидаешь его — соскучишься. Но чтобы томиться из-за него? Шалишь, себе дороже... Пусть сам томится... Вот как, по-моему...

— Замуж-то хочет брать? — спросила Ксения Яковлевна.

— Болтает... Поклонюсь-де Семену Иоаникиевичу.

— За чем же дело стало?

— Все собирается, — усмехнулась Домаша, но в этой усмешке было и немного горечи.

— А мне и думать нечего, — глубоко вздох-

нула Ксения Яковлевна.

— О чем это?

— Замуж идти...

— За Ермака-то?

— За кого же больше?

— Окстись, Ксения Яковлевна, за разбойника!..

— Какой же он разбойник? Вот и дядя говорит, что быть ему по уму бы воеводою...

— Души-то ведь губил все же... — вздохнула Домаша.

— Что же, что губил... Чай с голоду... Живет здесь тихо, мирно, душ не губит, разве вот мою только...

— Что ты, что ты! — испуганно перебила девушка. — Ты душу-то свою соблюди...

— Как тут соблюдешь, коли мил он мне больше души. Только и мысль, что о нем об одном от зорюшки до зорюшки... Гляжу вот на избу его, только тем и утешаюсь.

И Ксения Яковлевна жестом руки указала Домаше высокую избу на новой стройке с пестухом на коньке. Девушка поглядела на свою хозяйку-подругу и сама испугалась замеченного ею выражения боли.

— Что же ты, Ксения Яковлевна, убиваешь-ся? Может, все и обладится...

— Где обладится! — с отчаянием в голосе сказала Строганова.

Обе девушки замолчали.

— А он-то что? — после довольно продолжительной паузы спросила Домаша.

— Что он, я не ведаю, — ответила Ксения Яковлевна.

— Николи с ним не гуторила?

— Николи...

— А видалась?

— Встречалась ненароком, кланялась...

— Как он кланялся-то?

— Приветливо да ласково.

— Ну знать, зазнобила ты и ему сердце...

— А ты почему знаешь?

— Да как же иначе-то! Красавица ты у нас писаная, другой не найдешь, вишь, и на Москве, бают... А ихний брат, мужчина, до красоты девичьей как падох... Не чета Ермаку, из Москвы боярин приезжал, и то ошалел, тебя увидавши. Видела я надысь, что с ним, сердечным, поделалось, как исцеловала ты его при встрече...

— Не вспоминай мне о нем, Домаша.

— С чего так?.. Парень тоже красивый.

— Нашла красивого. Вот Ермак...

Ксения Яковлевна не закончила, сама испугалась довольно громко произнесенного имени.

— Что же Ермак-то? Чернявый, только глаза одни и горят полымем, не глаза бы, как есть мой Яшка, — заметила Домаша.

— Твой Яшка тоже парень красивый...

— Куда ему! Бросовый он парень, вот что... — с напускным равнодушием сказала Домаша. — Когда это он так полюбился тебе? — спросила она Ксению Яковлевну.

— Да, кажись, с того времени, как — помнишь? — пришли они сюда, как еще у окна мы стояли, он взглянул да и поклонился.

— Помню, помню... Только я не заметила ничего, потом и ты мне не говорила.

— Я и сама не знала до недавнего времени. Мерещился он мне как будто и наяву, и во сне... Потом несколько раз я с ним повстречалась... Еще пуще стало, а вот тут уже недели с две щемит мое сердце, от окна не могу отойти, все гляжу: не увижу ли его?.. Просто вся

измаялась...

— Надо прознать, что он-то... Узнаешь, коли любит он, — легче будет, а нет — наплевать на него надо...

— Легко вымолвить... — задумчиво сказала Ксения Яковлевна. — А как прознать-то?..

— Ты только согласишься, а я проведу.

— Проведаешь! — почти радостно воскликнула Ксения Яковлевна. — Как же?

— А стороной, через Яшку... Он с ним дружит, балалайкой его подчас тешит тоже...

— Соромно, девушка.

— Что за соромно! Стороной проведу, с опаскою. Так я закажу Яшке, как бы от себя... Он и оборудует, парень аховый... — Ксения Яковлевна молчала. — Что же, проведывать?

— Проведай... — чуть слышно ответила Ксения Яковлевна.

— Сегодня же я это оборудую. А ты, Ксения Яковлевна, брось куксить до поры до времени...

Строганова через силу улыбнулась.

ХІ

Ермак — знахарь

Ермак Тимофеевич между тем, пройдя в горницу Семена Иоаникиевича, застал его за писанием грамоты. Тот, не отрываясь от работы, повернул голову в сторону вошедшего и ласково произнес:

— Милости просим, гость дорогой, садись... Сейчас я управлюсь, поговорим с тобой.

Ермак сел на лавку. Семен Иоаникиевич стал продолжать, видимо с трудом, выводить буквы. Наконец он кончил и облегченно вздохнул, точно с плеч свалилась долго бывшая на них тяжесть.

— Посетил нас Господь Бог бедою... — невесело промолвил Семен Иоаникиевич.

— Бедою? — вопросительно-тревожно повторил Ермак Тимофеевич.

— Да, молодой, бедою... Племянница у меня есть, девка на возрасте. Может, видал ее?

— Видал, видал, — торопливо, дрогнувшим голосом произнес Ермак. — Что с ней, с Ксенией Яковлевной, приключилось?

— Да и сам я хорошо, молодец, этого не ведаю... Недужится девке, да и на тебе!

— Недужится? — снова повторил Ермак Тимофеевич.

— Да... Вот уже недели с две как бьется с ней нянька ее, Антиповна, старуха умная, преданная, всем, чем ни на есть пользуется... Не действует. Краска с лица, почитай, сошла, с тела спала, тает девка на глазах и на поди...

— С чего бы это? — участливо спросил Ермак.

Его побледневшее лицо выдавало волнение, которое он старался всеми силами скрыть. И он достиг этого.

— И сами ума не приложим... Антиповна, кажись, до правды додумалась. Замуж пора ей...

— Вот оно что...

— Тут-то и закавыка, — продолжал Строганов. — В глуши живем, какие тут женихи... Вот и отписываю в Москву...

Старик жестом руки указал на написанную им грамотку.

— В Москву?

— Да, к боярину Обноскову...

И Семен Иоаникиевич вдался в подробности. Он рассказал Ермаку Тимофеевичу уже известное читателям: о приезде Степана Обноскова с царской грамотой, о впечатлении, произведенном на него Ксенией Яковлевной, о дозволенном сватовстве и пересылке грамотками.

Он не заметил, что каждое слово его точно ножом ударяет по сердцу его слушателя. Да и мог ли он представить себе это?

Ермак Тимофеевич сидел ни жив ни мертв, хотя всеми силами старался казаться равнодушным.

— Да до Москвы-то не близкий свет. Гонца сегодня пошлю, а когда он доедет и благополучно ли, когда ответ привезет, когда сам нареченный жених пожалует, много воды утечет, а девка не по дням, а по часам тает... Вот она беда-то какая. Посетил Господь... — закончил свой рассказ Семен Иоаникиевич.

Ермак Тимофеевич молчал.

— А ты ко мне, добрый молодец, с радостью или тоже с бедой? — спросил его Семен Иоаникиевич.

— Моя беда, Семен Аникич, полбеда, — от-

вечал Ермак. — Речь моя о ней и подождать может, а вот надо раскинуть умом, как помочь девушке-то...

— Как тут поможешь? Антиповна бает, что не к смерти, не умрет до замужества... Травкой ее хотели попоить, кровь, бает, жидит она, от густой крови, вишь, девка туманится... Антиповне и книги в руки, старуха дотошная.

— А знаешь, купец, пословицу: ум хорошо, а два лучше?..

— Это точно... Да к чему это?

— А к тому, что я, может, в этой беде помочь тебе могу.

— Ты?

— Да, я. Не гляди, что молод я, Семен Аникич. Много на своем коротком веку я видывал, иному старцу это не привидится, с тем и умрет, не увидит.

— Поверю, добрый молодец, жисть такая...

— Да и доходить до всего сызмальства любил я... Чуть что, сейчас же доведаюсь. Стояли мы долго станом на Волге близ Астрахани. Вдали от берега укрылися, в лесу дремучем... Прознал я от тамошних жителей, что в том лесу колдунья живет в избушке одинокой, в

овраге... Потянуло меня к ней... Пошел... Старуха как есть страшилище. Приняла меня неласково, ну да я зыкнул на нее и нож ей показал. Против булатного-то не оказалось у ней наговору, ну да и к черту в пекло идти в старости охоты у ней не было... Подружились мы со старухой-то, стал я к ней кажинный день шастать, деньгами оделять, кое-каким припасом. Старуха мягче воску стала, любила меня, сынком стала называть, чертова дочь в чертовы внуки меня, значит, пожаловала... Ничто, думаю, только бы своего добиться и обо всех ее зельях да наговорах узнать. А трав этих у нее чертова пропасть была для просушки в хате повешана. Котелок на очаге был особенный, на треногом тагане. Кот черный, глаза горят, как уголья, да ворон без ноги, старый-престарый... Хрипло так, бывало, каркает. Стала старуха меня учить травы различать, снадобья делать, какие в пользу, какие во вред человеку идут. Учила, учила да и обмолвилась, что-де ее знахарство перейдет ко мне только после ее смерти. Я на ус себе намотал это и продолжал к ней шастать да выпрашивать. Все выпро-

сил, больше, говорит, тебя учить, добрый молодец, нечему. Я и отблагодарил, отправил ее к отцу — дьяволу...

— Убил? — чуть слышно спросил Семен Иоаникиевич, бросив на Ермака взгляд, полный страха, смешанный с удивлением.

— Прирезал... Давно это было, молод я был еще, — как бы в свое оправдание добавил Ермак.

— Да, да... — растерянно пробормотал Строганов.

— Ну и натерпелся я потом страху, всю жизнь ничего такого не видывал...

— Страху?

— Да... Прирезал я старуху-то и ушел... Правду молвила покойница: все зелья, снадобья, наговоры и отговоры так и стали мне в уме представляться, точно старуха мне их в уши шепчет... Пришел я к своим. Тут дельце случилось: обоз шел, пощипать его малость пришлось. Возчики ретивые оказались, управиться с ними труда стоило... Потом добычу делить стали, пированье устроили... Прошло два дня, не был я в избушке у колдуньи, да и не к чему было. Не на беседу же с мертвой ид-

ти?.. Только вдруг меня туда потянуло. Точно мне в уши кто нашептывает: «Иди да иди». Пошел. Подхожу к избушке, смотрю — дверь плотно притворена, а как теперь помню, ушел я, оставив ее настежь. Ну, думаю, кто-нибудь к старухе заходил из окрестных жителей, поворожить, увидел, что она мертвая, убежал да и дверь захлопнул... Пошел я на крыльцо, отворил дверь, кот мне под ноги шасть, и никогда я, на своем веку страху не испытывший, тогда, сознаюсь, дрогнул, под ноги себе посмотрел, хотел ногой кота ударить в сердцах, что он меня испугал, только он, проклятый, у меня между ног проскочил и был таков, а в это время над головой у меня что-то вдруг зашуршало! Это ворон старый быстро так вылетел. Поднял я голову, глянул да и обмер: передо мною зарезанная колдунья стоит, ухмыляется, голова у ней набок на недорезанной шее держится, она ею покачивает... Тут уж меня совсем оторопь взяла. Я назад, да бегом, а за мной, слышу, старуха хочет, кот мяукает, ворон каркает... Только вскорости я опомнился. Злость меня взяла, что устранился я неведь чего. Из оврага-то я

выбежал, на краю стал и обернулся. Смотрю и диву даюсь, избушка стоит с закрытой дверью, а из углов ее дым идет. Что, думаю, за притча такая? Сел на краю оврага, гляжу, вот вместо дыма языки огненные показались, полымем охватило избушку, как свеча, она загорелась и дотла сгорела, и дым такой черный пошел от пожарища. И почудилось ли мне, али так и было, что в дыму этом и старуха, и ворон, и кот улетели... Все это на глазах моих приключилось. Часа два прошло с тех пор, как я входил в избушку и кот мне под ноги шастал. Спустился я снова в овраг, пошел к месту пожарища. Гляжу — остались одни уголья, ни тебе остова старухи, ни кота, ни ворона как не бывало, может, кот и ворон к хозяйке своей и не вернулись, один сбежал, другой улетел, только старухе-то, кажись, не убежать бы... Пошел я прочь к своим, а все речи старухи о травах и зельях, наговоры ее и отговоры в ушах у меня так и слышатся... И дал я было себе зарок никогда ими не пользоваться, только зарока этого сдержать мне не пришлось. Случалось, товарищ занеможет или кровь из раны его ручьем хлещет, давал я ему тра-

вы и кровь заговаривал, и всегда было удачно.

Ермак смолк.

Семен Иоаникиевич тоже некоторое время молчал, видимо, под впечатлением рассказа.

— Чудное дело творится на белом свете! — наконец произнес он.

— Так вот я и хотел попытать насчет девушки, — с едва заметной дрожью в голосе сказал Ермак Тимофеевич.

— Что же, попытать можно. Только это надо сделать обдумавши.

— Я что ж? Мое дело предложить, а неволить к тому не могу, — сдержанно заметил Ермак. — А моя беда вот какова, — переменял он круто разговор. — Слышно, на Сылке и Чусовой появились кочевники.

— Не слыхал...

— Прибежал оттуда сегодня утречком парень один, бает, мурза Бегулий с вогуличами да остяками подошел туда и хозяйничает.

— Мурза Бегулий, — раздумчиво повторил Семен Иоаникиевич, — есть такой, это мне ведомо.

— Вот он самый...

— И много нечисти-то с ним...

— Говорит парень, что много, до тысячи...
Може, и привирает, у страха тоже глаза велики...

— Одначе все же полтыщи будет наверное...

— Може, и больше...

— Так как же быть-то?

— Вот я и пришел сказатья твоей милости... Надо людей отрядить, уgomонить мурзу-то этого. Мои молодцы мигom его успокоют...

— Сам поведешь?

— Нет, думаю, с Кольцом отправить...

— Всех уведешь? — с тревогою спросил Семен Иоаникиевич.

— Зачем всех? И половины довольно...
Уважат поганого.

— Что ж, отпускай, благословясь, — сказал после некоторого раздумья Строганов.

— Я племянникам скажу... Может, кто из них потехой ратной скуку разогнать захочет?

— Нет, об этом и говорить не надо. Оба полезут, молоды, кровь в них играет, а не ровен час, шальная стрела и насмерть уложит али

искалечит. Это если бы сюда погань пришла, другое дело, — торопливо, с тревогой заговорил Семен Иоаникиевич.

— Ладно, так и не надо на мысль наводить... — согласился Ермак Тимофеевич.

— Не надобно, не надобно... — замахал руками Строганов. — А что насчет Аксюши, так говорю, подумавши, надо решиться... Повременим, посмотрим, может, и полегчает ей, а этим временем и грамота к жениху придет, и что ни на есть он отпишет или сам пожалует... Сегодня же гонца посылаю... Не надумал вот, кого бы послать. Ну да у меня челядинцы все — люди верные, доставят. Теперь, кажись, дороги-то стали безопаснее...

— На Волге, бают, тихо, а все же, не ровен час, может и наткнуться на лихого человека, — загадочно заметил Ермак Тимофеевич.

— Авось бог пронесет, в добрый час будь сказано, — не заметил загадочного тона Ермака Строганов.

— Прощения просим, — встал Ермак. — Так я отправлю молодцов-то с Кольцом.

— Отправляй с Богом... — встал и Семен Иоаникиевич.

Ермак Тимофеевич поклонился и вышел. Быстрыми шагами направился он в свою избу, отдал наскоро дожидавшемуся его там Ивану Кольцу распоряжение о предстоящем походе и, опоясав себя поясом с висевшим на нем большим ножом в кожаных ножнах, простился со своим другом-есаулом.

— Ты это куда же? — спросил Иван.

— Дело есть... — нехотя ответил Ермак и быстро вышел.

Иван Кольцо посмотрел ему вслед недоумевающим взглядом.

«Задумал атаман, кажись, что-то неладное, — пронеслось у него в уме — а все баба...»

Он потрянул кудрями, вышел из избы, чтобы собрать круг и объявить о походе.

XII

Гонец

Быстро шел Ермак по дороге, ведущей от хобром Строгановых в Пермь.

Версты за полторы от старого поселка вправо от дороги на лугу пасся табун лошадей, принадлежавших новым поселенцам. Ермак направился к этому табуну. Привычной рукой схватил он за гриву первую попавшуюся лошадь, а через мгновение уже сидел на ней верхом и мчался по направлению к густому, синевшему вдали лесу слева от дороги.

В воздухе было тихо, но быстрая езда охлаждала воспаленное лицо Ермака Тимофеевича. Глаза его горели каким-то диким блеском — он был положительно страшен. Это не был тот Ермак, который беседовал часа два тому назад с Семеном Иоаникиевичем Строгановым, а затем со своим есаулом.

Это был Ермак, предоставленный самому себе, которому не перед кем было скрываться, не перед кем носить личину — Ермак просто-ра, расстилавшейся вокруг него степи.

«Не бывать тому, чтобы грамотка дошла до Москвы, чтобы приехал боярин вырвать из-под глаз мою кралою, свет очей моих... Если не отдаст гонец ее волею, отправлю его туда, откуда до Москвы не в пример дальше, чем отсюда», — неслось в голове скакавшего во весь дух Ермака Тимофеевича.

«Не моя, так пусть ничья будет! — решил он, отуманенный страстью. — Легче мне ударить ее в сердце ножом, видеть предсмертные корчи ее, чем отдать другому, не только боярину, но и самому царю... Убью ее и себя отправлю к черту в пасть, туда мне и дорога».

Лес приближался. Вот он начался, дорога стала спускаться в глубокий овраг. Ермак остановил коня на самом спуске, слез с него и отпустил на волю. Умное животное поскакало назад к табуну.

Ермак пеший стал спускаться в овраг по опушке леса. Он зорко смотрел в чащу и наконец на самом дне оврага выбрал густой кустарник и юркнул в него. Здесь он лег на шелковую траву. Незамечаемый со стороны дороги, он видел ее как на ладони.

По этой дороге должен был проехать гонец

Семена Иоаникиевича с грамотою к боярину Обноскову в Москву. Оставим Ермака Тимофеевича выжидать гонца и вернемся в горницу Семена Иоаникиевича. Проводив атамана, Строганов снова перечитал грамотку, свернул ее в трубку, запечатал восковою печатью и, положив на стол, задумался: «Кого же гонцом?» В Москву надо послать человека оборотистого, с умом, там, чай, челядь-то боярская себе на уме. До сих пор грамотками обменивался он с боярином через приказных торговых людей, а теперь как ждать okazji, коли беда такая стряслась над девкой. Спешить надо!

Семен Иоаникиевич стал перебирать в уме дворовых челядинцев. Ни один не показался ему подходящим.

«Яшка! — остановился он на известном уже читателю виртуозе на балалайке, красивом, дотошном парне. — Он это дело лучше оборудует, — стал размышлять Строганов. — Парень и из себя видный, да и языка ему не занимать стать. Забавляет он, развлекает Аксюшу и ее сенных девушек, да вот Антиповна бает, что надоел он ей, не хочет его слушать...

Приедет, в новинку будет...»

И у Семена Иоаникиевича созрело решение послать гонцом в Москву Яшку. Он захлопал в ладоши. В горницу вошел Касьян.

— Кликни-ка мне Яшку, — приказал Семен Иоаникиевич.

Через несколько минут в горницу вошел Яшка. Это был высокий, стройный парень со смуглым лицом и черными кудрями, шапкой сидевшими на голове и спускавшимися на высокий лоб. Блестящие черные маленькие глаза светились и искрились непритворным весельем, казалось, переполнявшим все существо Яшки. Он был одет в серый кафтан самодельного сукна, подпоясанный красным с желтыми полосами кушаком, шаровары были вправлены в сапоги желтой кожи. В руках он держал черную смушковую шапку.

— Звать изволила твоя милость? — перекрестившись на образа и отвесив поясной поклон Семену Иоаникиевичу, развязно спросил Яшка.

— Звал, Яков, звал. Службу надо будет сослужить мне, большую службу...

— Твой слуга, Семен Аникич. Только ска-

жи, а за службой дело не станет...

— Надо тебе в Москву съездить...

— В Москву... — побледнел Яшка.

Перспектива долгой разлуки с Домашей, которую он искренне любил, вдруг до боли сжала ему сердце, но это было на одно мгновение. Далекая Москва, город палат царских и боярских хором, о которых он столько слышал рассказов, предстал его молодому воображению и распалил любопытство.

«Коли любит, не забудет, — пронеслось в его голове, — а ей московского гостинца привезу, чай, там ленты да бусы не пермским чета...»

На этом решении он успокоился. Краска снова появилась на его лице.

— В Москву так в Москву, куда пошлет твоя милость, хотя за Москву... — с прежнею неизменною улыбкою отвечал он.

— Отвезешь вот боярину Обноскову от меня грамотку и ответ привезешь на нее...

Семен Иоаникиевич передал ему свиток. Яша бережно взял его и положил за пазуху.

— Ты зашей ее в загрудник, — заметил Строганов.

— Ладно, в целости будет, не сумлевайся.

— А вот тебе и казна на дорогу...

Семен Иоаникиевич встал, подошел к одному из шкафов, отпер его одним из ключей в большой связке, висевшей у него на поясе, вынул оттуда довольно объемистый мешок с деньгами и подал его Яшке.

— Хватит тут и в Москву, и обратно, и на гулянку по Москве останется, — заметил Строганов.

— Благодарствуем твоей милости, — ответил Яшка, принимая мешок.

— Сегодня же и выезжай...

— С час, может, промешкаю...

— Ладно... Ступай себе. Счастливого пути...

— Прощенья просим, Семен Иоаникиевич, — поклонился Яшка.

— С Богом! — напутствовал его Строганов.

Яшка вышел из горницы и направился к себе. Он жил вместе с другими холостяками-челядинцами в одной из надворных избушек.

Весть о посылке Яшки в Москву с грамоткой с быстротой молнии облетела всю усадьбу Строгановых. Многие из челядинцев зави-

довали выпавшему ему жребию — поразмыслить домашнюю скуку по чисту полю и чужим городам, увидеть Москву далекую, а, может, и самого царя Грозного, что Москву под своими очами держит... Другие сожалели о нем: как бы не пропал он в далеком пути. Мало ли лиходеев может встретиться?

Словом, толков было не обобратся. Весть проникла и в рукодельную к санным девушкам. Услыхав ее, Домаша побледнела. Хотя она, в силу своего строптивого характера, относилась к полюбившемуся ей парню с кондачка, но все же разлука с ним больно защемила девичье сердце.

«Надо во что бы то ни стало повидаться с ним, — пронеслось в ее уме, — и пусть прежде всего поклянется мне в любви да исполнит мой приказ относительно Ермака, а там пусть едет с Богом, авось такой же воротится».

Домаша посмотрела на свою хозяйку-подругу, сидевшую за пядями. Та низко склонилась над ними и сидела не шелохнувшись. Ксения Яковлевна поняла, что посыл Яшки гонцом в Москву — дело Антиповны: грамот-

ка адресована боярину Обноскову с приглашением прибыть сюда, чтобы вести ее под венец. Это старуха-нянька наговорила дяде Семену невесть что, он и отписал жениху. Не пойдет она ни за что под венец, лучше сбежит куда глаза глядят или в монастырь затворится. Коли не бывать ей за Ермаком — так никто ей и не надобен.

Эти мысли быстрее ласточки пролетали в голове девушки и болью отзывались в ее сердце. Она быстро отодвинула пальцы и вышла из рукодельной. Антиповна, сидевшая на своем наблюдательном посту, пристально посмотрела ей вслед.

«Ничего, пройдет это, — подумала она. — Весть-то уж больно для нее неожиданная-негаданная».

Вслед за Ксенией Яковлевной вскочила из-за пальцев и Домаша и прошла за молодой хозяйкой. Она застала ее сидящей на лавке и в слезах. Домаша молча села рядом.

— Это к нему посылают грамотку, к нему!.. Ненадобен он мне, ненадобен!.. — воскликнула Ксения Яковлевна, упав на плечо подруги, и заплакала.

— Да не убивайся ты, Ксения Яковлевна, раньше времени... Ближний ли свет Москва-то! Пока он получит грамотку, пока ответит да сам соберется, много воды утечет, ох, много... Мне вон с Яшкой разлучаться надо и то не горюю, хоть бы что, и без того его не отпущу, чтобы от Ермака он мне какой ни на есть для тебя ответ принес...

— Ах, нет, Домаша, не надо, соромно, — все же несколько повеселев, сказала Ксения Яковлевна.

— Что тут за соромно! Стороной он ведь разведает, не напрямки.

— Разве что стороной...

— Не смущайся. Я позову к тебе Антиповну, мне ее из рукодельной надо выудить, уйти надо, повидаться с Яшкой-то.

— Хорошо, позови, я ее заставлю себе сказки рассказывать.

— Это ладно...

Девушка выскочила в рукодельную.

— Антиповна, — сказала она, — Ксения Яковлевна тебя кличет.

Старуха быстро встала и поплелась в соседнюю горницу. Не успела Антиповна пересту-

пить порог, как Домаши уже не было в рукодельной. Она стремительно выбежала вон, спустилась во двор, два раза пробежала мимо избы, где жил Яков с товарищами, знавшими о его якшанье с Домашкой, и бросилась за сарай в глубине двора, за которым был пустырь, заросший травой.

Запыхавшись, Домаша присела на один из пней. Пустырь этот был давно излюбленным местом свиданий ее с Яковым, но чаще всего ему приходилось здесь часами бесплодно ожидать девушку.

Теперь Домаша ждала его.

«Ишь понесет его в какую даль... Невесть что случится может... Кажись, надо бы ему отговориться да остаться. Семен Аникич добрый, за неволю не послал бы, другого бы выбрал. Чай, самому в Москве погулять хочется... Уж и задам же я ему холоду», — думала девушка, сидя и чутко прислушиваясь к малейшему шороху.

Кругом все было тихо.

«Что же он, пострел, не видел, што ли, меня?.. Кажись, какая-то рожа из окна выглядывала, скажут», — терялась она в догадках.

Наконец до слуха ее донеслись торопливые шаги по двору.

— Идет! — решила она.

И действительно, через несколько минут из-за сарая появилась на пустыре высокая, стройная фигура Якова. Он быстро вышагивал навстречу девушке.

XIII

На пустыре

Домаша притворилась, что не заметила приближения Якова.

— Домаша, а Домаша! — окликнул ее парень, подойдя к ней сзади.

— А, это ты! — с деланным равнодушием обернулась к нему девушка.

Яшка хотел обнять ее.

— Не замай, — ударила она его по руке. — Чего лезешь с лапами?.. Облапливай московских баб и девок...

— Уж знаешь, — усмехнулся он. — И глупа же ты, Домаша, не своя в том у меня воля.

Девушка не дала ему докончить начатую фразу:

— Не глупее тебя. Знаем вашего брата, насквозь видим... Разводи бобы, а мы послушаем.

Она задорно снизу вверх посмотрела на него. Он продолжал хитро улыбаться.

— Что знаешь, что видишь? Известно, по неволе еду в такую даль, Семен Аникич посылает с грамотою к боярину Обноскову.

— Знаем это, знаем...

— И посмотришь, все-то вы в рукодельной знаете... Дивное дело!

— Что же тут дивного? Не за замком сидим...

— Это-то так, да больно скоро уж... Не успел я с Семен Аникичем с глазу на глаз переговорить, все уж известно.

— Сам виноват, болтать ведь сейчас пустился, гонцом-то в Москву еду, знай наших.

Домаша произнесла это, передразнивая самого Якова, с нескрываемой иронией...

— Сказал действительно, а не хвастал. Да и чего хвастать? Не радость тоже мне гонцом ехать-то...

— Толкуй там!

— Вестимо, обвык я тут, легко ли уезжать

в сторону чуждедальнюю, с милой расставаться...

Яшка глубоко вздохнул.

— Вот оно что! — с хохотом воскликнула Домаша. — Ты уж и милой обзавелся... Кто же эта краля такая счастливая, парня такого ахового захороводила, хоть бы глазком посмотреть на такую, а не то чтобы...

Девушка не окончила и еще пуще захохотала.

— Тебе все смешки, Домаша, уж подлинно не мимо молвит пословица: «Кошке игрушки, а мышке слезки».

— Кто же кошка-то по-твоему? — со смехом спросила Домаша.

— Кто? Да ты...

— Вот оно что! А ты мышка несчастная, то-то ты рыло-то нагулял, поперек себя шире... Все это оттого, что слезами обливаешься... Жаль тебя мне, парень, жаль... Ну да московские крали тебя, мышонка бедного, приголубят, приласкают, шкурку вот, пожалуй, попортят, не ровен час, ну да это не беда, все равно ты после них никому не будешь надобен.

Последние слова Домаша произнесла серьезным тоном, и этот переход от шутливого особенно должен был произвести на Яшку рассчитанное впечатление.

— Да ты, кажись, всерьез, Домаша... Грех тебе, девушка!

— Грех! — повторила она. — В чем это я согрешила, как бы доведаться?..

— Поклеп возводишь, напраслину...

— Вот как! Ишь бедненький, — снова усмехнулась девушка.

— Истинно так... Кабы могла ты, Домаша, раскрыть грудь мою да посмотреть, что делается в сердце моем молодецком, не говорила бы таких речей несуразных.

— А мне-то к чему и знать, что там делается, — небрежно кивнула Домаша.

— Занапрасно совсем, девушка, обижаешь меня, молодца...

— Чем-то я тебя так обидела?

— Да вот речами такими... Может, у меня сердце на части разрывается, перед тобой здесь стоячи...

— С чего это? Кажись бы, не с чего.

— Ох, Домаша, перестанешь ты изводить

меня?.. Больно ты переменчива. То лаской приголубишь, будто и сердце есть в тебе, то огрызаешься, словно волчица дикая. К тебе никак и не применишься. Али ты хочешь моей гибели?

Все это было сказано с такой искренней сердечной болью, что Домаша вдруг перестала улыбаться и снова, подняв голову, посмотрела на него. Он стоял перед нею бледный, без малейшей тени улыбки на красивом лице. Ей стало жалко его.

— Ну пошел, поехал, размазывай... — проговорила она, все еще не желая поддаваться произведенному им на нее впечатлению.

— Не размазываю я, Домаша, а правду говорю... Нерадостно еду я в Москву далекую, жаль мне тебя покинуть здесь, одна ты для меня, девушка, и радость и свет для очей моих...

— Кабы так было, так не поехал бы, — тихо сказала она.

— Как не ехать, коли посылает меня Семен Аникич...

— Он добрый, не стал бы неволить, кабы сказал ты напрямки ему, что тебе... — Она

остановилась. — Ну, хоть бы боязно...

— Боязно... И придумала же ты! Да какой же молодец на себя такой сором возьмет, трусом скажется!

— Ну так что ни на есть еще сказать бы мог, — поправилась Домаша, сообразив сама, что сказала действительно несуразное.

— Все это, может, и впрямь бы случилось... Мог бы и от поездки отлынить, другого бы послал Семен Аникич...

— Видишь ли... — перебила его Домаша.

— Только не с руки мне это было, для тебя же, моя кралечка, красота моя писаная...

— Вот как! Для меня ты со мной же разлучаешься!

— Да, для тебя, поистине...

— Любопытно, парень, об этом доведаться.

— К тому я и речь веду, чтобы ты доведалась... Семен Аникич доверил мне дело важное, значит, надеется на меня, не считает меня, как другие прочие, только балалаечником, скоморохом. Исполню я дело это, и цена мне в его глазах другая будет. Тогда вот и поклонюсь я ему о свадьбе нашей... Казны дал он мне на дорогу не жалеючи, и половины не

истрачу я, копейку беречь стану, только тебе и куплю обнов да гостинцев московских, а казна нам с тобой и вперед пригодится, как мужем и женою будем... Вот о чем я пораскинул умом, когда меня призвал к себе Семен Аникич и, думаю, пораскинул не без разума... Теперь сведала, девушка?

Домаша молчала. Она сознавала всю справедливость сказанного Яковом, но не в ее натуре было сразу признаваться в оказанной ею другому явной несправедливости. И она осталась верна себе.

— Размазал на диво! — делано усмехнулась она. — Голубь чистый, да и только. Ну да что толковать об этом! Еще на воде писано, вернешься из Москвы, там видно будет... У меня до тебя дело есть. Ты когда в путь-то?

— Да через час выеду...

Домаша побледнела:

— Так скоро...

— Семен Аникич спешить приказал.

— Ну на часок и задержаться можно. Я ведь не зря сюда тебя вызвала, попрощаться-то ты сам должен был прийти, а не я... Я по делу нашей Ксении Яковлевны...

— Что такое? — тревожно спросил Яков, знавший, как и все челядинцы, о хворости молодой хозяйшки и о том, как все искренне жалели ее.

— Да, чай, слышал ты, что изводится она, а с чего — никак и не придумают.

— Слышал, слышал, как же... Оказия...

— А я вот, хоть и баешь ты, что глупая, догадываюсь, с чего у нее хворь-то эта.

— Ну, с чего же?

— Зазнобил ей сердечко один тут молодец.

— Слыхал я, к нему-то и еду с грамотой.

— Ну вот и вышло, ты глуп, а не я... Я говорю тут, а он: к нему еду с грамоткой, — передразнила его Домаша.

— Как тут! Кто же это?

— Ермак.

— Ермак? — даже разинул Яков рот от удивления.

— Он самый.

— Да что ты! В уме ли? Не может быть этого!

— Уж коли говорю, значит, знаю, — ответила Домаша тоном, не допускающим противоречия. — И отчего же Ермаку не зазнобить

сердце девичье? Парень он видный, красивый...

— Что и говорить, — согласился Яков, — этого у него не отнимешь. Видишь ли... Разбойник ведь он, душегубцем был...

— А ты думаешь, наша сестра разбойника полюбить не может?

— Кто вас знает! Кто разберет? — ответил Яков. — В чем же дело-то?

— Поразведай ты сегодня перед отъездом у него стороной, люба ли она ему или нет...

— Это кто же?

— Бестолковый ты, парень, погляжу я на тебя. Конечно, Ксения Яковлевна!

— Да что же тут разведывать? Конечно, люба, кому она не люба будет... Красавица...

— Уж не ты ли тоже заришься? — ревниво спросила Домаша.

— Мне-то к чему... От добра добра не ищут.

Он примостился с нею рядом на пне и обнял за талию. Она не оттолкнула его и даже придвинулась, чтобы он удобнее уселся.

— Это ты говоришь, что люба ему, по себе судишь, — подчеркнула она последние слова, — а мне надо знать, что он скажет...

— Это не в труд мне, зайду к нему, проститься будто.

— Зайди, голубчик, Яшенька.

— А за труды что?

— Да ты сам сейчас сказал, что это не в труд тебе.

— А все-таки...

— Ну коли так, уж нечего делать с тобой, поцелую на прощанье, через час опять сюда прибегу. Приходи...

— Поцеловать-то и без того на прощанье надобно.

— Ишь какой приткий.

— Ладно, расцелую я тебя по-свойски.

— Это как еще придется.

Домаша встала.

Поднялся и Яков.

— Иди, иди, время-то тебя не будет ждать. Пройдет незаметно.

— Бегу, бегу, моя ласточка.

Он обхватил ее за талию, привлек к себе и хотел поцеловать, но она ловко выскользнула из его рук, так что он успел поцеловать только ее волосы.

— Не замай раньше времени...

И она быстро скрылась за сараями.

— Аспид, а не девка, — проворчал Яков, — а вот заполонила меня, свет без нее не мил.

И побрел исполнять поручение «аспида». Он направился в новый поселок, но не застал в избе Ермака Тимофеевича. У встретившегося с ним Ивана Кольца он узнал, что атаман куда-то отлучился из поселка, и неизвестно, когда вернется.

— А на что он тебе надобен? — спросил Иван Кольцо.

— Попрощаться было пришел к нему.

— Попрощаться?

Яков рассказал Ивану о том, что едет гонцом в Москву с грамоткою от Семена Аникича к боярину Обноскову.

— Что же, добрый путь... Кланяйся от нас Москве-матушке. Не видать нам ее теремов высоких, — заметил Иван Кольцо.

Он в то время не думал, что ему не только придется видеть Москву, но даже быть принятым в Москве с честью.

Ровно через час Яков был снова на пустыре, куда вскорости прибежала и Домаша. Он сообщил ей о невозможности исполнить ее

поручения из-за отсутствия Ермака.

— Куда же он запропастился? Ведь сегодня еще был у Семена Аникича...

— Я у самого есаула спрашивал, у Ивана Ивановича. Отлучился, говорит, а куда — нам неизвестно, неизвестно, и скоро ли вернется...

— Эка напасть какая! — сказала Домаша.

— Я в том, голубушка, не причинен...

— Я и не говорю, а только обидно очень. Ты уедешь, мне не через кого будет доведаться. Но что же поделаешь? На нет и суда нет... Прощай. Счастливый путь!

И, несмотря на то что он не исполнил ее поручения, она все-таки несколько раз крепко поцеловала его. На глазах обоих блеснули слезы.

Ее слезы были ему лучшим утешением в предстоящей разлуке.

XIV

Неожиданная встреча

— Вот где ты, Ермак Тимофеевич! — воскликнул Яков, спустившись тихо на коне в овраг и неожиданно увидав перед собой выскочившего из чащи леса и схватившего за узду его лошадь Ермака.

— Яков! — произнес атаман упавшим голосом, не выпуская из левой руки поводьев, но машинально опустив правую руку, в которой был крепко зажат огромный нож.

— Что это ты, Ермак Тимофеевич, словно опять по разбойному делу на дорогу вышел? — заметил Яков.

— По разбойному и есть, — глухо сказал Ермак. — Слезай, дело есть, все равно живым не уедешь далеко...

— Окстись! В уме ли ты? — ответил гонец Строганова. — Разве ты меня не знаешь?

— Знаю, как не знать!.. Может, с тобой мы и так поладим, без душегубства обойдемся. Не тебя мне извести надобно, а гонца, что на Москву едет с грамотой...

— Да я и есть этот гонец.

— Я тому непричинен.

— В толк не возьму твоей речи, Ермак Тимофеевич, — продолжал недоумевать Яков.

— Да ты слезай, говорю. Все поймешь... Коли в единоборство со мной вступить вздумаешь, все равно надо будет спешиться, потому коня твоего я прирежу, мигом по горлу полосну его, — уже тоном угрозы сказал Ермак и даже поднял нож, как бы намереваясь привести угрозу в немедленное исполнение.

— Да что ты, парень, своевольствуешь! Управы, што ли, на тебя нет? Узнает Семен Аникич, не похвалит тебя за это дело, не для этого он тебя своим посельщиком сделал, — переменял тон Яков.

— Эти речи ты, парнишка, брось... Начхать мне на твоего Семена Аникича, боюсь и его не больше летошнего снега. Слезай, говорю...

— Аль казна моя понадобилась? Не разбогатеешь с нее, душегуб, — продолжал препираться с Ермаком Яков.

Ермак Тимофеевич усмехнулся:

— Дурья ты голова, парень, погляжу я на тебя... Нужна мне твоя казна! Ох, невидаль...

Казны-то у меня сквозь руки прошло столько, что тебе и не сосчитать. Владей своей казной на доброе здоровье. Копеечки не трону... Мне подай грамотку.

— Грамотку? — удивился Яков. — На кой ляд она тебе!

— Это уж мое, парень, дело. Подай, говорю, коли жизнь тебе дорога. Ой, не дразни Ермака, худо будет. Слезай!

Лицо Ермака Тимофеевича вдруг стало страшно, глаза налились кровью, он угрожающе поднял нож. Яков испугался и не слез, а скорее сполз с лошади, бледный как полотно.

— Так-то ладнее будет, — заметил Ермак. — Ты в бега не пусться, догоню, быстрее Ермака никто не бегает. Припущу, что твой ветер.

Но Яков и не думал бежать. Он стоял как пригвожденный к месту. Страх перед этим лихим из лихих людей — грозным Ермаком, раз уже закравшись в его душу, как-то разом охватил все его существо.

Ермак, не слыша ответа, зорко и пристально глядел на Якова и, видимо, сам убедившись в произведенном им ошеломляющем

впечатлении, взял под уздцы лошадь, отвел ее к лесу и, привязав к стволу одного из деревьев, вернулся к Якову.

Тот продолжал стоять все в той же позе.

— Вот теперь погудим ладненько, по душе, — ударил его по плечу Ермак Тимофеевич.

Ножа в его руках уже не было. Ласковый тон Ермака и этот дружеский удар привели в себя Якова.

— Неладное ты затеял, Ермак Тимофеевич... — тихо проговорил он.

— Неладное... — передразнил Ермак Якова. — Значит, Яшенька, так надо...

Это ласкательное имя окончательно вернуло самообладание Якову, но он все же удивленно воззрился на Ермака Тимофеевича.

— Присядем да погудим, — предложил ему Ермак и пошел к опушке леса.

Яков последовал за ним и молча опустился рядом на траву.

— Любил ли ты когда-нибудь, Яша, красную девицу, а может, и теперь любишь? — вдруг прервал внезапно молчание Ермак.

— Люблю, — отвечал Яков.

— А коли любишь, да любишь так, что она для тебя милее света солнечного, дороже жизни твоей, что готов ты душу свою загубить за один взгляд очей ее ясных, умереть за улыбку ее приветливую, то ты поймешь меня...

Якову вдруг стало ясно все. Ермак сам говорил ему то, о чем с час тому назад просила испытать у него Домаша, — он говорил о любви своей к Ксении Яковлевне.

«Вот зачем ему надобна грамотка Семена Иоаникиевича, чтобы не дошла она до жениха ее нареченного», — неслоь в его голове.

Ермак между тем продолжал:

— Поймешь ты, каково сердцу молодецкому, как поведут его лапушку с другим под венец, поймешь, что за неволю на все пойдешь, чтобы помешать тому... чтобы того не было...

Ермак потрянул головой. Якову показалось, что он этим движением смахнул слезу, нависшую на его реснице. За минуту до этого грозный, свирепый разбойник теперь плакал перед своей жертвой.

— Понял ты теперь меня, Яшенька? — почти мягким, вкрадчивым голосом заключил свою речь Ермак.

— Понял, как не понять, Ермак Тимофеевич! — ответил растроганный Яков. — Я могу передать тебе радостную весточку — любит тебя Ксения Яковлевна.

— Любит? Что ты вымолвил! Любит? — схватил его за руку Ермак.

— Да, любит, Ермак Тимофеевич, извелась вся от любви к тебе.

— Откуда ты знаешь это? — дрожащим от волнения голосом спросил Ермак. — Не строй насмешек надо мной, не шути этим... Все прощу, а за это не помилую.

Его лицо сделалось страшно.

— Да какие тут насмешки, да шутки разве можно шутить этим! Сам, чай, понимаю, — сказал Яков.

— Откуда ты знаешь это? — повторил Ермак, все еще крепко сжимая руку Якова.

— Домашка сказывала, с час назад всего, просила меня попытать тебя, как ты... Я пошел к тебе, весь поселок обошел. Ивана Ивановича встретил, он мне и сказал, что ты неведомо куда отлучился. И вот где с тобой Бог привел встретиться...

— От себя Домаша речь об этом вела или

от нее? — весь дрожа от охватившего его волнения, спросил Ермак.

— От себя? Наверняка по поручению Ксении Яковлевны. Они ведь подруги задушевные...

— Вот видишь, — начал Ермак, оправившись от волнения, — как же мне допустить теперь, чтобы грамотка Семена Аникича попала в руки жениху-боярину? Я и решил подстеречь гонца и отнять у него грамотку душегубством, ан гонец ты, Яша, да еще весть мне принес радостную... Как же мне быть-то?

— Что — как быть? — не сразу понял Яков.

— Жаль тебя, молодца, прирезывать, а добром не отдашь грамотку, придется с тобою управиться...

Яков побледнел. В тоне, которым были сказаны Ермаком эти слова, звучала нота бесповоротной решимости.

— Да что ты, Ермак Тимофеевич, окстись, резать человека неповинного... Не по своей воле везу я грамотку, сам знаешь...

— Знаю, да делать-то мне больше нечего...

— Как нечего? Да пусть старик посылает грамотки. Не пойдет Ксения Яковлевна за

немилого, особливо коли ты люб ей сделался...

— Не должен мой ворог получить грамотки, — стоял на своем Ермак.

— Да опомнись, какой же он тебе ворог, коли он тебя в глаза не видывал?..

— Все равно, ворог заглазный, коли смеет мыслить о девушке. Да ты мне не заговаривай зубы. Подай сюда грамотку!

— Да как же я тебе отдам, коли мне велено ее в Москву отвезти, — возразил Яков. — Сам, чай, понимаешь, что это значит — продать хозяина...

— Добром не отдашь, силой возьму. Ну, решай скорее. Некогда мне тут с тобою валандаться.

— Смилуйся, Ермак Тимофеевич, отпусти...

— Не думай... Отдай грамотку, а коли нет, как ни люб мне стал с сегодняшнего дня — порадовал вестью радостной, — прирежу и грамотку возьму, а тебя, молодец, вместе с казной твоей в лесу закопаю, и след твой протынет, только тебя и видели... Лошадь прирежу и тоже в лес сволоку, а сбрую в одну яму с тобою свалю... Никто никогда не догадается,

где лежат твои косточки, лошадью же звери накормятся и съедят ее за мое здоровье...

Эта хладнокровная речь наполнила ужасом сердце сидевшего перед своим будущим убийцею Якова. Он был ни жив ни мертв, хорошо понимая, что от Ермака нельзя ждать пощады. Вступить с ним в борьбу было бесполезно — его не осилишь. Надо было решаться.

— Да как же я покажусь на глаза Семену Аникичу? Что скажу ему? — стал сдаваться он.

— Ах ты, дурья голова, да зачем же тебе ему показываться?.. Ты поезжай в Москву, погуляй там, а коли не хочешь — с полдороги сделай, да и вернись пеший... Платье на себе порви, скажись, что попал на Волге к лихим людям, всего-де ограбили, а грамотку в попытках потерял-де, — сказал Ермак.

— Как потерял, когда она у меня в кафтане на груди зашита.

— Сними кафтан, скажешь, что вместе с кафтаном сняли разбойники... Все ведь может в дороге стрястись. Сам Семен Аникич знает, что везде вольница пошаливает. Небось поверит...

— Поверит-то поверит, да неладно поступать так...

— Неладно для друга-то? Да и молодая хозяйюшка довольна будет... Ей тоже, коли я люб ей, грамотка эта поперек горла стоит...

— Это-то правильно.

— То-то и оно-то... Так давай и поезжай с Богом... Век тебе этой дружбы твоей не забуду. Навек обяжешь Ермака...

— Ну, ин будь по-твоему, получай... Что делать!.. Но только знай, отдаю из дружества да из любви твоей к нашей молодой хозяйюшке, а на угрозы твои мне наплевать. Вот что... — заговорил совершенно другим тоном расхраб- рившийся Яков, распоясал кафтан, вынул ви- севший у него за поясом в кожаных ножнах нож, распорол им подкладку, вынул грамотку и подал ее Ермаку Тимофеевичу.

— Ладно, ладно, верю, что из дружества, а не из-за чего прочего, — чуть заметно усмех- нулся Ермак, схватил дрожащей рукой гра- мотку, сломал печать, развернул ее, посмот- рел, разорвал на мелкие клочья и, бросив на землю, стал топтать ногами.

— Так-то лучше. Теперь поезжай с Богом.

Счастливого пути!

Он сам отвязал лошадь Якова и подвел ее к нему. Тот вскочил в седло, подобрал поводья и быстро поехал далее, крикнув Ермаку:

— До свидания!

XV

Наедине с собою

Веселый и довольный вернулся Ермак Тимофеевич в поселок.

Было уже под вечер. В поселке он застал оживление. Круг уж был собран Иваном Кольцом, решали поход половины людей по жребию.

Жребий был брошен, и к моменту возвращения Ермака уже вынудившие жребий похода под предводительством Ивана Ивановича выходили из поселка, оглашая тишину летнего вечера песнею:

*От Усы-реки, бывало,
сядем на струга.
Гаркнем песни, подпевают
сами берега...
Свирепеет Волга-матка,
словно ночь черна.*

Поднимается горюю
за волной волна...
Через борт водой холодной
плещут беляки.
Ветер свищет, Волга стонет,
буря нам с руки!
Подлетим к расшиве: — Смирно!
Якорь становой!
Лодка, стой! Сарынь на кичку,
бечеву долой!
Не сдадутся — дело плохо,
значит, извини!
И засвищут шибче бури
наши кистени!

Эта волжская разбойничья песня далеко разносилась по запермской равнине. Забилося ретивое у Ермака. Бегом бросился он догонять уходивших казаков.

Один из оставшихся в поселке казаков, видя бегущего за уходившими товарищами атамана, вывел ему со двора коня.

Ермак быстро вскочил в седло, не сказав даже спасибо казаку, и помчался далее. Он вскоре очутился впереди шедших в поход людей и успел даже подхватить последний куплет песни:

*Не сдадутся — дело плохо,
значит, извини!
И засвищут шибче бури
наши кистени!*

Увидав любимого атамана, толпа прервала песню, и из сотен грудей вырвался крик восторга:

— С нами, атаман, с нами!..

Ермак Тимофеевич сделал знак рукой, что хочет говорить. Толпа остановилась и смолкла.

— Нет, братцы, с вами я не пойду, поведет вас наш удалец есаул Иван Иванович... А мне надо здесь остаться, не ровен час, и сюда гости пожалуют незваные, прознавши, что ушли мы все отсюда... Прискакал я пожелать вам счастливого пути и знатной добычи.

— Благодарствуем, атаман! — пронеслось по толпе подобно громовому раскату.

— Не жалейте поганую нечисть, крошите ее, рубите, в полон не берите, полонянных нам ненадобно... Слышите, честные казаки?

— Слышим, атаман! — снова раскатилось в толпе.

Ермак слез с коня, подошел к Ивану Коль-

цу, обнял его и трижды поцеловал, затем снова вскочил на лошадь и крикнул:

— С Богом, ребята!

— Прощенья просим, атаман! — раздался возглас из сотен грудей.

Ватага двинулась, Ермак Тимофеевич отъехал в сторону и пропустил мимо себя людей. Они прошли, они уже были далеко, а конь Ермака все стоял как вкопанный среди степи. Умное животное чувствовало, что всадник тоже как замороженный сидит в седле и не намерен покидать своего наблюдательного поста.

Ермак Тимофеевич действительно, не отводя глаз, смотрел на удаляющихся товарищей. Они шли бодро и споро, как это обыкновенно бывает в начале похода. Вот толпа вытянулась в одну черную линию на горизонте, а затем как бы по волшебству исчезла совсем. Эту иллюзию произвел чуть заметный степной склон.

Ермак Тимофеевич еще несколько секунд посмотрел вслед исчезнувшим казакам, затем тихо повернул коня и шагом поехал обратно к видневшемуся посаду. Он почти зави-

довал Ивану Кольцу, шедшему теперь на ратное дело с легким сердцем, во главе удальцов, которые не посрамят русского имени и явятся Божьей грозой для неверных. Ему самому бы хотелось вести этих людей, разделить с ними и труды и опасности похода, как прежде. Но, с другой стороны, был ему несказанно мил и этот поселок, куда он возвращался, освещенный последними лучами заходящего солнца. Но одного ли солнца? Не ярче ли небесного солнышка глядела на него из окон светлицы Ксения Яковлевна?

Ермак снова слегка тронул поводья своего коня. Тот побежал крупной рысью уже по улице поселка.

Подъезжая к своей избе, Ермак Тимофеевич поднял голову. И в окне светлицы увидел две женские фигуры.

Ермак спрыгнул с коня, пустил его на волю — он знал, что конь найдет хозяйскую хату, — и вошел в избу.

Только теперь, очутившись один в четырех стенах своей одинокой избы, Ермак Тимофеевич снова ощутил в сердце то радостное чувство, с которым он ехал в поселок, после

того как расстался с Яшкой на дне оврага. Это чувство было на некоторое время заглушено грустным расставанием с есаулом и ушедшими в поход казаками — горьким чувством остающегося воина, силою обстоятельств принужденного сидеть дома, когда его сподвижники ушли на ратные подвиги. Но горечь сменилась сладостным воспоминанием!

«Она любит тебя, Ермак Тимофеевич! Она любит! Не потому ли не посмел ты сегодня, как прежде, дольше остановить свой взгляд на Ксении Яковлевне, стоявшей у окна светлицы?» — думал он, усевшись на лавку.

— Любит! — повторил он вслух.

Как много и как долго мечтал он об этом счастье, как недавно казалось ему оно несбыточной, радужной мечтой! И вот счастье далось ему! Она любит!

Вот отчего и недужится ей, бедняжке, истомилось золотое сердечко ее, вот отчего и не отходит она от окна светлицы, из которого как на ладони виден поселок и его изба.

Бедная, бедная!

И Ермаку Тимофеевичу показалось, что теперь ему тяжелее не в пример, чем тогда, ко-

гда он любил ее один, когда не знал о взаимности. Тогда и страдал он один. Теперь страдают они оба. Она сохнет, терзается! И кто виной тому? Он, он один! Теперь он не в силах уйти от нее. Она должна быть его во что бы то ни стало! Она любит его!

Должна быть его! Легко сказать! Они не имеют права даже видаться друг с другом. Разве такая хоть и взаимная любовь — счастье?

Ермак Тимофеевич встал и быстрыми шагами заходил по избе.

«Бежать вместе с ней! — пронеслось в его голове. — Казны у него хватит для этого».

Ермак как раз остановился у творила с железным кольцом, ведущим в подполье, устроенное под избой.

Там, в этом подземелье, Ермак зарыл в землю большой кожаный мешок с серебром и золотом — хватило бы на их век!

Но куда бежать? Назад в московское царство? Но там ждет его пеньковая петля.

Вперед — за Каменный пояс? Но там неведомая пустынная страна, малонаселенная дикими кочевниками. Что ожидает их там, а

особенно ее?

И Ермак Тимофеевич тряхнул головой, как бы выкидывая из нее самую мысль о бегстве.

«Меня любит старик и молодые Строгановы, — далее работала мысль Ермака. — Попытаться явиться самому за себя сватом?»

Он вдруг остановился и захохотал. Это был болезненно-горький хохот.

— Хорош, нечего сказать, женишок! — даже вслух, вдосталь нахохотавшись, произнес Ермак. — Дадут мне такой поворот от ворот, что и не опомнюсь. Молодец, на шее петля болтается, а он лезет в честные хоромы и свою залитую кровью руку протягивает к чистой голубке, коршун проклятый!

И он снова захохотал.

«Помочь хотел девушке, полечить голубушку, и то старик задумался, как допустить меня, окаянного, в ее светлицу честную, а вот Яшку-то, бывало, частенько зовут, потешал он ее и сенных девушек... — снова начал думать Ермак Тимофеевич. — Указывают, значит, чтобы знал свое место, а я еще в родню норовлю залезть... Затейник!»

Ермак горько улыбнулся.

«А все же как ни на есть, а надо бы пови-
даться с ней, хоть бы словом перемолвиться.
Все со мной и ей авось полегчает... Может,
вдвоем что и надумаем. Хитры девки бывают,
ой, хитры. То придумают, что нашему брату и
на ум не набредет... Но как увидаться? Дома-
шу надо перехватить, коли она через Яшку за-
сыл делала, так и сама, чай, не прочь будет
покалякать со мной... Надо Парфена за бока».

Парфен был закадычный друг и приятель
посланного гонцом в Москву Яшки.

Не успел Ермак Тимофеевич закончить
своей мысли, как дверь в избу быстро, словно
ветром, отворилась и в нее вбежала закутан-
ная в большой платок женская фигура, плот-
но захлопнувшая за собой дверь. Ермак, оше-
ломленный неожиданностью, остановился
как вкопанный посредине избы и устремил
на вошедшую удивленно-недоумевающий
взгляд.

Женская фигура сбросила платок с головы
на плечи и быстро проговорила:

— Кажись, никто не видел меня.

Перед Ермаком Тимофеевичем стояла лег-
кая на помине Домаша.

XVI

Внезапная мысль

Простившись с Яшкой, Домаша через несколько минут снова уже сидела в рукодельной за своими пальцами. Подруги, посвященные в тайну ее отношений с отъезжающим в далекий путь Яковом, очень хорошо понимали причину ее двукратного отсутствия из светлицы и истолковали его только в том смысле, что она бегала проститься со своим дружкой. Вопросов они ей не задавали и лишь исподтишка пристально поглядывали на нее, стараясь по лицу прочесть о впечатлении, произведенном разлукой с милым.

Но на этом лице они не прочитали ничего. Девушка была горда и скрытна. Никаким чувствам она не позволяла вырываться наружу.

— Экая бесчувственная! — решили те.

Антиповны не было в рукодельной. Ее старческий голос доносился из соседней комнаты — она рассказывала сказку за сказкой рассеяннo слушавшей ее Ксении Яковлевне.

— Довольно, няня, — сказала та, когда ста-

руха окончила сказку о добром ласковом витязе и распрекрасной царевне, приключения которых благополучно окончились свадьбой. Антиповна там была, «мед пила, по усам текло, а в рот не попадало». — Уж и расскажешь ты, чего и быть не могло... Где у тебя усы-то?

— А это, светик мой Ксюшенька, уж такая присказка, из нее, как из песни, слова не выкинешь...

— Позови-ка ко мне Домашу, — сказала Ксения Яковлевна. — Да и пора девушкам кончить работу, пусть погуляют...

— Кончить такую рань? Что ты, касаточка. За летний день они еще много наработают.

— Чего там, успеют... Пусть погуляют.

— Твоя хозяйская воля, — недовольно отвечала старуха, — только это не годится, чтобы они шалберничали. И так управы с ними нет, с озорными.

— Молоды они, нянюшка.

— Что же, что молоды, не сорви же головам быть, коли молоды. Да и спешно теперь у нас...

— Какая спешка?

— Известно, спешка. Надо тебе приданое

готовить. Не ровен час, жених придет, тебя на Москву отправлять надо. Ох, мало у нас наготовлено...

— Ты опять за свое, няня! — с укором сказала Ксения Яковлевна.

— Что за свое? Известно, вся хворь твоя от этого, замуж тебе пора, вот те и сказ, так я и доложила Семену Аникичу... Он, дай ему Бог здоровья, меня, старуху, послушался, слышь, гонца послал в Москву с грамоткой...

— Знаю, знаю, что это твое дело, — с еще большим упреком в голосе произнесла Ксения Яковлевна.

— Известно, мое, я и не отказываюсь. Для твоей же пользы постаралась. Думаешь, легко моему сердцу, что ты на глазах моих изводишься?..

— Так помочь этим думаешь? — со вздохом спросила девушка.

— Известно, помочь... А то что же? — воззрилась на нее Антиповна.

— Ничего, я так...

— Ой, Ксюша, Ксюша, таишь ты что-то от своей старой няньки... Грех тебе...

— Что ты, что ты, нянюшка, ничего не таю

я, это тебе так показалось.

— Ох, тайшь, Ксюшенька, говорит мне мое сердце-вещун. Всю правду-матушку выкладывай...

Старуха остановилась и пытливо посмотрела в глаза питомице. Та выдержала этот взгляд.

Антиповна пошла из горницы, качая укоризненно головой и ворча себе под нос:

— Домашка, чай, все что ни на есть начистоту выкладывает... Попытать разве девку, да не скажет, кремень...

Она вышла в рукодельную, освободила, согласно желанию Ксении Яковлевны, от работы сенных девушек, радостно повскакавших из-за пяльц, и обратилась к Домаше:

— А ты, егоза, иди к хозяйке...

Домаша это сделала бы и без зову, хотя ей была тяжела предстоящая беседа с Ксенией Яковлевной. Она ничем не могла утешить ее и даже, как ей в то время казалось, потеряла возможность исполнить ее поручение. Сердце ее томительно сжималось. «Как-то примет она эту неудачу?» Домаша поспешила к ожидавшей ее Ксении Яковлевне.

Она застала ее сидящей на скамье с опущенной головой. Последняя беседа с нянькой, где девушка должна была ломать себя, чтобы не выдать свою тайну, донельзя утомила ее. Она прислонилась спиной к стене, у которой стояла, в полном изнеможении, с закрытыми глазами.

Домаша испугалась.

— Что с тобой, голубушка, Ксения Яковлевна? — воскликнула она, подошедши к лавке.

Та встрепенулась и открыла глаза.

— Ах, Домаша, это ты...

— Я-то, я, а с тобой что же это, моя касаточка? Знать, расстроила тебя Антиповна.

— Нет, не то, Домаша. Начала она опять меня пытаться женихом своим да свадьбою...

— Ишь, старая, сделала дело, уж и молчала бы, — заметила Домаша.

— Уехал Яшка? — спросила Ксения Яковлевна.

— Уехал уж теперь, наверное. С час, как я его видела, сказал, что сейчас же едет...

— А-а-а... — протянула Строганова.

— Только вот что, голубушка, Ксения Яковлевна, посылала я его к Ермаку-то... Только

незадача вышла...

— Посылала?.. Ну что?.. Говори прямо... Не бойся.

— Да что? Ничего...

— И не думает он обо мне, и в мыслях не имеет? — вздохнула Ксения Яковлевна.

— Не то, голубушка, не то...

— А что же?

— Запропастился он куда-то из поселка... Не нашел его Яшка. Весь поселок избегал, есаула встретил, Ивана Ивановича, так тот сказал ему, что ушел-де атаман неведомо куда... Так и не мог Яшка повидаться с ним. В том и беда...

— Значит, не судьба, — грустно улыбнулась Строганова.

— Нет, я что ни на есть, да придумаю.

— Не надо, брось, говорю... — настойчиво повторила Ксения Яковлевна.

В голосе ее послышались раздражительные ноты.

— Хорошо, хорошо, не надо так не надо, — ответила Домаша.

— Расскажи лучше, как ты со своим простилась...

— Наше прощание недолго было.

— Плакала?

— Нужда была плакать... Глаза, чай, свои, некупленные, — делано спокойно заявила Домаша.

— Какая же ты бесчувственная! А он что, чай, не рад, что и послали?..

— Говорил, что неволей едет, да врет. Чай, самому в Москве погулять лестно...

— Что же он говорил-то?

— Да ничего, обещал гостинцев да обнов привезти...

— А о свадьбе?

— Приеду, говорит, поклонюсь Семену Аникичу, за заслугу мою, что гонцом в Москву ездил. Может, Бог даст, и смилуется...

— Конечно же, я и сама попрошу за вас дядю. Он мне не откажет, все сделает.

— На этом благодарствую, Ксения Яковлевна.

Обе девушки встали, прошлись по горнице и подошли к тому самому окну, около которого обыкновенно стояла Ксения Яковлевна. Их внимание привлекло необыкновенное оживление, царившее в поселке. Все население его

высыпало на улицу, собралось в одно место и о чем-то горячо рассуждало.

Толпа разделилась вскоре на две равные половины: одни двинулись из поселка, а остальные стали расходиться по домам.

— Что бы это значило? — задала вопрос Ксения Яковлевна.

— Уж не знаю, что у них там делается, — отвечала Домаша.

Она продолжала стоять у окна, хотя поселок принял уже свой обычный вид, только дальше в степи виднелась удалявшаяся группа людей.

— Глянь, Домаша, это он! — вдруг воскликнула Ксения Яковлевна, указав на бежавшего во весь опор по поселку мужчину.

— И впрямь он, Ермак! — согласилась Домаша. — Куда это он?

На глазах девушек Ермаку Тимофеевичу подвели лошадь, он вскочил на нее и помчался вслед удаляющейся толпе.

— Они не в поход ли собрались? — сообразила Домаша.

— Что ты!.. Ужели? — упавшим голосом произнесла Ксения Яковлевна.

— Надо быть, так...

Обе девушки замолчали. Ксения Яковлевна продолжала смотреть в ту сторону, куда скрылся на коне Ермак.

Прошло более получаса. Вдруг на горизонте появилась фигура всадника.

— Смотри, это он! Он возвращается... — с волнением произнесла Строганова и стала неотводно смотреть на приближавшуюся фигуру всадника.

Вот Ермак — теперь было ясно, что это он, — подъехал к своей избе и, спрыгнув с коня, исчез в ней. Лошадь побежала по поселку одна.

— А вот что я задумала! — быстро сказала Домаша, и не успела Ксения Яковлевна оглянуться, как та быстро выскочила из горницы.

Мы знаем, что через какие-то четверть часа она уже была в избе Ермака Тимофеевича.

XVII

Нежданная гостья

— Кажись, это ты, девушка? — как-то растерянно произнес Ермак.

— А ты ослеп, што ли, Ермак Тимофеевич! — задорно усмехнулась Домаша.

— Ослеп, говоришь... — с недоумением повторил Ермак.

— Вестимо, ослеп, коли людей не узнаешь. «Кажись, это ты, девушка?» — передразнила его она.

— Узнал я, как не узнать? Знаю, что Домашей звать. Только чудно мне все это...

— Что чудно-то?

— Да вот, что ты ко мне пожаловала, да в самый раз...

— Как — в раз? — воззрилась на него девушка.

— Да так, в раз, значит. Сам я тебя сейчас в мыслях держал...

— С чего бы это?

— Да с Яковом мы о тебе говорили...

— С Яковом? Когда?..

— Да часа с два, с три тому назад.

— Ах, окаянный, все наврал мне! — воскликнула Домаша.

— Он? Наврал?

— Вестимо, наврал, я его к тебе посылала по делу одному, а он мне невесть чего наговорил...

— Что же он сказал?

— Да сказал, что тебя в поселке нет и куда ты отлучился, никому не ведомо, а выходит, он с тобой беседовал.

— Он тебе правду сказал, девушка, — заметил Ермак.

— Как правду?

— Да так, в поселке меня, когда он искал, действительно не было, но встретились мы с ним на дороге... Да что же ты стоишь, девушка? Садись, гостья будешь.

— И то сяду, устала я, из хором что есть силы бежала. Увидали мы тебя с Ксенией Яковлевной в окошко, как ты в избу пошел, я сейчас же из светлицы во двор, а со двора сюда.

— Сама прибежала али послана? — спросил Ермак Тимофеевич, причем голос его дрогнул.

— Зачем послана? Сама припожаловала...
Аль тебе это не любо? Кажись, я не из тех, кем
молодцы бы брезгали.

— Несуразное что-то ты говоришь, девушка!
— строго произнес Ермак.

— Да ты, видно, постник, — усмехнулась
Домаша.

— Оставь это, девушка.

— Да ну тебя: смеюсь я, а ты и впрямь... Если с Яковом ты гуторил, может, он тебе поведал кое-что?..

— Поведал, девушка, поведал, для того я и повидать-то тебя хотел, а ты на помине легка и шась в дверь... — радостно заговорил Ермак.

— Значит, ты знаешь беду нашу?

— Какую беду? — не понял Ермак, тоже присевший на лавку рядом с девушкой.

— Как же не беда, коли нашей молодой хозяюшке не по себе, все недужится... Извелась она вся, исстрадалась, а все по тебе, добрый молодец... Уж коли сказал тебе Яшка, так мне таить нечего...

Ермак Тимофеевич схватился за голову.

— А уж как мне тошно, девушка! — почти

простонал он.

— Тебе-то с чего?

— Люблю я ее ведь больше жизни. Так люблю, девушка, что и рассказать не могу... Опостылела мне и потеха ратная, оттого я остался в поселке сиднем сидеть, когда товарищи ушли с ворогом биться, да и сама жизнь без нее опостылела.

— Вот они дела-то какие деются... — разве-ла руками Домаша. — А Семен Аникич послал еще тут к жениху грамотку...

— Не получить жениху этой грамотки! — вспыхнул Ермак.

— Как не получить? Ведь Яшка с ней в Москву гонцом поехал...

— Ведомо мне это, девушка, только едет он туда теперь без грамотки...

— Как так?

— Да так, отдал он мне ее, эту грамотку...

— Отдал? — испуганно переспросила Домаша.

— Да, отдал, неволею отдал, а не то бы прирезал я его в овраге...

И Ермак Тимофеевич подробно передал Домаше все уже известное нашим читателям о

встрече с Яковом в овраге.

— Куда же он теперь, шалый, помчится без грамотки? — спросила Домаша.

— А поехал куда глаза глядят. Пусть прогуляется, небось долго не задержится, вернется и скажет, что ограбили его лихие люди... Казна у него останется, вам же пригодится, а боярин Обносков хорош будет и без грамотки...

— Ахти, дела какие вы с Яковом затеяли... Страсть! Как же теперь? Сказать мне про то Ксении Яковлевне?

— Конечно, скажи. Ей, чай, тоже не была бы по сердцу посылка этой грамотки...

— Куда там по сердцу... Скажешь тоже...

— Вот видишь... Так поведай ей, что изорвал я грамотку в клочья и в овраге в землю втоптал... Не даст-де Ермак ее, кралечку, никому, дороже она ему жизни самой... Вот что!

— Это-то я ей поведаю, только что далее-то будет, неведомо...

— Неведомо, девушка, неведомо! — согласился Ермак Тимофеевич, поникнув головой.

— То-то и оно-то...

— Повидаться мне с ней надо бы, — робко сказал Ермак.

— Ну, это, кажись, Ермак Тимофеевич, несбыточно. Антиповна зорко глядит.

— Я, кажись, вздумал кое-что, — заметил Ермак Тимофеевич.

— Надумал?.. Что?

— И даже уж закинул словечко Семену Аникичу...

И Ермак Тимофеевич рассказал Домаше о своем разговоре со стариком Строгановым относительно помощи, которую он мог бы оказать Ксении Яковлевне своим знанием целебных трав.

— А ты и впрямь знахарь?

— Выучила меня одна старуха! — уклончиво отвечал Ермак.

— Тогда, молодец, пожалуй, можно будет дело и оборудовать. Надо сказать Ксении Яковлевне, чтобы она уж совсем хворой прикинулась. Семен Аникич, в крайности, и пошлет за тобой.

— Это ты умно надумала.

— А ты что же думал, Ермак Тимофеевич, что у девки голова на плечах зря болтается?

— У многих и зря, — улыбнулся Ермак.

— Только не у меня и не у Ксении Яковлев-

ны, — возразила Домаша.

— Так оборудуй это, милая девушка, а я буду в ожидании.

— Не сумлевайся, оборудую. Одначе мне пора, ночь на дворе.

Домаша взглянула в окно. На дворе действительно сгущались летние сумерки.

— Иди с Богом, девушка...

— Прощения просим, Ермак Тимофеевич.

И Домаша быстро выскользнула из избы.

Ермак остался один. Он был счастлив, как может быть счастлив человек мгновеньями. Луч надежды как-то сразу изменил всю картину, только что рисовавшуюся ему в мрачных красках.

«Чему это я радуюсь, — остановил он самого себя. — Еще, кажись, ничего не видно, как все обладится. Да и обладится ли?»

Эта отрезвляющая мысль заставила Ермака глубоко задуматься. Ему стало душно в избе. Он вышел на улицу.

Кругом было все тихо. Сумерки сгущались все более и более.

В избах замелькали огоньки горящих лучин. Ермак Тимофеевич полной грудью вдох-

нул в себя прохладный воздух северной степи, невольно поднял голову кверху и посмотрел на темневшие вдали строгановские хоромы. В заветном окне трепетно мелькнул огонек.

Быть может, теперь Домаша уже передала своей молодой хозяйushке о беседе с ним. Сердце Ермака трепетно забилося. «Что-то будет? Что-то будет?»

Он долго прохаживался по поселку. Огни в нем гасли один за другим, погас и огонек в окне светлицы Ксении Яковлевны. Ночь окончательно спустилась на землю. Ермак медленно пошел от своей избы по направлению к хоромам — ему хотелось быть поближе к милой для него девушке. Он шел задумчиво и уже был почти у самого острога, когда до слуха его донесся подозрительный шорох.

Он поднял голову и обвел кругом себя внимательным взглядом.

Под высоким острогом, окружавшим двор Строгановых, было темнее, нежели в поле, но зоркий глаз Ермака Тимофеевича различил тотчас же копошащуюся там фигуру.

Он стал приглядываться.

Вдруг блеснул огонек. Кто-то, видимо, высекал огонь. В одно мгновение, в несколько быстрых прыжков Ермак оказался около копошащейся фигуры и схватил за шиворот низкорослого татарина, наклонившегося над грудой натасканного им хвороста, который он намеревался поджечь. Неожиданное нападение окончательно ошеломило татарина.

— Бачка, бачка! — прохрипел он сдавленным шепотом.

Ермак, левой рукой крепко державший татарина за шиворот, другой выхватил висевший за поясом нож и приблизил его к горлу татарина. Тот окончательно замер.

Ермак повел его в поселок. Миновав свою избу, он постучал в окно соседней и приказал выскочившему казаку собрать людей...

— Поймал тут нечисть... Не один он, может, их много тут поблизости.

Казаки повыскочили из хат и вскоре окружили атамана, который передал им своего пленника.

Из расспросов перепуганного насмерть татарина действительно оказалось, что он был выслан вперед для того, чтобы поджечь

острог Строгановых и дать этим сигнал остальным кочевникам, засевшим в ближайшем овраге и намеревавшимся напасть на усадьбу. Они видели уход казаков из поселка и думали, что ушли все, а потому и не ожидали сильного сопротивления.

Татарина связали веревками до решения его участи, а казаки по приказу Ермака вооружились и построились правильным отрядом.

— Бачка, бачка! — повторил лежавший татарин.

— А что же нам делать с этою падалью? — спросил Ермак.

Не успел еще он окончить эту фразу, как один из казаков подошел к связанному татарину и что есть сил полоснул его по горлу ножом. Тот даже не ахнул. Смерть была мгновенна.

XVIII

Полонянка

Под покровом окончательно сгустившихся сумерек Ермак Тимофеевич повел своих молодцов из поселка к тому месту, где, по словам уже отправившегося в рай татарина, скрывались в засаде дерзкие кочевники.

Они сделали переход версты три, когда действительно в лощине увидели копошившихся около костров людей. До них было еще довольно далеко, и Ермак Тимофеевич отдал приказ идти как можно тише, а когда кочевники уже были в нескольких стах шагов, Ермак и казаки легли на траву и поползли.

Местность представляла собой голую степь, покрытую кустарником, который и скрывал их.

Кочевники, видимо уверенные в полной своей безопасности, ожидали огненного сигнала и на досуге спокойно сидели у костров, когда вдруг как из земли выросли казаки перед ними с криками:

— Бей нехристей!

— Алла, алла! — раздалось по всему лагерю. Кочевники наскоро схватили свои луки и кое-как пустили стрелы в казаков; те ответили им залпами из пищалей. Послышались крики и стоны.

Толпа человек в триста бросилась бежать, иные пешие, иные на конях. Казаки ринулись за ними.

Конные успели ускакать, пешие все до единого были перебиты.

Со стороны людей Ермака были легко ранены только двое.

Победители расположились на пригорке, развели костры и стали дожидаться рассвета, когда решили осмотреть убитых, взять что было на них поценнее и затем зарыть их тела. Своим раненым сделана была перевязка.

Довольные тем, что и им, вынужденным несчастливый жребий и оставшимся дома в то время, как их товарищи ушли в поход, привелось поразмять бока в ратной потехе, они весело беседовали, усевшись кучками вокруг костров. Слышались шутки и смех, кое-где начиналась и обрывалась песня.

Было темно, по небу бродили тучи, гони-

мые ночным ветерком. Вдруг луна выплыла из-за туч и осветила лощину, место недавнего боя, с лежавшими на ней там и сям трупами.

Лощина с пригорка, на котором расположился бивак казаков, была видна как на ладони.

— Гляньте-ка, братцы! — вдруг сказал один из казаков. — Кажись, мертвый встал.

И он указал рукой на лощину. Сидевшие у костра повернулись по направлению его руки.

Между лежавшими там и сям телами бродила какая-то высокая, освещенная лунным светом фигура. Она подходила к мертвецам, наклонялась над ними, как бы рассматривая их, и шла далее.

— Что за притча!

— Кажись, всех пришибли...

— Да это, братцы, баба!

— Надо доложить атаману, — сказал казак, заметивший живого человека на этом стане смерти, и пошел к костру, у которого сидел Ермак Тимофеевич с его более старыми по времени нахождения в шайке товарищами. Старшинство у них чтилось свято.

— Атаман, а атаман! — окликнул казак Ермака Тимофеевича, занятого беседою.

— Чего тебе?

— Глянь в лощину, атаман. Кто там слоняется?..

— Кому слоняться? Кажись, всех уничтожили, — заметил Ермак, однако взглянул. — И верно: живой человек шатается, — добавил он.

— Не человек это, кажись, атаман...

— А кто же там?

— Баба.

— Баба?.. — спросил Ермак и, взглядевшись внимательно в движущуюся фигуру, сказал: — И верно, баба.

— Так как укажешь, атаман?

— Тащи сюда. Коли баба, не тронь, живьем достань, неча рук марать казацких о бабу...

— Слушаю, атаман...

Казак быстро сбежал в лощину и подошел к таинственной фигуре. Та, видимо, заметила его, но не сделала движения к бегству. Она даже остановилась. Казак стал что-то говорить ей. Ермаку Тимофеевичу и казакам было видно все, но не было ничего слышно.

— С кем он там лясы точит? — нетерпеливо сказал Ермак.

— Глянь, атаман! Он направился с ней осматривать остальных мертвецов.

— И то верно...

Действительно, казак шел уже рядом с фигурой и вместе с ней наклонялся над мертвыми, некоторых он даже клал на спину.

— Что за чертовщина такая!

— Что он там делает?

— Кумился он, что ли, с ней?

— Может, красotka, так влюбился...

В этом смысле высказывались казаки.

— Чего он там с ней лодырничает? — вышел из себя Ермак и свистнул.

Молодцеватый свист гулким эхом отозвался в лощине. Казак расслышал вызов. Он — видно было по жестам — стал торопить фигуру. К тому же она закончила осмотр мертвецов: вот наклонилась над последним и направилась к горке.

— Дружно идут...

— Словно жених с невестой...

— Али муж с женой...

— Увидим, какая такая краля!

Этими насмешливыми замечаниями встретили казака и фигуру. Вот они вошли на горку. Свет от костров осветил спутницу казака. Это оказалась высокая, худая женщина с черными, с сильною сединой волосами, космами выбивавшимися из-под головной повязки, и смуглым, коричневым лицом. Она была одета в бывшую когда-то синего цвета холщовую рубаху с длинными рукавами, без пояса; ноги были обуты в оленьи самодельные башмаки мехом вверх. На ней накинута была потертая от времени шкура горной козы. Сколько ей лет, сказать было трудно. Может быть, сорок, а может быть, и все шестьдесят.

— Убил бобра...

— На ловца и зверь...

— Вот так краля!

Этими возгласами встретили казаки приведенную из лощины женщину. Казак направился к костру, у которого сидел Ермак.

— Чего ты там с ней якшался? — пробурчал тот.

— Больно слезно умоляла меня искать...

— Кого искать?

- Мужа ее.
- Мужа? А как ты с ней гуторил-то?
- Да она, атаман, говорит нашим языком.
- Вот как!

Ермак бросил сверкающий взгляд на женщину, стоявшую рядом с казаком.

- Ты кто такая?
- Известно кто... Человек.
- Баба?
- Баба.
- Как здесь оказалась?
- За мужем шла.
- А кто твой муж?
- Махмет.
- Нехристь.

Женщина не отвечала — она, видимо, не знала этого слова.

- Ты-то как оказалась у кочевников?
- Я полонянка, с отцом была взята на тринадцатом году, много лет уж живу тут...
- Где тут?
- А за Каменным поясом.
- И отец жив?
- Нет, умер.
- А муж убит?

— Видно, нет на него пропасти. Оглядели мы мертвых — нет меж ними.

— А разве ты бы хотела его смерти? — сказал Ермак.

— Да пропади он пропадом, татарская образина!

— Силою, значит, взял он тебя в жены?

— Известно, силой...

— Не хочешь к нему назад?

— На кой он мне ляд!

— А нам-то что с тобой делать?

— Да зарежьте — один конец.

Эта фраза была сказана с такой безнадежной грустью, что даже черствые сердцем казаки, окружившие костер атамана, у которого стояла женщина, как-то разом охнули.

— Зачем резать?.. Место и у нас в селе тебе найдется. Будешь у нас на должности, — сказал Ермак и еще раз окинул взглядом женщину.

Что-то знакомое казалось ему в чертах ее смуглого, коричневого лица и особенно в выражении ее черных глаз. «Где я видел ее или схожую с ней?» — возник в уме его вопрос да так и засел гвоздем в голове. Он указал каза-

кам накормить бабу, коли есть ей охота.

Казаки окружили женщину. Она спокойно и доверчиво смотрела на них и молча ушла к соседнему костру. Там казаки усадили ее, дали краюху хлеба, густо осыпанного солью. Женщина с жадностью стала есть. Видимо, она была очень голодна.

Когда она утолила свой голод, казаки стали допытываться у ней.

— Как тебя зовут?

— Пима.

— Как?

— Пима.

— Что же это за имя такое? Это не имя, а кличка. Твоего отца-то как звали?

— Андреем.

— Вот это так, это христианское имя. А отец-то как звал тебя?

— Мариулой.

— Да кто он был-то?

— Известно кто — человек.

— Русский?

— Русский.

— Цыганка она, братцы, вот что, — заявил один из казаков.

— И впрямь цыганка.
На этом допрос был кончен.
Стало светать.

XIX

Хворь усиливается

Чуть забрезжило раннее летнее утро, как казаки уже принялись за работу. Заступами, всегда имевшимися при них в походе, — их несли более слабые, находившиеся в задних рядах, — они вырыли громадную могилу и свалили тела убитых кочевников, предварительно раздев их догола, так как одежда, как бы они ни была ветха и бесценна, считалась добычей; у некоторых убитых, впрочем, на руках оказались кольца, серебряные и даже золотые. Их, конечно, не оставили у покойников. Эта часть добычи, как лучшая, предназначалась атаману, а он иногда разделял ее между более отличившимися. Атаманские подарки играли роль орденов и очень ценились казаками.

Так было и теперь.

Когда тела были свалены в яму и засыпа-

ны, казаки возвратились на пригорок, где сидел задумчиво атаман, наблюдая за работой людей, а быть может, даже и не замечая ее.

Старейший после есаула казак подал Ермаку Тимофеевичу горсть собранных с убитых колец. Атаман рассеянно взял их и тут же стал выкрикивать, во-первых, двух раненых, затем замеченных им во время дела как особенно усердных и стал оделять их кольцами.

Одним из свойств Ермака Тимофеевича, привлекавших к нему сердца людей, была необычайная справедливость при оценке заслуг — он всегда награждал самых достойных, которые признавались таковыми всеми, за немногими исключениями, так как люди везде люди, а между ними есть непременно людишки, которые постоянно горят на медленном огне злобной зависти ко всему выдающемуся, ко всему, что, по их собственному сознанию, выше их. Такие были, бывают и всегда будут на всех ступенях общественной лестницы, начиная с подножия царского трона до шайки разбойников.

В общем, награды Ермака Тимофеевича за время его атаманства всегда признавались

справедливыми громадным большинством его людей. Признаны были таковыми и теперешние награды.

Обычно Ермак Тимофеевич ничего не оставлял себе, но на этот раз он изменил этому обыкновению. Среди собранных с убитых кочевников колец одно было особенно массивное и, по-тогдашнему, видимо, хорошей работы. Его оставил Ермак себе — надел на мизинец левой руки: кольцо, бывшее на руке щедедушного кочевника, не лезло на другие пальцы богатырской руки Ермака. Это обстоятельство не осталось незамеченным и даже возбудило толки.

— И на что ему это кольцо, такое махонькое?.. — недоумевал один.

— Наверное, не для себя, — отвечал шедший рядом товарищ.

— Как не для себя?

— Да так.

— Для кого же...

— Может, для зазнобушки...

— Окстись! У Ермака-то зазнобушка?..

— Он что, не человек?

— Когда же это было? Я уж много лет с

ним, не замечал такого. Монах монахом...

— А может, теперь и прорвало...

— Несуразное ты баешь, заметили бы...

— А разве не заметил, что он стал чудной какой-то?..

— Сменка-то в нем есть, это правильно...

— Вот видишь!

— Только не с того это, не от бабы...

— А с чего же, по-твоему?

— Со скуки...

— О чем ему скучать-то?

— А по вольной жизни...

— Сказал тоже... Он сам себе хозяин. Захотел — на землю сел с нами, захотел — увел нас куда глаза глядят...

— Да куда вести-то...

— Да хотя назад, на Волгу...

— Нет, брат, там стрельцы засилье взяли...

Тютюкнула для нас Волга — аминь...

— И со стрельцами тоже посчитаться можно...

— Считались, знаешь, чай, а сколько потеряли товарищей... Не перечешь...

— Это точно...

— То-то и оно-то...

— Ну в другом месте...

— Оно, конечно, можно бы... Только где это место-то? Может, он не знает...

— Ермак-то не знает?.. Он все знает.

— Пожалуй, что знает... Оттого я и мекаю, что не от скуки, а кто ни на есть зазнобил ему сердце молодецкое...

— Кому зазнобить-то здесь?..

— Уж того не ведаю.

— Некому! — решительно заключил спорщик.

Такие или подобные разговоры шли во всех рядах возвращающихся в поселок казаков.

На строгановском дворе только утром узнали об уходе оставшейся половины новых поселенцев во главе с Ермаком Тимофеевичем. Куда они пошли? Зачем? Вернутся ли? Эти вопросы пока оставались без разрешения.

Строгановы, и дядя и племянники, были сильно встревожены, но ненадолго. Вскоре один из гонцов, разосланных в разные стороны, принес известие, что Ермак с людьми возвращается в поселок, что ночью готовилось нападение кочевников на усадьбу, им преду-

прежденное. Тут поняли значение и кучи хвоста, наваленного у острога, и брошенных тут же трута и кремня. И все ужаснулись. Опасность, если бы, пользуясь сном поселщиков, кочевникам удалось поджечь острог и произвести нападение на усадьбу, была бы несомненно велика. Кто знает, чем бы могло закончиться все это.

В это утро к Семену Иоаникиевичу явилась Антиповна, расстроенная и смущенная.

— Что случилось? — спросил старик.

— Беда, да и только, Семен Аникич. Я к тебе милости...

— Да что такое?.. С Аксюшей что-нибудь?

— Так точно, расхворалась совсем девушка, головы с изголовья не поднимает... Ума не приложу, что и делать...

— Травкой-то поила?

— Поила, батюшка, поила... Вчера целый день ничего себе была, я ей сказки сказывала, потом с Домашей, почитай, до ночи она пробеседовала, а сегодня на поди... Со всем занедужилась.

— Деда-а-а, — протянул Семен Иоаникиевич, — придется знахаря звать...

— А где же знахарь-то?

— Ермак хвастал, что знахарствует.

— Ермак?! — испуганно воскликнула Антиповна. — Разбойник он, батюшка, душегуб... Как же его допустить до голубушки нашей чистой?.. Еще пуще сглазит. А уж я на него мекала...

— Что мекала?

— Да что сглазил он Ксюшеньку...

— Ты думаешь? — тревожно спросил Семен Иоаникиевич.

— Думала, батюшка, думала, неча и грех таить, думала...

— А теперь?

— Не хочу грех на душу брать, потому, кабы это у ней от сглазу было али от нечисти, — наговор бы помог али крест, но ни то ни другое не помогает. Так как же на человека клепать?.. Может, я и напраслину заводила.

— Видишь, сама, старая, сознаешься...

— Сознаюсь, батюшка, сознаюсь... Только все же не след парня незнакомого подпускать к девушке.

— Да какой же он незнакомый? Почитай, два года живет у нас, тихий, смирный, воды

не замутит, коли ворог его сам не заденет...

— В тихом-то омуте они и водятся — недаром молвит пословица, — заметила Антиповна.

— И притом он при мне да при тебе поглядит хворую... Что с ней с того станется? Не откусит ничего у ней...

— Твоя хозяйская воля, Семен Аникич, а мне все боязно...

— Чего боязно-то?

— Как бы совсем не испортил девку, не ровен час.

— Да чего же портить-то, коли сама говоришь, что головы от изголовья не поднимает...

— Не поднимает, батюшка, не поднимает...

— Чего же ждать-то еще... Чтобы Богу душу отдала? — рассердился Строганов.

— И что ты, батюшка...

— То-то и оно-то... Поговорю я с ним, как вернется он. Говорят, идет назад, здорово задал нечисти...

— На том ему спасибо, доброму молодцу... — сказала Антиповна, знавшая уже о происшествиях истекшей ночи.

— Может, и за Аксюшу ему спасибо скажем...

— Ох, ох, ох, грехи, грехи... — вместо ответа вздохнула старуха. — Прощенья просим, батюшка Семен Аникич.

— Иди себе, иди, я найду к Аксюше, а ты ее чем ни на есть попользуй... Малинкой напой али мятой, липовым цветом...

— Милости просим, батюшка Семен Аникич... Липового цвета я заварила, попою беспрерывно.

Старуха вышла.

В то самое время, когда она была в горнице Семена Иоаникиевича, в опочивальне Ксении Яковлевны происходила другая сцена.

Около постели молодой хозяйки на табурете, обитом мехом горной козы, сидела Домаша.

— Ты так и не вставай, Ксения Яковлевна, — говорила она, — уж потерпи, зато увидишься...

— Не встану, не встану... — кивнула та головой, потягиваясь на белоснежных перине и подушках. Глаза ее улыбались. — Зазорно только в постели-то быть, коли придет он... —

добавила она после некоторой паузы.

— Что за зазорно? Недужится тебе, а коли на ногах будешь, не позовут, благо дело начать, а там встанешь, дескать, поправилась... Поняла?

— Поняла, поняла... И хитрая же ты, Домашенька.

— На том стоим... Да как же без хитрости-то быть нам, девушкам?

В это время в спальню вошла тихим шагом Антиповна. Больная откинула назад голову и закрыла глаза.

— Започивала, кажись... — шепотом доложила старухе Домаша.

— Ишь, напасть какая, — прошептала Антиповна.

Крайнее средство

Казаки во главе с Ермаком Тимофеевичем вошли в опустевший поселок, и первое, что бросилось им в глаза, был труп убитого ночью татарина.

— Зарыть на задах... — отдал приказ Ермак.

Несколько казаков с заступами отделились от толпы для исполнения приказа атамана, но раньше их у окоченевшего трупа, лежавшего навзничь, очутилась Мариула.

— Это постылый мой! Он, он! — кричала она.

— Муж? — спросили в один голос казаки.

— Он самый.

— Мы его еще вчера прикончили, — заметил один из казаков.

Мариула спокойно отошла в сторону и также спокойно смотрела, как раздели ее мужа донага и поволокли за ноги за поселок, где и зарыли в наскоро вырытую яму.

— Куда же нам девать бабу? — спросили

Ермака Тимофеевича, уже входившего в свою избу.

— Да приютить ее пока в какой ни на есть избе, я доложу о ней Семену Иоаникиевичу... Он ее, наверно, возьмет в свой двор.

Но давать приюта ей и не пришлось. Она села на завалинке одной из крайних изб поселка, некоторое время созерцательно смотрела вдаль и затем, прислонившись к стенке избы, заснула. Ее и не тревожили.

Ермак Тимофеевич между тем, несколько передохнув от дальней дороги, отправился в хоромы к Строгановым и прямо прошел в горницу Семена Иоаникиевича.

Старик Строганов сидел за столом в глубокой задумчивости. Он только что возвратился из опочивальни племянницы, около которой провел добрых полчаса. Девушке, на его взгляд, действительно сильно недужилось. Она лежала почти без движения и говорила слабым голосом. Осунувшееся бледное лицо довершало эту печальную картину.

— Поила ты ее чем-нибудь, Антиповна? — шепотом спросил Семен Иоаникиевич няньку.

— Поила, батюшка Семен Аникич, поила и липовым цветом, и малиной, хоть бы что, испарины и той нет...

— Что за притча такая! — печально покачал головой Строганов. — Придется Ермаку поклониться.

— Твоя хозяйская власть, — недовольно сказала Антиповна.

— Что же иначе поделаешь...

— Твоя воля, говорю, батюшка Семен Аникич, — повторила старуха.

На губах лежавшей с закрытыми глазами больной промелькнула при этом довольная улыбка. Она открыла глаза и посмотрела на сидевшего у изголовья дядю.

— Что, Аксющенька, что, моя касаточка?.. Что с тобой?

— И сама не знаю, дядя, что такое попритчилось. Головой не могу пошевелить, — ответила больная.

Она хотела было повернуться в сторону Семена Иоаникиевича, но тот остановил ее:

— А ты, коли не можешь, и не двигайся... Лежи себе...

Больная осталась в прежней позе.

— Вот что, касаточка, надо тебя показать знахарю...

— Твоя воля, дядюшка, — прошептала Ксения Яковлевна.

— Берется тут один молодец помочь тебе, говорит, что знает всякие наговоры и травы целебные... Може, и хвастает, може, и правду говорит... Хочу попытать. Как ты думаешь?..

— Кто он? Откуда? — спросила больная.

— Здешний, наш... Ермак Тимофеевич. Видела, чай...

— Видела, — чуть слышно, скорее движением губ, нежели голосом, сказала больная.

Она сделала над собою неимоверное усилие, чтобы побороть охватившее ее волнение.

— Он самый и есть... Так позвать его?..

— Твоя воля, дядюшка...

Ксения Яковлевна снова закрыла глаза.

Старик Строганов любовно посмотрел на лежавшую с закрытыми глазами девушку и неслышными шагами вышел из опочивальни.

Вернувшись в свою горницу, он сел за стол и глубоко задумался. «Ну как не осилить и Ермаку болести-то?.. Умрет она, — неслось в его

голове, и при этой роковой мысли холодный пот выступил на его лбу. Да неужели Господь посетит таким несчастьем! Смилуйся, Боже мой, смилуйся!»

И старик горячо молился Богу об исцелении своей любимицы. В этом состоянии и застал его вошедший в горницу Ермак Тимофеевич. Старик радостно встретил его, во-первых, как спасителя от дерзких хищников, а во-вторых, как человека, на которого возлагал последнюю надежду в исцелении больной племянницы.

— Ну что, чай, молодцы твои с нехристями управились? — спросил Семен Иоаникиевич.

— Ничего себе, будут помнить, поганые, — ответил Ермак. — Почитай, половину на месте положили.

— А из наших молодцов никто не убит?

— Нет, слава те Христу, двоих маленько поцарапали, да и те на ногах назад пришли...

— Слава тебе, Господи!..

Старик Строганов истово перекрестился на висевшую в углу икону. Ермак Тимофеевич последовал его примеру.

— Оказия тут только случилась... — сказал

Ермак.

— Что такое?

— Бабу мы в полон взяли.

— Бабу?

— Да!..

И Ермак Тимофеевич подробно рассказал Семену Иоаникиевичу все, что уже известно читателям о захвате на месте битвы женщины, которая назвалась Пимой и Мариулой.

— Кто же она такая?

— Да говорит, что была еще в детстве вместе с отцом в полон угнана погаными, в жены ее насильно взял один и почти тридцать лет прожила она за Каменным поясом... По видимости, цыганка, но по-нашему говорит...

— А муж ее где?

— Убит... Это тот самый и был, который хотел поджечь хворост под острогом, да я подоспел и схватил его за шиворот...

— Он был уже около острога?.. — с любопытством спросил Строганов.

— Да. Один был подослан, остальные версты за две в лощине скрывались. Как только бы острог загорелся, они по этому знаку двинулись бы на усадьбу... Мне под ножом все

это татарин и рассказал... Мы его прикончили и двинулись на нехристей. Случай спас...

— Действительно, Божий перст...

— Никогда я не выхожу к ночи из избы, а тут что-то потянуло...

Ермак Тимофеевич, конечно, не сказал, что именно потянуло его в эту ночь к хоромам Строгановых.

— А где же ваша полонянка? — спросил Семен Иоаникиевич.

— Да в поселке у нас пока.

— Пришли ее во двор, место найдется и работу дадим. Я прикажу...

— Это ладней будет, а то на что нам, в казачком быту, да баба, — сказал Ермак.

Наступило молчание. Ермак Тимофеевич приподнялся было с лавки, но Семен Иоаникиевич остановил его:

— Постой, Ермак Тимофеевич, дело у меня к тебе есть...

— Твой слуга, Семен Аникич... Что прикажешь?

— Просить тебя хочу.

— Это все едино... Что такое?

— Да насчет племянницы...

— Все недужится?

— Совсем извелась девка... Ни Антиповна, ни я ума не приложим, что с нею приключилось.

— Огневица, может?

— Нет, не горит и зноба нет.

— Что же с ней?..

— Не знаем! Сегодня и не вставала с постели. Лежит...

— Слаба?

— Слабехонька. Головы от изголовья поднять не под силу.

— Ишь как хворь-то осилила, — сказал Ермак Тимофеевич, с трудом удерживаясь скрыть готовую появиться на его губах улыбку.

— Извелась, совсем извелась девка.

— Жаль, жаль.

— Жалеть-то мало, а ты помоги, Ермак Тимофеевич.

— Поглядеть надо больную-то, — задумчиво произнес он и с тревогой посмотрел на Семена Иоаникиевича.

— Вестимо, незаглазно же пользоваться... Можно и сейчас подойти к ней.

— Погоди, Семен Аникич, торопиться некуда.

— Так сам, чай, знаешь пословицу: поспешишь — людей насмешишь.

— Ну, как знаешь...

— Я пойду подумаю, травок отберу подходящих и через час приду сюда, тогда води меня к больной. Да и ее приготовить надо, а сразу-то испугается, может худо быть...

— Да она уже про то, что позову я тебя, ведает. Уж ты помоги, Ермак Тимофеевич. Век не забуду.

Старик Строганов встал и поклонился в ноги Ермаку Тимофеевичу. Тот вскочил:

— И что ты, Семен Аникич, кланяешься, себя утруждаешь! Я и без того рад помочь твоей беде, люблю тебя душой, люблю и почитаю вместо отца.

— На этом спасибо. И ты мне, молодец, полюбился.

— Благодарствую, Семен Аникич.

— Не на чем, от души говорю, от сердца.

— То-то и дорого... А пока прощенья просим.

Ермак Тимофеевич встал и низко покло-

нился Семену Иоаникиевичу.

— Через час буду.

Ермак вышел из горницы Строганова. Голова его горела. Он нарочно сослался на необходимость подготовки для начала лечения девушки, которую исцелит — он понимал это — одно его присутствие. Но надо было отдалить минуту свидания, чтобы набраться для этого сил.

Ермак быстро дошел до поселка, прошел его весь взад и вперед, на ходу отдал приказание отвести полоненную казаками женщину во двор усадьбы и сдать на руки ключнице, вошел в свою избу, вынул из укладки мешок с засохшей травой, взял один из таких пучков наудачу, сунул в чистый холщовый мешочек и положил в карман. Затем сел на лавку, посидел с полчаса и пошел в строгановские хоромы.

XXI

В опочивальне

В горницу Строганова Ермак Тимофеевич вошел спокойный, холодный, всецело вошедший в роль знахаря. Ожидавший его Семен Иоаникиевич тотчас повел гостя в светлицу.

Сильно билось сердце у Ермака Тимофеевича, когда он переступил порог первой комнаты, занятой рукодельной. Сенные девушки, сидевшие тихо за своими пядьцами, разом встали, почтительно поясным поклоном поклонились обоим. Они прошли рукодельную, следующую горницу и очутились у двери, ведущей в опочивальню. Семен Иоаникиевич тихонько постучался. Послышались шаги, и дверь отворила Антиповна. Увидав хозяина в сопровождении Ермака, старуха вздрогнула и попятилась, однако отворила настежь дверь и произнесла шепотом:

— Милости просим, батюшка Семен Аникич.

— Что Аксюша? — также тихо спросил он.

— Все так же, лежит, батюшка Семен Аникитич, лежит...

Ксения Яковлевна действительно неподвижно лежала на своей постели. Голова ее была откинута на подушки, толстая, круто заплетенная коса покоилась на высокой груди. Глаза были закрыты. Больная была одета в белоснежную ночную кофту с узкими длинными рукавами и высоким воротником. До половины груди она была закрыта розовым шелковым стеганым на легкой вате одеялом. Она спала или притворялась спящей.

Ермаку потребовалась вся сила его самообладания, чтобы не броситься на колени перед этой лежавшей девушкой, которая для него была дороже жизни. Но он был в девичьей опочивальне только как знахарь. Он им и должен оставаться.

— Высвободи, нянюшка, руку больной, посмотреть мне надобно, есть ли жар или испарина...

— Ничего нет этого! — ответила Антиповна.

— Мне самому дознаться надобно, — сказал Ермак Тимофеевич.

— Говорю тебе, ни жару нет, ни испарины...

— Вынь ей руку-то, коли тебе сказывают, — вмешался в это препирательство Семен Иоаникиевич.

Старушка повиновалась. Она осторожно высвободила из-под одеяла левую руку девушки. Ксения Яковлевна открыла глаза.

Взгляд ее упал на Ермака Тимофеевича. Бледное лицо ее вдруг сделалось пурпурным. Эта яркая краска, залившая лицо девушки, много сказала Ермаку, а Семеном Иоаникиевичем и даже Антиповной была признана только за краску девичьей стыдливости.

— Девушка-то со стыда сторела, приводят невесть кого прямо в опочивальню, — проворчала старуха, но ни старик Строганов, ни Ермак Тимофеевич не обратили внимания на эту воркотню — они едва ли ее и слышали.

Ермак Тимофеевич осторожно коснулся руки девушки. Рука была мягкая, нежная, теплая. Никаких болезненных признаков в ней заметно не было.

— Немочь девичья, — произнес Ермак, — так и смекнул и травки приготовил. На вот,

возьми, нянюшка, заваришь крутым кипятком, пусть постоит на огне с час, остудишь потом и на ночь попойшь, сколько Ксения Яковлевна захочет. Не неволь, завтра же полегчает...

Он подал Антиповне вынутый им из кармана холщовый мешочек с пучком сухих трав. Та приняла его с некоторой нерешительностью, но все-таки спросила:

— Давать, значит, тепленьким?

— Да, чуть тепленьким.

— Без всего?

— С медком можно, горьковата она на вкус-то будет. А теперь дадим покой больной, завтра понаведаюсь...

И Ермак Тимофеевич, поклонившись Ксении Яковлевне низким поклоном, произнес:

— Прощенья просим, здорова будь.

Он даже и не взглянул на нее и вышел. За ним и Семен Иоаникиевич, не забыв сказать Антиповне:

— Смотри, старая, сделай все, как сказано...

В голосе старика прозвучали строгие ноты. Он хорошо понимал, что Антиповна противница лечения ее питомицы Ермаком и чего

доброе выкинет данную ей траву и заменит своей. Строгим приказанием он предупредил ее.

— Все будет сделано, как сказано, батюшка Семен Аникич, не сумлевайся. Может, и действительно поможет. Сама я измаялась, на нее глядячи.

Ксения Яковлевна снова закрыла глаза. На лице у нее появилось выражение сладкой истомы, краска исчезла, но легкий румянец продолжал играть на щеках.

«Он был здесь рядом! Он будет и завтра!» — ликовала девушка. Она была почти счастлива.

Нянька не заметила всего этого. Она была занята другими мыслями. Поведение Ермака Тимофеевича у постели больной, поведение, в котором ее зоркий глаз не заподозрил ничего, кроме внимательного отношения к делу, изменило ее мнение о нем.

— Может, и впрямь клепала я на него, — думала старуха. — Уж повинюсь перед ним, как поставит он Ксюшеньку на ноги, да поможет ей в хвори...

Она развязала мешочек и стала рассматри-

вать данную Ермаком траву.

— Травка-то незнакомая, верно, не здешняя... Невесть где он допрежь-то слонялся. Может, действительно знахарь, как и следствует...

Антиповна вышла из опочивальни, вызвала Домашу, чтобы та посидела с хозяйюшкой, и пошла сама на кухню заваривать травку.

Домаша не заставила себе повторять приказание. Она сама так и рвалась в опочивальню Ксении Яковлевны, чтобы узнать поскорее о первом посещении Ермака Тимофеевича.

— Ну что? Как? — вскричала она в опочивальне, плотно притворив за собою дверь.

Ксения Яковлевна открыла глаза, приподнялась на постели при появлении своей подруги и союзницы и встретила ее радостной улыбкой.

— Нечего и пытаться тебя, вижу, что довольна. Но все-таки как и что?

— Был, Домаша, был, вблизи я его рассмотрела. Вблизи он еще пригожее.

— Ну? Говорил что?

— Где говорить! Дядя тут да нянька, так и

впились в него глазами.

— Чует старая.

— Должно, чует.

— Но все-таки что же он делал?

— До руки моей дотронулся, так тихо, нежно, ласково, я так и обомлела... Травку дал, напоить меня сегодня велел, встану, говорит, завтра... Понаведаться обещал.

— Когда?

— Завтра.

— Теперь зачастит...

— Как же быть-то мне? — спросила Ксения Яковлевна.

— Что как быть?..

— Встать завтра?

— Вестимо, встать...

Будто сразу прошло, чудодей, дескать... В доверие войдет он и у Семена Аникича, и у Антиповны, и вам посвободнее будет...

— Да коли я здорова-то буду, его сюда не пустят, — возразила девушка.

— Зачем здоровой быть?.. Ты и на ногах будешь, а все же на хворь надо жалиться... Он и продолжит пользоваться. На ноги-де поставил сразу, этак и хворь всю выгонит, испод-

воль-де и вызволит.

— Так, так, умница ты, Домаша.

— Нужда научит калачи есть...

— А что же дальше-то?.. — вдруг, как бы под впечатлением внезапно появившейся в ее голове мысли, сказала Ксения Яковлевна.

— Ты это о чем?

— Дальше-то что, говорю?.. Ведь коли теперь чаще станем видаться — еще труднее расставаться-то будет...

— Зачем расставаться?.. Может, улучите время, столкнетесь. А там и к дяде...

— Не согласится дядюшка, да и братец.

— Ну, как выбирать придется им между твоей смертью или свадьбой, так небось и согласятся.

— Боязно говорить с ними будет...

— Ну уж это не без того. Надо смелой быть...

Ксения Яковлевна задумчиво молчала.

— А уж как он любит тебя, просто страсть. Инда весь дрожит, как говорит о тебе...

— Да что ты, Домаша...

— Говорила ведь я тебе... Я было его испытать хотела, заигрывать стала, так куда тебе...

Как зыкнет на меня!

— Правда это?

— Правда истинная...

— Ах, Домаша, и он мил мне, так мил, что и сказать нельзя...

Щеки Ксении Яковлевны горели ярким румянцем, глаза блестели. Она была еще красивее в этом любовном экстазе.

— Знаю я, знаю, кабы не видела я того, и помогать бы не стала, блажь-то девичью сейчас отличишь от любви настоящей-то...

— Еще бы... Кабы блажь была, я бы разве так мучилась?..

— Хорошо понимаю я это. Сама я...

Домаша остановилась.

— Скучаешь по Яшке-то?..

— Не то чтобы очень, а пусто как-то, не с кем слово перемолвить.

— Видишь ли, а говоришь не любишь... То же любишь.

— Где он, шалый, путается? Давно бы возвратиться домой надо. Ужели он так зря в Москву продерет за гостинцами да обновлениями?.. Не надо мне их, только бы сам цел ворочался, — не отвечая на вопрос, сказала Дома-

ша.

В это время у двери послышался шорох. Ксения Яковлевна приняла прежнюю позу болящей.

Дверь отворилась, и в опочивальню вошла Антиповна.

XXII

Чудо

Чудо действительно свершилось.

Антиповна, раскаиваясь в своем недоверии к Ермаку Тимофеевичу, с точностью исполнила все им предписанное.

Она заварила данную им траву, остудила отвар и заставила больную выпить целую кружку.

Наутро Ксения Яковлевна проснулась с возвращенными силами, встала с постели и даже вышла в рукодельную. Нянька радовалась положительно диву.

— Ну и спасибо же Ермаку Тимофеевичу, — решила она и пошла с докладом к Семёну Иоаникиевичу.

Старик Строганов только что встал и вы-

шел из своей опочивальни.

Увидав Антиповну, он поспешно спросил:

— Ну что с Аксюшей?

— Чудо, батюшка Семен Аникич, истинное чудо...

— А что?

— Встала, за пальцами сидит...

— Ну!

— Верно, батюшка Семен Аникич, верно...

Я и сама диву далась, как все это вышло у него, как по писаному.

— Вот видишь, старая, а ты же на него вчера зверем смотрела, — заметил весело Семен Аникич.

— Виновата уж, батюшка, виновата... Клепала в мыслях на него, это истинно... Мекала даже, что он и сглазил у нас девушку, и даже о том Максиму Яковлевичу докладывала.

— Знаю, слышал... Ну а теперь что скажешь?..

— Да что сказать?.. Виновата, и весь теперь сказ...

— То-то же... Ермак-то — не парень, а золото. В прошлую ночь нас от лихих врагов спас, а ноне Аксюшу на ноги поставил. Вот ка-

ков он!

— Это точно, батюшка Семен Аникич. Дай ему Бог за то здоровье... Пошли невесту хорошую...

— Невесту... Ну, кажись, о свадьбе он не думает, — засмеялся старик Строганов.

— Не век же ему бобылем жить... Может, и из наших девушек какая полюбится.

— Ты уж и сватать его норовишь!.. Положила, значит, гнев на милость...

— Да что же в том дурного, батюшка Семен Аникич? Это уж все от Бога так устроено. И в писании сказано: оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будет двое, а плоть едина... Скучно тоже, чай, молодцу жить одинокому, вот я к слову и молвила.

— Нет, Антиповна, не женишь его. Он в лес норовит...

— Как в лес, батюшка Семен Аникич?

— Да так, сам говорит, волк он, а волка, чай, знаешь пословицу, как ни корми, он все в лес глядит.

— Ахти, страсти какие...

— Вот видишь, а ты его уже сватать нача-

ла... Ну, пойдём, посмотрим на нашу лебедушку.

В рукодельной кипела работа. Ксения Яковлевна сидела за своими пальцами и усердно вышивала. Рядом с ней помещалась Домаша.

Ксения Яковлевна была бледна, и только эта бледность и указывала, что ей все еще недужится, что средство, данное Ермаком Тимофеевичем, еще не совсем выгнало хворь.

Да этого нельзя было и требовать.

Слава богу, что хоть поставил на ноги.

— Ты это чего себя трудишь после болезни? — сказал Семен Иоаникиевич, поклонившись вставшим девушкам и подходя к Ксении Яковлевне.

— С добрым утром, дядя...

— И тебя тоже. Зачем, говорю, за работу-то села, трудишь себя после болезни?..

— Ничего, дядя, я теперь здорова, поработать захотелось...

— Ничего не болит?

— Нет, только сердце что-то ноет.

— Сердце... — повторил старик. — С чего бы это?

— Не ведаю я того, дядя.

— Ты скажи Ермаку-то Тимофеевичу о том... Он обещал после обеда зайти.

— Стыдно мне, дядя, — потупилась девушка.

— Что за стыдно?.. Ведь знахарь он, а знахарю, что попу на духу, все надо сказывать... Ты скажи смотри.

Семен Иоаникиевич слегка потрепал племянницу по щеке и, обратившись к Антиповне, сказал:

— А ты, нянька, все же не давай долго ей трудиться над работой. Пусть поболтает с девушками, позабавится...

— Слушаюсь... И сама долго не поработает. Пристанет, так и оставит.

Старик Строганов вышел из рукодельной. Антиповна заняла свой наблюдательный пост у окна. А Ксения Яковлевна снова села за пяльцы.

Антиповна, впрочем, оказалась права — она недолго поработала и, что-то шепнув Домаше, вышла из рукодельной в соседнюю комнату. Домаша тотчас последовала за ней, но через минуту снова появилась в рукодельной.

— Коли петь, девушки, хотите, так Ксения Яковлевна сказала, чтобы пели, только повеселей какую-нибудь песню...

— Как же без тебя, запевалы?.. — слышались голоса.

— И без меня обойдетесь, — засмеялась Домаша. — Груша будет запевалой, а меня ждет Ксения Яковлевна. — И она кивнула головой на красивую полную, круглолицую, краснощекую блондинку. — Запевай Груша...

— Запою. Отчего не запеть? — сказала та, улыбаясь.

Домаша ушла в соседнюю комнату, а через минуту рукодельная огласилась веселым пением.

— Не могла бы я ноне петь там, — сказала Домаша, садясь на лавку рядом с Ксенией Яковлевной.

— Отчего?

— Скучно мне что-то...

— Это по Яшке...

— Может, и так... Нехорошо это...

— Почему плохо?

— Не стоит их брат, чтобы наша сестра по ним скучала... Невесть, может, где он путает-

ся...

— Навряд ли, не такой он парень... Хороший он, — заступилась Ксения Яковлевна.

— Влезешь в них, — со вздохом сказала Домаша. — Ну а тебе-то, Ксения Яковлевна, и подлинно полегчало?

— Ох, Домаша, уж не знаю, что и сказать.

— А что?

— Да так, больно мне все боязно...

— Боязно... Чего же боязно... Вот тут как угодить человеку-то? Видеться хотела — увиделась, видеться будешь — боязно.

— Чует мое сердце, Домашенька, что-то недоброе...

— И что ты, Ксения Яковлевна! Все, Бог даст, обладится. Коли вылечит он тебя, дядя в нем души не будет чаять... Ведь он и прошлую ночь всех нас спас от кочевников.

— Да что ты!..

— А ты и не ведаешь...

— Ничего не ведаю...

Домаша рассказала Ксении Яковлевне о предупрежденном Ермаком Тимофеевичем набеге кочевников.

— Вот какой он, Ермак-то твой, — заклю-

чила свой рассказ Домаша.

— Уж и мой! — вздохнула Ксения Яковлевна.

— Известно, твой. Чей же?.. Любит тебя больше души своей. Я парням не верю, языки из них многие точить умеют, а Ермаку Тимофеевичу верю.

— Почему?

— Говорит он так, от сердца — сейчас видно правду-то...

— Кабы так-то... — тихо сказала молодая Строганова.

— Так, так... Ты не сумлевайся. Чай, ждешь не дождешься, как придет-то...

— Оно, конечно, жду... Только он и не глядит на меня...

— Это он глаза другим отводит, Семену Аникичу да Антиповне.

— Должно, что так...

— Будет легче. Вечор я говорила тебе, что дай только ему в светлице освоиться, привыкнуть к нему и надзор будет меньше, тогда удастся вам и словцом перекинуться...

— Дай-то бог!

Обе девушки встали и, обнявшись, стали

ходить по горнице.

В рукодельной песня сменялась песней.

— Ишь распелись, — заметила Домаша.

— Счастливые! — вздохнула Ксения Яковлевна. — Нет у них ни горя, ни заботушки.

— Как знать... — заметила Домаша. — Каждый человек горе-то и заботу в себе таит...

Девушка тяжело вздохнула.

Обе они подошли к окну и стали смотреть на высокую избу Ермака Тимофеевича. Для Ксении Яковлевны эта изба со вчерашнего дня получила еще большее значение.

— Слышь, они цыганку в полон взяли, — вдруг сказала Домаша.

— Кто — они...

— Ермак с товарищами.

— Где же она?

— У нас будет жить во дворе... Привели, слышишь, ее, Семен Аникич приказал...

— Вот как! Ты ее видела?

— Нет, мне сказывали, а я непременно посмотреть на нее схожу. Может, она и гадать умеет. Ведь цыганки все гадают...

— Я слышала, что гадают... — ответила Ксения Яковлевна.

— Это-то мне и любопытно. Может, и ты, Ксения Яковлевна, пожелаешь, так сюда призовем ее?

— Задаст нам Антиповна, не позволит...

— Умаслим как-нибудь... А любопытно о судьбе своей узнать...

— Оно, конечно...

— Я спервоначалу все о ней проведаю и тебе расскажу. А там и за Антиповну примемся...

— Хорошо... — начала было Ксения Яковлевна и вдруг, оборвав свою речь, воскликнула: — Вот он идет!..

Домаша посмотрела в окно. Ермак Тимофеевич действительно шел от своей избы по направлению к усадьбе. Ксения Яковлевна быстро отошла от окна и скорее упала, чем села на скамью. Сердце у нее усиленно билось и, она, казалось, правой рукой, приложенной к левой стороне груди, хотела удержать его биение.

— Что с тобой? Успокойся, Ксения Яковлевна, — говорила Домаша, стоя около нее.

— Боязно, Домаша, — дрожащим голосом говорила девушка.

— Смотри, выдашь себя раньше времени!

Эта предосторожность подействовала. Ксения Яковлевна пересилила себя и успокоилась.

XXIII

Второй день лечения

Ермак Тимофеевич, как и накануне, прошел не прямо в светлицу Ксении Яковлевны, а в горницу Семена Иоаникиевича, которого застал, по обыкновению, за сведением счетов. Громадное соляное и рудное дело Строгановых требовало неустанного внимания со стороны хозяев, хотя у каждой отрасли дела был поставлен доверенный набольший, но недаром молвится русская пословица: «Хозяйский глазок — смотрок».

Племянники Семена Иоаникиевича по молодости лет мало вникали в дело, часто отлучались то на охоту, то в Пермь погулять-распотешить свою душеньку. Дядя им не препятствовал.

— Молодые люди перебесятся, — обыкновенно говаривал он и все управление громад-

ным делом сосредоточил в своих руках, для вежливости, как мы уже говорили, советуясь с племянниками по более важным вопросам. Случалось всегда как-то так, что племянники соглашались с мнением дяди. Самолюбие их, как хозяев, было удовлетворено. Все обстояло благополучно. Этим и объясняется, почему Семен Иоаникиевич вечно был углублен в счета и выкладки.

Увидав входившего Ермака Тимофеевича, он быстро вскочил и пошел к нему навстречу и совершенно неожиданно для него обнял и трижды поцеловал.

— И чудодей же ты, Ермак Тимофеевич, — сказал он, — ведь девушка-то встала. За работой ее застал...

— Я так и думал... Немочь девичья... Только напрасно она трудит себя работой, хворь-то из нее не могла совсем выйти, придется еще полечить ее, — сказал Ермак.

— Я и сам ей сказал о работе и Антиповне наказал, чтобы не давала утруждать себя... Ну-де какая ее работа, просто сидит со своими сенными девушками, все на народе веселее, — ответил старик Строганов.

— Это-то точно, — согласился Ермак Тимофеевич.

— Через силу работать не будет, не неволят ведь...

— Это само собой, что и говорить.

— Садись, что же ты стоишь, Ермак Тимофеевич...

— Да я бы к больной хотел пройти, — заметил тот.

— А... Так пойдем, посмотри ее, может, еще что делать надо.

— Посмотрим, посмотрим...

И Семен Иоаникиевич с Ермаком Тимофеевичем вышли из горницы.

Они застали Ксению Яковлевну и Домашу во второй горнице сидевшими на лавке. Последняя встала при входе Семена Иоаникиевича и Ермака Тимофеевича, отвесила им обоим поклон и вышла в рукодельную.

На пороге она столкнулась с шедшей к своей питомице Антиповной и довольно сильно толкнула ее.

— У, егоза, глаз, што ли, у тебя нету... — проворчала старуха, но девушка уж была на своем месте за пяльцами.

Антиповна вошла во вторую горницу и подошла к Ксении Яковлевне, с которою уже, поздоровавшись, разговаривали дядя и Ермак Тимофеевич.

— Ну что, касаточка, несильно тебе недужится? — спросил первый.

— Теперь полегчало... Попоили меня травой, я и заснула. Крепко спала, встала здоровой...

— Ну уж где здоровой... — заметил Ермак Тимофеевич. — Благо на ноги-то встала и то, слава тебе, Господи.

— Уж подлинно слава тебе, Господи... — вмешалась в разговор подошедшая Антиповна, — и тебе слава, Ермак Тимофеевич. Прими от меня, от старухи, поклон низкий.

И Антиповна в пояс поклонилась Ермаку.

Тот ответил ей тем же.

— Не по заслугам мне кланяться, нянюшка...

— Уж про то знаю я, добрый молодец... Виновата я перед тобой мыслю... Вчера дала себе клятву повиниться перед тобою, коли нашу кралечку на ноги поставишь... Вот и винюсь теперь... Прости меня, старую.

— Бог простит, нянюшка Лукерья Антиповна, — отвечал Ермак Тимофеевич, снова кланяясь поклонившейся ему Антиповне.

— Попользуй ее еще чем ни на есть, хворь-то остальную выгони... — молящим голосом произнесла старуха.

— Попытаемся с Божьей помощью... Позвольте правую ручку, Ксения Яковлевна, — обратился он к Строгановой.

Та, вся зардевшись, протянула ему руку. Ермак бережно взял ее, точно держал сосуд, до краев наполненный водою. Он подержал ее лишь несколько мгновений и выпустил, случайно взглянув в лицо девушки. Их взгляды встретились. Это было лишь одно мгновение, которое было для них красноречивее долгой беседы: в нем сказалось все обуревающее их взаимное чувство.

Ни Семен Иоаникиевич, ни Антиповна не уловили этого взгляда.

— Поить надо еще денек травкой, — сказал Ермак Тимофеевич после некоторого раздумья. — Не противна она тебе, Ксения Яковлевна?

— Нет, ничего, горько немножко, — тихо

отвечала она.

— Медком можно подсластить али вареньем, — заметил он.

— С медком она вчера и пила ее, — вставила слово Антиповна.

— Вот и поите, как пить захочет, так глоточек, другой и сделает... Она трава полезительная. А завтра видно будет, я понаведаюсь.

И он снова бросил чуть заметный взгляд на девушку.

— До свидания, Ксения Яковлевна, здорова будь! — отвесил он ей поясной поклон.

Девушка отвечала ему наклонением головы.

— До свидания, моя касаточка! — сказал Семен Иоаникиевич и поцеловал племянницу в лоб.

Ермак вышел, Семен Иоаникиевич последовал за ним. Они прошли рукодельную, поклонившись вставшим с своих мест сенным девушкам, и вышли из светлицы.

— Что скажешь, Ермак Тимофеевич? — спросил Строганов. — Как она, по-твоему, выздоравливает.

— Бог даст поправится, Семен Аникич, не

тревожь себя, время надо, сам, чай, знаешь, хворь-то в человека четвертями входит, а выходит щепоточками.

— Это правильно.

— То-то и есть... Полечим, Бог даст, вылечим.

— Вылечи, Ермак Тимофеевич, вылечи, век тебе этого не забуду, всем, чем хочешь, награжу, чего ни потребуешь. Одна ведь она у меня племянница-то. Люблю я ее...

— Понимаю я это, Семен Аникич, понимаю. Сам пользоваться вызвался, надо уж вылечить.

— Повторяю, век не забуду... Чем хочешь награжу, — повторил Строганов.

— А как я, Семен Аникич, награду-то большую потребую? — вдруг сказал Ермак Тимофеевич.

— Для тебя — любую награду, — серьезно ответил Семен Аникич.

— Так помни это, купец! Знаешь, чай, поговорку: «Не давши слова — крепись, а давши — держись»...

— Знаю, знаю, ведь непустишь, чай, меня по миру с племянниками и племянницей, —

шутливо сказал старик.

— Зачем по миру пускать? Не жаден я до казны-то, — ответил Ермак Тимофеевич. — Да что зря болтать? Надо сперва хворь-то из де-вушки выгнать...

Они дошли в это время до дверей горницы Семена Иоаникиевича. Ермак поклонился ему в пояс:

— Прощенья просим пока.

— До завтра.

— Завтра понаведаюсь.

— Дай я обойму тебя...

И Семен Иоаникиевич обнял и троекратно поцеловал Ермака Тимофеевича и скрылся за дверьми своей горницы. А Ермак Тимофеевич направился к выходу во двор и вскоре очутился в поле. Тут он только вздохнул полной грудью.

Хотя сегодня он был менее смущен, чем вчера, и уже освоился с тем притворством, которое должен был напускать на себя, но все же ему, привыкшему делать все напрямик, было тяжело это. «Может, Бог даст, и действительно все уладится, согласится Строганов!» — мелькала в голове его мысль.

«Нет, навряд ли. Кажись, и думать нечего», — говорил ему какой-то внутренний голос.

«Дай загадаю: коли увижу ее в окне — к счастью, а коли нет, значит, действительно и думать нечего».

С этой мыслью он ускорил шаги и, подходя к поселку, со страхом и надеждою поднял голову и посмотрел на окно светлицы Ксении Яковлевны.

Она стояла у окна. Сердце у него радостно забилося. Он посмотрел еще раз и различил стоявшую около Ксении Яковлевны Домашу. Сперва он ее не заметил, все его внимание было сосредоточено на молодой Строгановой.

Он продолжал смотреть на заветное окно. Но вдруг обе девушки скрылись. Сердце Ермака упало.

«Уж не обидел ли я ее тем, что глаза на нее выпучил?» — мелькнуло в его уме.

Ермак вошел в свою избу встревоженным совершенно напрасно. Девушки отошли от окна вовсе не потому, что он глядел на них.

Когда Ермак Тимофеевич вышел из светлицы, Антиповна отправилась в рукодель-

ную, а Домаша снова очутилась около Ксении Яковлевны.

— Домашенька, милая моя, хорошая... Садись сюда, родная, со мною...

— Ермак-то Тимофеевич знахарь на диво, — засмеялась девушка, — совсем целитель оказался... Ну что, как, поговорили?

— Говорить не говорили, спросил только, не противна ли мне трава, но зато поглядел он на меня два раза лучше всякой беседы...

Девушки встали и подошли к окну. И в это время в горницу вошла быстро Антиповна.

— Братцы к тебе, Ксюшенька, жалуют, с охоты вернулись.

В горницу действительно входили Максим Яковлевич и Никита Григорьевич Строгановы. Ксения Яковлевна пошла к ним навстречу, а Домаша выскочила в рукодельную.

XXIV

Колечко

Максим Яковлевич и Никита Григорьевич уехали на охоту в то самое утро, когда узнали, что в ночь было предупреждено нападение кочевников, и уже успокоились, получив известие, что Ермак с казаками возвращается обратно. Поэтому братья Ксении Яковлевны не знали о приглашении Ермака Тимофеевича к ней в качестве знахаря.

— Расхворалась без вас, добрые молодцы, сестрица-то ваша, чуть было Богу душу не отдала, кабы не Ермак Тимофеевич, — сказала Антиповна.

— Ермак?.. — в один голос произнесли Максим и Никита.

— Ермак Тимофеевич, — повторила старуха. — Знахарем он оказался, ну, Семен Аникич и позвал его. Как видите, вызволил...

— Вот как! — заметил Никита Григорьевич.

Максим Яковлевич молча пристально посмотрел на сестру. Та слегка покраснела.

— Чем же он ее пользовал? — спросил Никита Григорьевич.

— Травкою, батюшка Никита Григорьевич, травкою... Попоила я ее с вечера, а наутро встала она, как встрепанная.

— Как же показался тебе Ермак? — спросил сестру Максим Яковлевич.

— Да я его и раньше видала, — ответила девушка, — он не страшный.

— Не страшный?

— Да, я допрежь думала, когда еще не приходил он к нам, что разбойник он, а коли разбойник, так и страшный... И даже в первый раз боялась с ним встретиться, а он...

Ксения Яковлевна остановилась.

— Что же он?..

— Да... как все... люди, — добавила она с расстановкой.

— Что ж, коли помог, и слава богу, — сказал Никита Григорьевич.

Он и теперь ее, батюшка, ходит пользоваться, — сказала Антиповна.

— Ты, конечно, тут бываешь? — спросил Антиповну Максим Яковлевич.

— Известное дело, батюшка, и Семен Ани-

кич тоже всегда с ним приходит.

— А-а...

Молодые люди еще некоторое время побеседовали с сестрой и ушли, пожелав ей полного выздоровления.

«Кажись, и впрямь Ермак ее сглазил. Ермаку ее и пользоваться... И хитер же парень! Что придумал — знахарь-де я», — неслось в голове Максима Яковлевича, но он ничего об этом не сказал брату, решив при случае поговорить с самим Ермаком.

Окруженный легендарной славой грозного атамана разбойников, Ермак был для восторженного, едва вышедшего из юных лет Максима Яковлевича Строганова почти героем. Он понимал, что сестра могла полюбить именно такого парня, какого рисует себе в воображении в качестве суженого всякая девушка. Если он не считал сестру парой Ермаку Тимофеевичу, то это только потому, что тот находился под царским гневом.

«А может, царь и смилуется над Ермаком за то, что охраняет он его людишек в такой глуши? Ведь где гнев, там и милость. Обратил бы его товарищей в городских казаков, а его

сделал бы набольшим. Тогда никто бы не был против брака с ним его сестры. Богатства им не занимать, любят они друг друга, да и сестра здесь останется, не поедет в чужедальную сторону».

Разлука с сестрой, которая должна же когда-нибудь случиться, была больным местом в жизни Максима Яковлевича.

Между тем в светлице снова началась задушевная беседа между молодой Строгановой и ее наперсницей.

— А знаешь, что, Ксения Яковлевна, я надумала? — сказала Домаша.

— Что?

— Надо мне непременно сегодня же повидаться с Ермаком Тимофеевичем.

— Тебе повидаться? Зачем? — удивленно поглядела на нее Строганова.

— Да ведь слепые мы ходим... Что же дальше-то делать?

— Как что дальше делать?

— Да так, здоровой ли тебе, Ксения Яковлевна, прикинуться или же опять, чтобы тебе занедужилось. Как он о том в мыслях держит, ничего мы не ведаем.

— Вот оно что... — задумчиво сказала Ксения Яковлевна. — И ты хочешь...

— Шастнуть к нему, все разузнать доподлинно...

— А как тебя увидят?..

— Не бойся, не увидят... А увидят — поклеп-то падет на мою, а не на твою голову.

— Все-таки не ладно это...

— А что же поделаешь? Так еще неладнее выходит... В слепоте-то ходить...

— Что же, постарайся... — согласилась Строганова.

— Я сейчас же это дело обделаю... Ты войди в рукодельную, поработай с полчасика, да и уведи Антиповну, а я мигом сбегая, благо он теперь у себя в избе и один... Ивана Ивановича нет, в поход ушел.

— Хорошо.

Обе девушки вошли в рукодельную. Ксения Яковлевна, как и было условлено, проработала не более получаса и обратилась к Антиповне:

— Пойдем, нянюшка, Расскажи мне какую ни на есть сказку, скучно очень...

Лицо Антиповны расплылось от удоволь-

ствия. Она очень любила, когда к ней обращалась с просьбами ее питомица.

— Изволь, касаточка, расскажу. Я надясь вспомнила ту сказку, что рассказывала тебе, когда ты еще была махонькая, за новую для тебя сойдет...

— Ну вот и хорошо, сегодня и расскажешь...

И девушка вышла из рукодельной. Антиповна поспешила за ней.

Домаша только этого и ждала, но, однако, не тронулась с места, пока из соседней горницы не донесся старческий голос Антиповны, медленно и протяжно начинавшей рассказывать новую сказку. Тогда Домаша быстро встала из-за пяльцев и направилась в девичью, накинула на себя большой платок и выскользнула сперва во двор, а затем и за ворота усадьбы. Никто не заметил ее.

Она пустилась бежать по полю и, запыхавшись, остановилась у избы Ермака Тимофеевича. Переведя дух, она тихо отворила дверь.

Ермак ходил по избе в глубокой задумчивости. Шорох заставил его остановиться. Оглядевшись, он радостно воскликнул:

— Домна Семеновна!..

Девушка вошла.

— Она самая.

— Что с Ксенией Яковлевной?

— Да ничего, работала в рукодельной, а теперь ей нянька сказки рассказывает.

— Здорова, значит? — упавшим голосом сказал Ермак.

— И здорова, может быть, и занедужится ей может, это как ты скажешь, Ермак Тимофеевич... Затем я пришла, поспросить... Да что же ты, добрый молодец, меня на ногах держишь? Я и так пристала, сюда бежавши. Сядь-ка. И я присяду...

— Садись, садись... — спохватился Ермак Тимофеевич.

— Так как же нам с Ксенией Яковлевной быть-то, добрый молодец? — спросила Домаша.

— Да пусть ей еще понедужится с недельку-другую, то-де лучше, то хуже, — отвечал Ермак.

— Ин будь по-твоему, недужится так недужится. И это можно, я так ей и передам...

— Передай, девушка, возьми в труд... Я по

крайности хоть каждый день увижу ее, а может, улучу минутку и словом перемолвиться. Да и Семен Аникич увидит, что хворь-то долгая, больше будет благодарен, коли вылечу. Говорил он мне, что на сердце она жалится, а мне сказать ей совестно, пусть так все на сердце и жалится...

— А ты лечить ей сердце-то и примешь-ся?.. — с усмешкой спросила Домаша.

— Постараюсь...

— Уж ты вылечишь, таковский!..

— А у меня к тебе просьбица... — начал Ермак Тимофеевич, сняв с мизинца кольцо, оставленное им себе при разделе добычи.

— Что это? Колечко? — спросила Домаша.

— Да. Прими в труд, передай Ксении Яковлевне, от Ермака-де, ратная добыча, шлет от любящего сердца.

Девушка нерешительно взяла кольцо.

— Изволь, добрый молодец, только носить-то его нельзя будет... Увидит Антиповна, она у нас глазастая, Семен Аникич, да и братцы, пойдут спросы да расспросы, беда выйти может...

— Пусть спрячет куда ни на есть, может,

на минуту и наденет на пальчик свой.

— К чему тогда и кольцо от милого друга, коли не носить его...

— Так-то оно так, да что же делать-то...

— А ты послушай, добрый молодец, деви-чьего разума...

— Изволь, послушаю...

— На сердце Ксения Яковлевна будет жалиться, так ты скажи Семену Аникичу, что есть у тебя кольцо наговоренное, от сердца-то помогает, дозвольте-де носить Ксении Яковлевне... Он в тебя верит, поверит и тому... Тогда она его и будет носить въявь, на народе, и тебе и ей много приятнее...

— И то, девушка... Какая же ты умница! — воскликнул восхищенный предложением Домаша Ермак Тимофеевич.

— Какая уродилась, такой и бери... Так ты спрячь кольцо-то, сам не носи, не ровен час, заметят, что твое кольцо. Может, и приметили... Ишь, вырядился, — насмешливо сказала Домаша.

— Вряд ли приметили...

— Да так и сделай, как я говорила.

— Так в точку сделаю, а ты все же Ксению

Яковлевну-то упряди...

— Без тебя знаю это...

— Уж не ведаю, как и благодарить тебя.

— А вот будешь мужем нашей хозяйюшки, так не оставь нас с Яковом своею хозяйской милостью, — улыбнулась Домаша.

— Не может статься этого! — печально сказал Ермак. — Но и так Яков мне всегда первым другом будет, да и тебе, девушка, по гроб не забуду твоей услуги...

Он произнес все это таким печальным тоном, что Домаше стало его жаль.

— А ты не кручинься раньше времени, добрый молодец. Все, быть может, наладится. Ведь не думал же ты, не гадал в светлицу-то попасть к хозяйюшке, а Бог привел, и вхож стал... Так и дальше, не ведаешь иной раз, как все устроится...

— Спасибо на добром слове, девушка, — сказал Ермак.

Домаша встала.

— Ан мне пора, прощенья просим... Завтра увидимся.

Домаша вышла из избы. Ермак последовал за нею и долго стоял у крыльца, смотря вслед

убегавшей девушке.

XXV

Ходатай

Слова Домаши сбылись как по писаному. К посещениям Ермака Тимофеевича светлицы Ксении Яковлевны действительно привыкли. Семен Иоаникиевич перестал сопровождать его, а Антиповна иной раз и отлучалась в рукодельную, посылая к молодой Строгановой Домашу, успевшую уверить ее, что она терпеть не может Ермака.

При Домаше молодые люди были все равно что вдвоем, успевали вдосталь наговориться и даже изредка обмениваться поцелуем.

На руке Ксении Яковлевны блестело кольцо Ермака, как «наговоренное» от сердца. Молодая Строганова быстро поправлялась от «болезни», хотя не переставала порой жаловаться на слабость и головную боль. Знахарь еще был нужен. И он теперь посещал свою больную ежедневно.

Но Ермак Тимофеевич хорошо знал русскую пословицу, гласящую: «как веревку ни

вить, а все концу быть» и со страхом и надеждою ожидал этого конца. Они решили с Ксенией Яковлевной переговорить с Семеном Иоаникиевичем, причем Ермак Тимофеевич сообщил девушке, что ее дядя обещал наградить его всем, чего он пожелает.

— Вот и попрошу у него в награду... тебя, — сказал Ермак.

— Он, чай, и не думает и не гадает о такой просьбе, — заметила Ксения Яковлевна.

— А мне-то что? — сказал Ермак. — Я ему и надясь сказал: «Не давши слова — крепись, а давши — держись»...

— Попытать можно, — согласилась Строганова.

— Я на днях попытаю...

— Боязно. А разлучат нас?.. Что тогда?

— Надо один конец сделать! — говорил Ермак Тимофеевич. Но, несмотря на эту решительную фразу, он все-таки со дня на день откладывал объяснение со стариком Строгановым. Сколько раз при свидании он уж решался заговорить, но ему тоже, как и Ксении Яковлевне, вдруг становилось «боязно». Как посмотрит на эти речи ласковый, приветливый,

души не чающий в нем старик? А вдруг поступит круто, запрет свою племянницу, а ему скажет: «Добрый молодец, вот Бог, а вот и порог!» Что тогда?

И холодный пот выступал на лбу Ермака, человека, как известно, далеко не из трусливых. Беседа поэтому откладывалась.

Семен Иоаникиевич пребывал в счастливом неведении относительно причин хвори любимой племянницы и чудодейственных средств знахаря, Ермака Тимофеевича.

Из этого неведения вывел его Максим Яковлевич.

В одно прекрасное утро оба племянника, по обыкновению, явились в горницу дяди пожелать ему доброго утра. Никита Григорьевич вскоре ушел посмотреть на лошадей, до которых был страстный охотник, а Максим Яковлевич остался с Семеном Иоаникиевичем, разговорившись с ним о необходимости сменить одного из дозорных.

Старик Строганов не любил переменять людей. Он и в данном случае стоял на стороне старого служащего.

— Изворовался он, дядя, сам знаешь, — го-

ворил Максим Яковлевич.

— Есть тот грех, таить нечего, — согласился Семен Иоаникиевич.

— Вот видишь. И не унимается. А по-моему, сыт — ну и будет...

— Вот оно что значит молодо-зелено, — заметил старик. — А того вы не рассудите, что сытый человек меньше съест, нежели голодный...

— Это к чему же?..

— Да уж к тому... Правильно я говорю?

— Конечно, меньше.

— То-то и оно. Приставь нового, тот воровать будет, да еще больше, так как ему больше и нужно, да и завидки будут брать на прежнего...

— Да уж, дядя, по-моему, пусть лучше другой покормится, чем все один...

— Да коли он хозяину пользу дает, пусть кормится. Нам-то что... Его старанье, за него и награду он себе берет...

— Это вор-то?..

— Уж и вор... Просто себя не забывает, охулки на руку не кладет около хозяйского добра... Да где их взять таких-то, которые бы

его соблюдали? Таких, Максимушка, нет, и, по-моему, задать ему нагоняй как следствуе, пугнуть хорошенько, он на время и приостановится...

— На время? — усмехнувшись, переспросил Максим Яковлевич.

— Вестимо, на время. Я его уж пугал, ничего не действует. На полгода действует...

— Ну, как знаешь, дядя, а по-моему, сменить бы надобно, и Гриша со мною согласен.

— Сменить недолго, только что из этого выйдет?.. У этого-то дело налажено, а другой еще с год налаживать будет, убыток-то еще больше станет. Поверь мне, старику...

— Хорошо, хорошо...

— И Никиты разговоры отведи от мысли этой. Он согласится. Ведь это ты коновод-то?..

— Уж и я... — самодовольно сказал Максим Яковлевич.

— Известно, горячка... Был ты сегодня у Аксиньи? — переменял разговор Семен Аникиевич.

— Был.

— Ну что?

— Да ничего. Кажись, здорова. Румянец на

щеках играет.

— Да, да! Каков Ермак-то Тимофеевич! Можно ли было думать, что он таким знахарем окажется? Девушка лежмя лежала, голову от изголовья поднять не могла, а он в день на ноги поставил... Недужилось страсть как.

— Да так ли это, дядя? — лукаво улыбнулся Максим Яковлевич.

— А то как же?

— Да так! Хотел бы я поглядеть, как бы он другую от хвори вызволил. Взять хоть бы Антиповну, — со смехом сказал молодой Строганов.

— Антиповна здорова... Зачем ей?

— Я к примеру только.

— Что-то невдомек мне речи-то твои? — вопросительно уставился на племянника Семен Иоаникиевич.

— Речи простые... Слюбились они...

— Что ты! — крикнул и вскочил с лавки Семен Иоаникиевич. — Кто слубился?

— Сестра с Ермаком...

— Окстись, Максим! В уме ли ты?

— При своем разуме, — улыбнулся Максим Яковлевич. — С того на нее и хворь напала, с

того она и выздоровела теперь... Томилаась прежде, мельком виделась, а ныне каждый день... Вот она и поправилась.

— Да как он смеет? — воскликнул старик. — Да и я уши развесил, болтаешь ты несурзное...

— Помяни мое слово: придут к тебе в ноги кланяться...

— Да я его... ее!.. — задыхаясь, произнес Семен Иоаникиевич.

— А что ты ему и ей сделаешь? Да в чем виноваты они? Не в полубовницы он ее взял себе...

— Сказал тоже...

— А сердцу не запретишь любить.

— Да ведь он клейменный! — крикнул старик.

— Уж и клейменный! И скор же ты, дядя. В человеке сейчас души не чаял, видел я сам, как ты с ним обнимаешься да целуешься, а теперь уже клейменный...

— Но я не знал, — перебил племянника Семен Иоаникиевич.

— Чего не знал-то?.. Ведь Аксюту он вылепил, на ноги поставил, страшно смотреть бы-

ло, какая была! Краше, как говорится, в гроб кладут, а теперь опять цвести и добреть начала...

— Это-то правильно...

— Так не все ли равно, травой он ее наговорной от хвори исцелил али словом да взглядом ласковым...

— Да дальше-то что, дальше?.. — спросил в волнении старик Строганов.

— Мекаю, дальше придется веселым пирком да и за свадебку...

— Нет, милый, ты, я вижу, ума решился... Родную сестру за разбойника норовишь выдать — ведь на него петля в Москве готова. Ты знаешь это?

— Знаю, из Москвы вон в Перми бегают, на многих петли готовы и многих ими захлестывают, и не простых людей, а бояр и князей. Чего же ты Ермака петлей упрекаешь?

— Нет, не бывать тому! — воскликнул Семен Иоаникиевич и начал ходить в волнении по своей горнице.

— Твоя воля, ты ей вместо отца, — спокойно заметил Максим Яковлевич. — Но только за что губить девушку?

— Как губить? — остановился старик.

— Да так... Разлучишь ее с Ермаком, она опять изведется вся, дело видимое...

— Ну, это еще бабушка надвое сказала... У нее есть жених нареченный почище Ермака.

— Это ты об Обноскове?

— Об нем, боярин у царя в приближении... Я ему послал грамотку. Вот приедет, выкинет девка из головы дурь, боярыней будет...

— Не велико счастье, — усмехнулся Максим Яковлевич, — да и я тоже братом ей прихожусь, не согласен...

— Как так?

— Да так... Живи здесь, а в Москву, невесть куда не отпущу сестру, вот и весь сказ.

— Сам туда поедешь...

— Что я там не видал? У меня здесь есть дело...

— Как же быть-то?

— Да так, как я сказываю...

— Что ж ей в девках век сидеть?..

— И пусть сидит...

— Чудак ты, парень... Говоришь несуразное.

— Чем несуразное?.. Можно тоже с челоби-

тьем войти к царю об Ермаке Тимофеевиче...

— С каким таким челобитьем?

— А вот-де живет второй год, тихо, смирно, людишек охраняет... Царь-то, може, в добрый час его и помилует, казаков его городовыми числить велит, а его сделает набольшим. Тогда чем он не жених для Аксюты?..

Максим Яковлевич не успел договорить.

— Не бывать тому! — крикнул Семен Иоаникиевич и так ударил кулаком по столу, у которого стоял, слушая племянника, что массивные доски затрещали.

— Не бывать ей и за Обносковым! — вско-чил в свою очередь Максим Яковлевич и быстро вышел из горницы, сильно хлопнув дверью.

Семен Иоаникиевич остался один. Он помутившимся взглядом посмотрел сперва на дверь, за которой скрылся племянник, затем с трудом подошел к лавке и грузно опустился на нее.

«Вот они каковы! — неслось у него в уме. — Провели меня, старика, провели и Антиповну, на что уж зорка старуха... Вот в чем и знахарство его. Влюбился... Я им покажу

слубиться... Сегодня же этому молодцу от ворот поворот покажу... Пусть хоть уходит со своими молодцами куда глаза глядят».

Вдруг мысли его прервались.

«А если и впрямь уйдет? Что делать-то?.. Как оградить земли и промыслы от кочевников? Нет, гнать взащей зачем же... Надо поговорить с ним по-хорошему, сам поймет, что не пара он Аксюше... Сам отойдет от греха, а в поселке останется».

И снова мысли его перекинулись на Ксению Яковлевну.

«А как и впрямь изведется девка-то в разлуке с милым?.. Что тогда делать-то? Обносков когда еще приедет, и гонец-то, чай, до Москвы не доехал с грамоткой... Да нет, пустое... Время терпит. Приедет боярин, красивый да ласковый, все как рукой снимет, а пока пусть похворает, чай, хворь-то эта не к смерти... Правду баяла Антиповна, кровь в ней играет, замуж пора... Да не выдавать же за Ермака?»

Даже сама мысль об этом заставила вскопчить с лавки Семена Иоаникиевича.

«Нет, не бывать этому! Максимка грозит,

не бывать-де ей и за Обносковым, — неслось далее в голове старика Строганова. — Ну, да то обломается, коли сам Ермак отступится от девушки, а боярин сюда приедет со сватаньем... Ишь что выдумал... С челобитьем к царю за Ермака! Прознает царь про него, задаст нам челобитье... Ишь что выдумал Максимка, какого жениха сестре выискал — атамана разбойников! Нет, не бывать тому!» — снова крикнул Семен Иоаникиевич Строганов.

Часть вторая

Князь Сибирский

I

Москва XVI века

Стоял ноябрь 1530 года.

Москва в конце царствования Иоанна IV представляла собой довольно печальное зрелище. Наряду с возведенными за время со дня смерти великого князя Василия Иоанновича величественными храмами и церквями виднелись недостроенные, опустевшие улицы.

Тринадцать лет (с 1533 года) шло регентство сперва матери государя, великой княгини Елены, а затем боярской думы, пока, наконец, юный Иоанн не принял в свои руки бразды правления.

Памятником регентства Елены была постройка крепостных стен Китай-города. Ввиду того что Кремль в случае осады не мог уже вместить со своими стенами сильно увеличившееся народонаселение, Василий III пожелал построить новую крепость.

Осуществлением этого замысла занималась великая княгиня.

Работы начались в 1534 году. Сперва сделан был град земляной по тому месту, где мыслил ставить крепость великий князь Василий Иоаннович. «Град был сделан на большое пространство Москвы. Хитрицы (росмыслы-инженеры) устроили его вельми мудро, начав от каменной большой стены (кремлевской) и сплетаху тонкий лес (хворост) около большого древия и внутрь насыпаху землю и вельми красиво утверждаху и ведома по реке Москве и приведома к той же каменной стене и на версе устроивши град древлян, по обычаю (т. е. помост с кровлею для защиты). нарекоша граду имя Китай».

По мнению И. В. Забелина, прозвание Китай значит, по всей вероятности, плетеный, ибо китай — веревка, сплетенная или свитая из травы, соломы или прутьев, которыми вяжут одоньи.

Но правительница не удовольствовалась этими деревянно-земляными стенами и повелела «на большое утверждение град камен ставить, подле земляной город».

В 1535 году вдоль этого рва, по совершении митрополитом Даниилом крестного хода, заложена была каменная стена с башнями и воротами: Сретенскими, Ильинскими, или Троицкими, Варварскими и Козьмодемьянскими, выходившими на Большую улицу к Москве-реке.

Издержки на это сооружение были возложены на бояр, духовенство и торговых людей. Население привлекалось даже к самой стройке стен.

Строил Петр Фрязин, подошву градную основав. Новые стены охватили часть Большого посада, где производилась торговля.

Приступлено было к постройке каменных лавок, число которых к началу XVII столетия уже было весьма значительным, что видно из названий: Фрянские погреба, панские ряды и прочие.

Другим памятником правления Елены были построенные церкви Иоанна Предтечи близ Солянки и основанный при ней Ивановский женский монастырь, в котором впоследствии были заключены знатные затворницы.

Самостоятельное царствование Иоанна IV

началось с 1547 года, и первый год его правления ознаменовался в Москве пожарами. 12 апреля выгорела часть Китай-города, примыкающая к Москве-реке, с некоторыми церквами, гостиным двором и другими лавками. Одна крепостная башня, служившая пороховым складом, взлетела в воздух с частью китайской стены. Затем 20 апреля выгорела часть посада около устья Яузы, на Болвановке, где жили кожевники и гончары. И наконец 27 июля вспыхнул новый, еще невиданный изначала Москвы пожар. Он пошел от Воздвиженья на Арбат, сжег все Знаменское. Поднявшаяся буря погнала отсюда огонь на Кремль, где загорелись верх Успенского собора, крыша царских палат, двор царской казны, Благовещенский собор с его драгоценными иконами греческого и русского письма (Андрея Рублева), митрополичий двор и царские.

Погорели монастыри Чудово и Вознесенский и погибли все боярские дома в Кремле. Одна пороховая башня с частью стены взлетела в воздух. Пожар перешел на Китай-город и истребил оставшееся от первого пожара.

На Большом посаде сгорели Тверская,

Дмитровка до Николо-Греческого монастыря, Рождественка, Мясницкая до Флора и Лавра, Покровка до несуществующей теперь церкви святого Василия с многими храмами, причем погибло много древних книг, икон и драгоценной церковной утвари.

Около двух тысяч народу сгорело живьем. Митрополит Макарий едва не задохся в дыму в Успенском соборе, откуда он собственными руками вынес образ Богородицы, написанный святителем Петром. Владыка в сопровождении протопопа Гурия, несшего Кормчую книгу, вошел на Тайницкую башню, охваченную густым дымом. Макария стали спускаться с башни на канате на Москворецкую набережную, но канат оборвался и владыка упал и так ушибся, что едва пришел в себя и был отнесен в Новоспасский монастырь.

Царь с семьей и боярами уехали за город в село Воробьево.

Этот пожар потребовал от царя Иоанна Васильевича большой строительной деятельности. По его приказанию были отстроены пострадавшие от пожара Успенский и Благовещенский соборы, Грановитая палата и дворец.

Верх Успенского собора был покрыт вызолоченными медными листами.

Затем некоторые события царствования Иоанна IV ознаменовались в Москве особыми памятниками.

Прежде всего покорение Казани дало Москве собор Покрова, или храма Василия Блаженного, построенного молодым царем в память присоединения к России царства Казанского.

«Известен всему свету памятник, — говорит И. Н. Забелин, — и по своей оригинальности занял свое место в общей истории зодчества и вместе с тем служит как бы типической чертой самой Москвы, особенно же чертой самобытности и своеобразия, каким Москва, как старый русский город, вообще отличается от городов Западной Европы».

В своем роде это такое, если не большее, московское, и притом народное диво, как Иван Великий, Царь-колокол, Царь-пушка. Западные путешественники и ученые последователи истории зодчества, очень чуткие относительно всякой самобытности, давно уже оценили по достоинству этот замечательный

памятник русского художества.

Люди, во что бы то ни стало старающиеся отвергнуть всякую самобытность в русском народе, пытались доказать, что храм Василия Блаженного построен или в индийском, или в арабском и мавританском стиле. Но теперь уже доказано, что все его архитектурные особенности — русского характера, проявившегося в русском теремном, церковном и крепостном (башенном) творчестве.

До последнего подъема русского сознания у нас господствовала тенденция, что вся московская, допетровская Русь — это сплошной и беспросветный мрак невежества. Теперь, когда мы освободили свои глаза от чужих очков, историческое зрение лучше видит проблески русской образованности и культуры даже в такое время, каким является время Грозного царя.

Не воспользовавшись еще возрождением наук и искусств, изобретениями и открытиями, мы в эту пору, конечно, отстали от Запада, но было бы в высшей степени несправедливо думать, что мы стояли тогда на уровне азиатских народов. У нас была своя образо-

ванность, представителями которой были Максим-грек, митрополит Макарий, составитель громадного свода жития святых, известного под именем «Великих Четьих-Миней», и летописного свода — «Степной книги», протопоп Сильвестр, автор «Домостроя», князь Курбский, наконец сам Иоанн IV и другие.

Громадная библиотека Грозного, которую все еще не теряют надежды найти в подземных тайниках Кремля, представляла богатейший фонд для русского образования. Рассмотрев это драгоценное собрание книг на греческом, латинском и еврейском языках, замурованных в сводчатых подвалах, немец Веттерман пришел в неизъяснимый восторг: он увидел здесь много таких сочинений, которые совсем были неизвестны западной учености.

Делала при царе Иоанне Васильевиче успех и пышность придворной обстановки. Особенно любил царь удивлять этим иностранных послов.

Так, незадолго до времени нашего рассказа, в 1576 году, при приеме польского посла, присланного Стефаном Баторием, не только дворец переполнен был боярами в блестящих

одеждах, но на крыльце и в проходах до набережной палаты у педория Благовещенского собора размещены были во множестве гости, купцы и приказные, все в золотых одеждах. На площади расставлено было возникшее при Иоанне войско — стрельцы с ружьями.

На придворные обеды при Иоанне IV приглашались уже громадные массы служивых людей: по 600–700 человек. А однажды во время войны с ливонскими немцами устроен был придворный обед на 2 тысячи человек.

Царь дивил иностранцев обилием во дворце своем золота, самоцветных камней, жемчуга и прочих драгоценностей.

Но при всех этих успехах Москва при Иоанне IV мало обстраивалась новыми постройками.

Кроме упомянутого Покровского собора, при нем в 1543 году, говорит летопись, доделали церковь Воскресенья, на площади возле Ивана «святой под колокола» (начатую Петром Фрязиным при Василии III), а лестницу и двери приделали в 1552 году мастера московские.

В 1547 году близ Мясницких ворот был по-

строен собор Черниговских Чудотворцев, где были положены принесенные тогда в Москву мощи святого князя Михаила и его боярина Федора.

В память победы над крымцами в 1573 году была построена церковь Рождества Христова близ Тверской улицы, где находилась чудотворная икона Божией Матери «Взыскание погибших».

Из дворцовых построек этого времени известны следующие: в 1500 году, около Сретенского собора царь «повелел делать двор особый детям своим».

При учреждении опричнины, в которую были отобраны улицы Чертолье (Пречистенка), Арбатская с Сивцевым оврагом, Сенчинское (Остоженка) и половина Никитской с разными слободами до вполюя Дорогомиловского, царь велел построить для себя новый дворец на Неглинной, на нынешней Воздвиженке, и обнести его высокой стеной.

Столь небольшая сравнительно строительная деятельность Грозного некоторыми историками объясняется тем, что будто бы он был поглощен казнями. Но это неверно. Москва в

это время двукратно была опустошена громадными пожарами, в 1547 и 1571 годах. Иоанну Васильевичу было слишком много дела по одному только восстановлению сгоревших зданий.

24 мая 1571 года крымские татары подступили к Москве и зажгли ее посады. При сильном ветре пожар распространился быстро и поглотил собою все деревянные здания Китай-города и посада. Много народа погибло при этом. Главный воевода И. Д. Вельский задохнулся у себя на дворе в каменном погребе; та же участь постигла многих из знати.

Москва-река была запружена трупами несчастных, искавших в ней спасения, так что надобно было поставить людей с баграми, чтобы справлять трупы вниз по течению.

В Кремле выгорел двор государев.

По свидетельству летописи, в Грановитой, Проходной, Набережной и иных палатах прутья железные, толстые, что кладено для крепости, на связях, перегорели от жары.

Вследствие ряда этих бедствий Москва опустела.

На это запустение, кроме катастроф и каз-

ней, повлияло и перенесение царской резиденции в Александровскую слободу.

В описываемый нами год жителей в Москве насчитывалось только 30 тысяч человек. В их числе были старые родовитые бояре; другие же менее знатные родом перенесли свои резиденции в Александровскую слободу, которая сделалась городом, украшенным церквями, домами и лавками каменными. Тамошний славный храм Богоматери сиял снаружи разными цветами, серебром и золотом. На всяком кирпиче был изображен крест.

Царь жил в больших палатах, обведенных рвом и валом; придворные государственные и воинские чиновники — в особых домах. Никто не мог ни въехать туда, ни выехать оттуда без ведома Иоанна.

II

Сыноубийство

Жизнь в Александровской слободе слагалась крайне своеобразно. Все указывало на ненормальное состояние властителя Русской земли. Вот как описывает эту жизнь историк Карамзин:

«В сем грозно-увеселительном жилище, окруженном темным лесом, Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, стремясь искреннею набожностью успокаивать душу.

Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих — в иноков: выбрал из опричников 300 человек самых злейших, назвал братиею, а себя игуменом, князя Афанасия Вяземского келарем, Малюту Скуратова параклисиэрхом; дал им тафьи или скуфьи и черные рясы, под коими носили они богатые золотые, блестящие кафтаны с собольей опушкою: сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении оного.

В четвертом часу царь ходил на колокольню с царевичем и Малютою Скуратовым, в церковь кто не являлся, тот наказывался восьмидневным заключением.

Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу являлись у него знаки крепких земных поклонов.

В восемь часов опять собирались к обедне, а в десять садились за братскую трапезу все, кроме (хозяина) Иоанна, который стоя читал вслух душеспасительные наставления... Между тем братья ели и пили досыта — всякий день казался праздником. Не жалели ни вина, ни меду, остатки трапезы выносили из дворца на площадь для бедных.

Игумен, то есть царь, обедал после, беседовал с любимцами о законе, а затем дремал или ехал в темницу пытаться какого-нибудь несчастного.

Казалось, что эти ужасные зрелища забавляли его — он возвращался с видом сердечно-го удовольствия, шутил, говаривал веселее обыкновенного. В восемь часов шли к вечерне, в десятом Иоанн уходил в спальню, где

трое слепых по очереди, один за другим рассказывали ему сказки. Он слушал их и засыпал, но ненадолго, в полночь вставал, и день его начинался молитвою.

Иногда докладывали ему в церкви о делах государственных, иногда самые зверские повеления давались Иоанном во время заутрени или обедни.

Единообразие своей жизни он прерывал так называемыми объездами, посещал монастыри, и ближние и дальние, осматривал крепости на границе, ловил диких зверей в лесах и пустынях; любил в особенности медвежью травлю, между тем везде и всегда занимался делами, ибо земские бояре, мнимо-уполномоченные правители государства, не смели ничего решать без его воли.

Когда приезжали в Россию знатные послы иноземные, Иоанн являлся в Москве с обыкновенным великолепием и торжественно принимал их в новой кремлевской палате, близ церкви св. Иоанна; являлся там и в других важных случаях, но редко.

Опричники, блистая в своих золотых одеждах, наполняли дворец, не преграждая

пути к престолу и старым боярам, но только называя их презрительно „земскими“.

В числе этих опричников были и бояре Иван и Семен Обносковы.

Скажем несколько слов в объяснение появления в царствование Иоанна IV разделения в Московском государстве служивых людей на опричников и земских.

Первые считались как бы телохранителями царя, выбранные им в числе шести тысяч человек из князей, дворян, детей боярских; им были отведены, как мы уже упоминали, в Москве особые улицы, им розданы поместья в избранных царем городах.

Эта часть России в Москве, эта шеститысячная дружина Иоаннова, этот новый двор, как отдельная собственность царя, находясь под его непосредственным ведением, были названы „Опричниною“, а все остальное, то есть все государство — „Земщиною“, управление которой он поручал земским боярам.

Затейливый ум Иоанна изобрел достойный символ для своих новых слуг: они ездили всегда с собачьими головами и с метлою, привязанными к седлам, в ознаменование того,

что грызут лиходеёв царских и метут Россию.

В описываемое нами время опричнина уже существовала пятнадцать лет.

1580 год был для России годом тяжелых испытаний — начатая война с Польшей окончилась переговорами о мире, постыдными для русских людей. Царь страдал, видя страдания старых бояр и народа. Их недовольство, которое они не смели выразить, раздражало его.

Все это привело к катастрофе страшной, небывалой, местом действия которой была та же Александровская слобода.

Старший сын царя Иоанна Васильевича — Иоанн — был любимцем отца. Юноша занимался вместе с отцом государственными делами, проявлял в них ум и чуткость к славе России. Во время переговоров о мире, страдая за Россию, читая и горесть на лицах бояр, слыша, может быть, и всеобщий ропот, царевич, исполненный благородной ревности, пришел к отцу и потребовал, чтобы он послал его с войском изгнать неприятеля, освободить Псков, восстановить честь России.

Царь, страдающий, раздраженный, при-

шел в безумную ярость.

— Мятежник! — воскликнул он. — Ты вместе с боярами хочешь свернуть меня с престола!

Он поднял острый жезл свой. Борис Годунов хотел удержать его руку, но царь нанес ему несколько ран и ударил царевича по голове так сильно, что тот упал, обливаясь кровью.

Несчастный при виде гнева отца спрятался было за присутствовавшего в горнице Ивана Обноскова, но тот в страхе, чтобы удар жезла не попал в его голову, посторонился. Удар пришелся по голове царевича Иоанна.

Увидя сына, лежавшего у его ног, залитого кровью, царь Иоанн Васильевич пришел в себя.

— Я убил сына! — воскликнул он в исступлении и кинулся обнимать его, целовать, удерживая кровь, моля Бога о милосердии, а сына — о прощении. Но воля Божия совершилась.

Царевич, лобызая руки отца, нежно изъявлял ему любовь и страдание, убеждая его не предаваться отчаянию, сказал, что умирает

верным сыном и подданным.

Он жил четыре дня и скончался 19 ноября.

В той же самой Александровской слободе, где столько лет лилась боярская кровь, Иоанн, обогранный сыновнею, в оцепенении сидел недвижно у трупа, без пищи и сна несколько дней.

Двадцать второго ноября вельможи, бояре, князья, все в черной одежде понесли тело в Москву. Царь шел за гробом до самой церкви св. Михаила Архангела, где указал место между памятниками своих предков.

Погребение было великолепное и умиленное. Все оплакивали судьбу даровитого юноши, который мог бы жить для счастья и добродетели.

Царь, обнаженный от всех знаков царского чина, в ризе, печальный, в виде простого, отчаявшегося грешника бился о гроб и землю с пронзительными воплями.

Когда после похорон сына первые дни горького отчаяния миновали, наступили минуты размышления, минуты раскаяния, а вместе с тем и минуты внутренней самозащиты.

Человеку свойственно убавлять свою вину виной других.

Так было и в данном случае.

Этому помогли приближенные царя, бывшие свидетелями разыгравшейся кровавой драмы.

Среди них было мало доброжелателей Ивана Обноскова, которого не любили за лстивость и хитрость. Легко было, при настроении царя, представить ему, что удар жезла не попал бы в царевича, если бы Иван Обносков более мужественно заслонил его своей грудью.

Указывали на Бориса Годунова, который с опасностью для жизни хотел защитить царевича.

Виновник сыноубийства, для успокоения царской совести, был найден. Малюта Скуратов по приказанию царя справил над Обносковым кровавую тризну по безвременно погибшем царевиче. Иван Обносков был обвинен не только в трусости, в чем он действительно был виноват, но и в подстрекательстве покойного царевича к спору с царем и умышленном незащищении его от отцовско-

го удара. Сделал он это-де с целью устранения от престола наследника, думая войти в еще большую силу при вступлении на престол младшего сына царя — Федора, слабого здоровьем и не способного к государственному правлению.

И в этом заговоре обвинен был и сын Ивана Обноскова — Степан.

Безмолвные стены тюрьмы Александровской слободы были одни свидетелями пыток, под которыми отец и сын Обносковы дали нужные следователю Малюте Скуратову показания. Записи этих показаний были представлены царю, который пожелал сам слышать подтверждение их вины, умаляющей его обвинения. Они дали ему это подтверждение мало понятными знаками. Говорить они не могли. Предупредительный Малюта Скуратов вырезал им обоим языки. Обносковы безмолвно кланялись царю в ноги, и последний счел это сознанием в вине раскаянием.

Так объяснил царю Малюта.

Царь поверил.

Мы охотно верим тому, чему хотим верить.

Обоим Обносковым, и отцу и сыну, были отрублены головы. Жену Ивана Обноскова с невестою — дочерью отвезли в дальний женский монастырь, где и постригли.

Так окончился на Руси род бояр Обносковых».

Таким образом, в то время, когда в хоромах Строгановых происходило все описанное нами в первой части нашего повествования, когда Антиповна называла боярина Семена Обноскова суженым и нареченным женихом Ксении Яковлевны Строгановой, а Семен Иоаникиевич послал с Яковом грамотку, перехваченную Ермаком Тимофеевичем, и отец и сын Обносковы лежали уже в сырой могиле, где нашли наконец успокоение от нечеловеческих житейских мучений последних дней своей жизни.

Московские казни были тогда обычным явлением, а имена казненных, за их многочисленностью, забывались. Потому-то до запермского края не скоро дошла весть о трагической гибели целого рода бояр Обносковых.

Семен Иоаникиевич Строганов узнал эту роковую для него весть в тот же день, когда

беседовал об отношениях своей племянницы к Ермаку с Максимом Яковлевичем. Вскоре после его ухода в усадьбу прибыл из Перми приезжий из Москвы и передал Семену Иоаникиевичу грамотку от его дальнего родственника купца Строганова, проживавшего в столице и славившегося, кроме своего торгового дела, искусством в лечении недугов. Строганов в грамотке описывал все нами рассказанное, добавляя, что слышал это от Бориса Годунова, которому от ран, нанесенных ему царем, делал заволоки.

Далее он сообщал, что сам удостоился лицезреть царя Иоанна Васильевича, навестившего Бориса Годунова и осмотревшего его раны и заволоки. Это посещение царя было вызвано тем, что отец царицы Федор Нагой обнес Годунова, говоря, что он скрывается не от болезни, а единственно от досады и злости.

Убедившись в клевете на своего любимца, царь приказал ему, Строганову, сделать самые мучительные заволоки на боках и груди Федору Нагому и этим наказать клеветника.

Чтение грамотки как громом поразило Семена Иоаникиевича, но у него был гость, ко-

торому следовало уделить все внимание, и потому, решив в уме, что утро вечера мудренее, Строганов занялся чествованием приезжего из Москвы и слушанием его бесконечных рассказов.

Скоро к беседе присоединились оба племянника и началось пирование.

Семен Иоаникиевич старался быть внимательным и приветливым, но все же мысль, что теперь делать, не давала ему покоя.

Беспокоился он также и об Якове, который поехал послом к тем самым Обносковым, над которыми стряслось такое дело.

«Задержат парня на Москве, ни за грош пропадет, а жаль его», — мелькало в его голове в то время, когда он угощал яствами и питьями приезжего торгового человека.

Он успел шепнуть о содержании грамотки Михаилу Яковлевичу.

— Царство им небесное! А все никто, как Бог!

— Это ты к чему же?

— Да все к тому, что я говорил намедни.

Семен Иоаникиевич ничего не ответил.

III

Он не пришел

Приезжий торговый человек из Москвы, показалось, спешил и уехал от Строганова чуть свет на другое утро. Он с вечера, или, лучше сказать, с поздней ночи, до которой затянулась беседа, простился с гостеприимными хозяевами.

На другой день Семен Иоаникиевич Строганов проснулся довольно поздно, наскоро умылся, оделся и, помолившись Богу, вышел в свою рабочую горницу. Там уже находилась Антиповна, которую он ранее приказал позвать к себе.

Старуха поклонилась в пояс.

— Звать изволили, батюшка Семен Аникич?

— Да, да... Ну что Аксюша? — спросил старик Строганов.

— Слава те Создателю, кажись, совсем поправилась, подобрела и в лице румянец есть... Не сглазить, сухо дерево, завтра пятница...

Антиповна сплюнула.

— Здорова, значит?

— Только на сердце изредка жалуется.

— На сердце... — протяжно произнес Семен Иоаникиевич. — А Ермак ходит?..

— Ходит, кажинный день ходит, свет наш Ермак Тимофеевич, дай Бог ему здоровья, вызволил нашу касаточку, голубку сизую...

— Ну, полно, поехала... — остановил ее старик Строганов. — Довольно, слушай, что я тебе буду наказывать... Ты, как придет к нам но-не этот свет твой Ермак Тимофеевич, прежде нежели пустить его в светлицу, пошли ко мне... Семен-де Аникич просит тебя к нему понаведаться... Поняла?

— Поняла, как не понять... Пришлю, бес-пременно пришлю...

— Вот и весь мой сказ тебе...

— Слушаю...

И старушка, отвесив поясной поклон, вышла из горницы. Семен Аникич сел было за счеты, но ему, видимо, в этот день не считалось. Он встал и начал ходить взад и вперед по горнице.

«На сердце жалится... — думал он. — Ну эта

болезнь не к смерти, сердце девичье отходчиво... С глаз долой и из сердца вон... Да только как быть-то? Отправил бы ее с Максимом в Москву, может, там ей суженый отыщется, кабы не такие страсти там делались, какие порассказал гость-то наш вчерашний».

Гость действительно не пожалел красок при описании того, что совершалось в то время на Москве и в Александровской слободе — у него и тут были лавки с панским товаром. Волосы становились дыбом у слушавших его Семена Иоаникиевича и его племянников. Мыслимо ли было ехать в Москву в такое время?

«Надо удалить Ермака! — неслось далее в голове Строганова. — Но лишиться человека, которому с его людьми он обязан спокойствием и безопасностью? Не согласиться ли отпустить его с людьми за Каменный пояс? Ведь есть у него царева грамота о том, что вправе воевать государевым именем сибирские земли. Ну да поговорим с ним ладком, авось что и надумаем. Он парень хороший, сам поймет, что не пара Аксюше».

В это самое время, легкий на помине, в гор-

ницу вошел Ермак Тимофеевич, истово перекрестившись на образа, и поклонился Семену Иоаникиевичу.

— Звал меня?

— Да, да, Ермак Тимофеевич, садись, дело есть до тебя...

— Дело? — повторил вопросительно Ермак Тимофеевич, садясь на лавку.

— Дело, добрый молодец, дело! Уж ты меня прости, старика, коли речь моя тебе не по нраву придется, — сказал Строганов, усевшись на лавку против него.

Ермак побледнел. Он понял, о чем будет эта речь.

— Если ты, Семен Аникич, насчет Ксении Яковлевны, — начал дрожащим от волнения голосом, — так я и сам хотел повиниться перед тобой, да боязно было...

— Тебе боязно?..

— Да, Семен Аникич, всю жизнь свою боязни не испытывал, а тут испытал, потому дело такое, от сердца идет, жизни готов лишиться, коли отнимут у меня ее...

Ермак остановился перевести дух от волнения.

— Да ты подумай, добрый молодец, что говоришь-то! Какой ты жених ей? Ведь и здесь-то живешь с опаскою... Попадись пермскому воеводе, скрутит тебя да на Москву и отправит, а там, чай, знаешь, расправа короткая...

— Чай, я здесь заслужил царю-батюшке, его людишек оберегаячи...

— Ну это, добрый молодец, еще на воде писано, поставится ли в заслугу... И нам может ох как влететь, коль прознает царь, что мы тебя и на земле поселили...

— Точно уж мои грехи такие неумолимые?..

— У Бога, добрый молодец, нет неумолимых грехов, а на земле-то ведь люди...

— Все бы попытаться надо.

— Попытать, отчего не попытать... — вдруг ухватился за это предложение Ермака Семен Иоаникиевич. — Только надо вслед за челобитьем, что пошлем царю, какую ни на есть ему еще службу оказать...

— Какую же службу?

— Да по последней царской грамоте можем мы воевать земли сибирские... Не пойдешь ли ты со своими людьми за Каменный

пояс, а мы так в челобитьи и пропишем?.. Коли удача будет, наверное царь смилуется.

— Это ты, Семен Аникич, надумал правильно, а коли неудача будет, сложу там свою буйную голову... Туда мне и дорога...

Ермак Тимофеевич хорошо понимал, что Семен Иоаникиевич Строганов решился согласиться на поход за Каменный пояс, против которого был прежде, лишь как на крайнее средство удалить его, Ермака, от племянницы, которая-де его забудет, но, несмотря на это, Ермак Тимофеевич ухватился за эту мысль, которая все-таки оставляла ему надежду.

— Зачем думать о гибели? Может, все и уладится, — поглядев на Ермака, сказал Строганов. Он и сам не верил в благополучный исход челобитья, да и даже при благополучном исходе ему не улыбалась свадьба племянницы с атаманом разбойников.

Купец Строганов хитрил, не догадываясь, что Ермак Тимофеевич хорошо распознал эту хитрость.

— Только если царь меня помилует, а уж я заслужу это, чур назад, Семен Аникич, не пя-

титесь, а веселым пирком да за свадебку.

— А у вас это с Аксиньей уже сговорено? — вместо ответа спросил Строганов.

— Есть тот грех, — тихо ответил Ермак Тимофеевич, — урывками да поладили... Коли хотел начать речь со мной о ней, сам, значит, смекнул, что полонила меня девушка, а я уж как люблю ее, жизни не хватит рассказать любовь эту.

— Вот оно что!

— Так, значит, так, Семен Аникич, все как укажешь я сделаю, из твоей воли не выйду и ты назад не пяться... Сам обещал намеренно наградить меня, чем я захочу, только за то, что я вылечил твою племянницу. Вот и требую награды. Отдай ее мне, коли царь помилует меня.

— Да ведь не ведал я тогда, о чем твоя речь была.

— Это все едино.

— Не то разумел я, думал о казне речь идет, — заметил Семен Иоаникиевич.

— Мало ты знал меня, да я и сказал тебе тогда же, что до казны не жаден, — ответил Ермак Тимофеевич.

— Так-то так, да невдомек мне тогда было... Я до вчерашнего дня ничего не подозревал; вчера только Максим надоумил...

— Что же он говорил?

— Он-то, молод он, зелен, говорил, известно, несуразное, — уклончиво отвечал старик Строганов.

Ермак Тимофеевич не настаивал на подробностях — он понял, что брат любимой им девушки на его стороне, и считал это не только добрым предзнаменованием, но и половиной дела. Он озабоченно вздохнул.

— Так как же, Семен Иоаникиевич? — спросил он после небольшой паузы.

— Ин будь по-твоему... Коли помилует царь — твоя Аксюша...

— Благодетель! — вскочил Ермак Тимофеевич и, схватив руку старика, крепко поцеловал ее.

— Что ты! Ошалел? Поп я, что ли, что ты мою руку лижешь!.. Садись, уговор еще есть.

— Уговор? — упавшим голосом повторил Ермак и покорно сел на свое место.

— Да, уговор.

— Какой же?

— До царского решения уж ты ни в светлицу, ни в хоромы ни ногой. А в поход собирайся, когда захочешь. Понадоблюсь я тебе, то знать дашь, к тебе зайду, в твоей избе потолкуем... Согласен?

— Да как же мне не согласиться-то? Твоя здесь воля, а не моя.

— А коли моя, так я ее и высказал. А в поход когда же?

— Да надо молодцов назад моих подождать, что пошли на Вагулия. С половиной-то за Каменный пояс нечего соваться...

— Так-так, ишь ты напасть какая! А когда они вернуться могут?

— Как это сказать, должны бы вскорости, а Бог их ведает...

— Оказия!.. — задумчиво произнес Семен Иоаникиевич.

— Так мне и вовсе в светлицу не ходить? — спросил Ермак Тимофеевич. Голос его дрогнул.

— Нет, уж не ходи. Антиповна сегодня мне сказала, здорова Аксюша, только на сердце жалуется. Ну да это пустое...

— Слушаю, — глухим голосом произнес Ер-

мак Тимофеевич.

— А я, как только ты пойдешь в поход с молодцами, пошлю царю челобитную, — успокоил его Семен Иоаникиевич.

Ермак встал.

— Прощенья просим, — поклонился он.

Встал и Строганов.

— До свидания... Уж ты прости меня, добрый молодец, что боль тебе причинил сердечными речами моими. Сам, чай, понимаешь, одна у меня она, племянница-то...

— В чем же ты виноват передо мною, Семен Аникич? Дело понятное... Я похуже ожидал за мои речи несуразные, — отвечал Ермак Тимофеевич.

— Умные речи приятно и слушать, — заметил Строганов.

Ермак вторично поклонился ему и вышел.

Отойдя подальше от двора, он оглянулся на хоромы строгановские прощальным взглядом. На глазах его блеснули слезы. На окна светлицы Ксении Яковлевны он взглянуть не решился.

А между тем молодая Строганова вместе с Домашей неотводно смотрели в окно. Они ви-

дели, как Ермак Тимофеевич вышел из избы и направился в усадьбу.

Ксения Яковлевна стала с нетерпением ждать его появления в светлице. Но время шло, а Ермак Тимофеевич не появлялся.

— Куда же это он запропастился? — тревожно спросила девушка Домашу.

— А може, Семен Аникич его задержал, с ним беседует...

— Да, кажись, он эти дни прямо сюда ходил.

— Ходить-то ходил, да день на день не приходится. Может, сегодня позвали его к Семену Аникичу.

— Что-то сердце у меня не на месте...

— С чего бы?

— Чует беду...

— Перестань, какая беда такая!..

— А если он говорить стал с дядюшкой?

— А разве хотел он?..

— Да, баял что-то такое, только, кажись, не собирався так скоро...

— Да и зачем спешить? Не горит под вами...

А Ермак все не шел. Девушки в волнении

ходили по комнате, заглянули в рукодельную. Там шла обычная работа и на своем обычном месте сидела Антиповна.

Ксения Яковлевна и Домаша вернулись в горницу и снова подошли к окну.

— Он уходит! Что это значит? — воскликнула Ксения Яковлевна и побледнела.

Ермак действительно приближался к своей избе с низко опущенной головою.

— И не глядит сюда, — голосом, полным отчаяния, тихо сказала девушка.

— И впрямь не стряслось ли чего? — задумчиво произнесла Домаша.

Не успела она это сказать, как Ксения Яковлевна вскрикнула и без чувств упала на пол. В светлице поднялся переполох.

IV

Сила любви

Обморок с Ксенией Яковлевной был очень продолжителен. Сенные девушки раздели ее, уложили в постель, а она все не приходила в себя, несмотря на то что Антиповна опрыскала свою питомицу водой, смочила голову винным уксусом, давала нюхать спирт. Ничего не помогало.

Ксения Яковлевна лежала неподвижно на своей постели без кровинки в лице, и лишь теплота тела да слабое биение сердца указывали, что она жива.

Старуха окончательно растерялась и побежала к Семену Иоаникиевичу.

— Что случилось? — встревоженно спросил тот.

— Обмерла, батюшка, обмерла Ксенюшка.

— С чего же это?

— А Господь ее ведает... Сама не знаю, с чего... Вдруг обмерла и упала, да теперь вот с час поди пластом лежит.

— При тебе это случилось?

— Никак нет, батюшка Семен Аникич, я в рукодельной сидела.

— А Аксюша одна была?

— Нет, с Домашей.

— Опросила ее?

— Опросила...

— Что же она рассказывает?

— Да стояли, гыть, у окна. Вдруг как-то вскрикнет, да на пол и упади. Домаша-то не успела и поддержать...

— Вот напасть-то...

— Истинно напасть, батюшка Семен Аникич. Раздели мы ее, в постель уложили, в себя не приходит. Уж чем только я ее не пользовала... Надо бы позвать Ермака Тимофеевича...

— Иди ты с твоим Ермаком Тимофеевичем, — крикнул было в сердцах Семен Иоаникиевич, но вдруг остановился и более мягким тоном произнес: — Сам-ка я пойду посмотрю ее...

Семен Аникич вместе с Антиповной отправился в опочивальню племянницы. В уме его происходила тяжелая борьба. «Ужели придется звать снова Ермака после того, как часа два тому назад он решил запретить ему встре-

чаться с Ксенией. И с чего могла приключиться вдруг такая хворь с нею? Уж не проведала ли о его сговоре с Ермаком? Да и откуда узнать ей? С ним она не виделась... Он не посмел бы пойти в светлицу против его воли...»

Но для полного успокоения он все же спросил у Антиповны:

— Ермак был?

— Не бывал ноне... Пришел было, я его к тебе, батюшка, послала, а потом он не возвращался... Кабы был, може, того и не приключилось...

— Это почему же?

— Увидал бы он, что худо становится девушке, чем ни на есть бы пользовал.

— А-а, — протянул в ответ Семен Иоаникиевич.

Он вошел в светлицу, где застал сенных девушек, сбившихся в кучу и о чем-то оживленно беседовавших шепотом. Увидев Семена Иоаникиевича и Антиповну, они бросились по своим местам и притихли. Хозяин прошел в следующую горницу.

— У какого окна она упала-то? — спросил Строганов.

— Вот у этого, батюшка, Семен Аникич, у этого...

Она указала окно, у которого обыкновенно в последнее время стояла Ксения Яковлевна. Семен Иоаникиевич посмотрел в это окно. Изба Ермака Тимофеевича с петухом на коньке бросилась ему в глаза. Он понял все.

«Она видела, как Ермак шел сюда и как возвращался отсюда. Она догадалась», — промелькнуло в его уме. Он молча пошел в опочивальню.

Ксения Яковлевна продолжала лежать без движения на постели. У ее ног на табурете сидела Домаша, печальная и в слезах. Она встала и низко поклонилась Семену Аникичу. Старик Строганов грузно опустил на табурет и несколько секунд пристально смотрел на лежавшую недвижимо племянницу.

— Пошли, Антиповна, кого ни на есть за Ермаком Тимофеевичем, — сказал он наконец с видимым усилием.

Антиповна вышла с быстротой, не свойственной ее летам. Семен Аникич остался с Домашей у постели больной.

— Чего это с ней? — шепотом спросил он

девушку.

— Не ведаю, сама не ведаю...

— Ой ли...

Домаша густо покраснела.

— Выкладывай всю правду лучше, — так же шепотом, с оттенком строгости продолжал Строганов. — Ждала она ноне Ермака?

— Ждала...

— В окно смотрела?

— Смотрела...

— И видела, как он назад пошел?

— Видела.

— В ту минуту с ней и приключилось...

— В ту же минуту...

— Что же сказала?

— Да проговорила только: «Что это значит?» Я сдуру-то молви: «Кажись, и впрямь что стряслось», а она и рухни...

— А ты все знала?

— Да что знать-то?

— Про Ермаковы шашни.

— Никаких шашень я не видала.

— Толкуй там... Я все знаю. Он мне сознался.

— В чем ему сознаваться-то, не ведаю...

Что любят они друг друга, так какие же это шашни?

— А тебе что еще надобно?..

Этот разговор был прерван вернувшейся Антиповной.

— Послала?

— Послала, батюшка Семен Аникич, послала... Чай, скоро теперь и прибудет. Дай-то Господи, как бы опять вызволил.

Старушка истово перекрестилась.

В опочивальне наступила тишина, нарушаемая лишь прерывистым дыханием бесчувственной Ксении Яковлевны.

Время, казалось, тянулось томительно долго. Наконец в соседней горнице слышались торопливые шаги. Антиповна бросилась к двери и отворила ее. В опочивальню вошел Ермак Тимофеевич, бледный, встревоженный. Он как бы не замечал никого, остановился у постели Ксении Яковлевны и с немym ужасом уставился на бесчувственную девушку.

Семен Иоаникиевич встал и приблизился к нему.

— Уж, видно, такая судьба твоя, Ермак Ти-

мофеевич... Вишь, какая беда стряслась, как только удалил тебя... — тихо произнес он.

Ермак обвел его помутившимся взглядом.

— Так и убить недолго! — прошептал он.

— Уж ты, как ни на есть, вызволи...

— Вызволи, батюшка свет наш Ермак Тимофеевич, — с воплем бросилась ему в ноги Антиповна.

Ермак быстро наклонился и поднял старуху.

— Что ты, что ты, Богу кланяйся, а не грязным людям, — сказал он. — Не сумлевайся, постараюсь... Только вот что... Уйдите отсюда все, кроме Домны Семеновны, она может остаться... Чистая девушка... Отчитать ее надо, наговором...

Семен Иоаникиевич бросил на Ермака Тимофеевича недоумевающий взгляд, отошел от него и сел на табурет.

Антиповна также не двинулась с места.

Ермак Тимофеевич несколько минут молчал, затем подошел к старику Строганову, наклонился к его уху и сказал властным шепотом:

— Слушай, купец, коли ты позвал меня сю-

да, так делай, что я приказываю... А не то я уйду, и она умрет, не приходя в себя... Ты будешь ее убийцей, да и моим, потому что я не переживу ее смерти. Нож в сердце и шабаш, других без промаха прирезывал наповал, так себя-то сумею.

Лицо Ермака было страшно. На нем застыло выражение бесповоротной решимости. Семен Иоаникиевич взглянул на Ермака и быстро встал.

— Пойдем, Антиповна... — обратился он к няньке Ксении Яковлевны.

Та послушно последовала за ним. Домаша плотно затворила за ними дверь и отошла в дальний угол опочивальни. Ермак Тимофеевич положил обе руки на плечи лежавшей без чувств девушки, низко наклонился над ней и впился в ее губы горячим поцелуем.

Это произвело почти волшебное действие. На щеках девушки вдруг появился яркий румянец. Она открыла глаза и уже сама протянула ему губы.

— Милый, желанный!

Он поцеловал ее второй раз.

— Легче тебе, касаточка?

— Теперь хорошо! — потянулась она в сладкой истоме.

На висках Ермака Тимофеевича налились кровью жилы, губы дрожали, но он осилил свое волнение.

— Отчего ты ноне не пришел?

— Прознал все Семен Аникич.

— Ты сказал?

— Нет.

— Кто же?

— Максим Яковлевич. Да ты не тревожься, он за нас, — успокоил ее Ермак Тимофеевич.

— А дядя?

— Тот пополам с горем.

— Как так?

— Да так...

И Ермак Тимофеевич в коротких словах передал Ксении Яковлевне свой разговор с Семеном Иоаникиевичем, но не стал пока говорить о намеченном им походе за Каменный пояс. Он понимал, что это известие огорчит и снова резко возбудит едва оправившуюся девушку.

— Значит, и дядя согласен... Слышишь, Домаша?

— Слышу, — откликнулась девушка из глубины опочивальни. — Говорила я, что все уладится...

— Согласен-то он согласен, — заметил Ермак Тимофеевич, — но до получения царского прощения просил не бывать ни ногой не только в твоей светлице, но и в хоромаш, да и намедни не пустил меня. Здорова-де она, так нечего зря и ходить. Иди с Богом домой... Я и пошел.

— И не посмотрел даже в нашу сторону, — тоном упрека сказала Ксения Яковлевна.

— Тяжко мне было, моя касаточка!

— Милый, желанный!

Она протянула ему свои руки. Он снова склонился к ней.

Она обняла его руками за шею. Губы их слились в горячем поцелуе.

— Э, да ну вас! Довольно вам миловаться, пора и честь знать, — не выдержала Домаша.

— И впрямь довольно, — дрожащим голосом произнес Ермак Тимофеевич, тихо освобождаясь от объятий Ксении Яковлевны.

— А теперь-то ходить будешь? — спросила тоже дрогнувшим голосом молодая Строгано-

ва.

— Теперь, кажись, настою, чтобы ходить, потому что позвал... Не я напрашивался, ну, да и пугнул я его достаточно.

— Пугнул, говоришь?..

И Ермак передал Ксении Яковлевне то, что сказал Семену Иоаникиевичу перед его уходом из опочивальни.

— Кажись, на него это подействовало, — заключил он.

— Он добрый, — задумчиво проговорила Строганова.

— Впустить, что ли? Пора уж, — спросила неожиданно Домаша.

И Ермак и Ксения Яковлевна вздрогнули. Они только сейчас вспомнили, что их свидание с глазу на глаз не бесконечно.

— Впусти, девушка, — сказал Ермак.

Домаша отворила дверь. В опочивальню вошли Семен Иоаникиевич и Антиповна. На их лицах было написано тяжелое сомнение, но, когда они увидели пришедшую в себя Ксению Яковлевну, улыбающуюся, с румянцем на щеках, их лица тотчас озарились счастливой улыбкой.

— Ну и знахарь же ты, свет наш Ермак Тимофеевич! — с умилением воскликнула Антиповна.

— Вот она, сила любви! Как с ней бороться! — прошептал Семен Иоаникиевич Строганов. — Пусть видятся... Только бы здорова была... Надо послать челобитную.

V

Московские страхи

Яков между тем ехал да ехал по дороге в Москву. Путешествие его шло благополучно.

Первое время он думал было последовать совету Ермака Тимофеевича и вернуться, отъехав на несколько сотен верст, с заявлением, что его ограбили лихие люди, но молодое любопытство взяло верх над горечью разлуки с Домашей, и он в конце концов решил пробраться в Москву, поглядеть на этот город хором боярских и царских палат, благо он мог сказать Семену Иоаникиевичу, что лихие люди напали на него под самой Москвой. В его голове созрел для этого особый план.

Он решил в Москве явиться к боярам Обносковым, заявить, что он гонец строгановский, но что лихие люди, напавшие на него под Москвою, отняли у него казну и грамотку, адресованную Степану Ивановичу Обноскову, а что заключалось в этой грамотке ему, гонцу, неизвестно. На вопросы бояр Обносковых он рассчитывал найти уклончивые ответы, о многом отзываться незнанием, и достичь того, что бояре дадут ему грамотку к Семену Иоаникиевичу Строганову и казны на обратный путь. Он купит обнов и гостинцев Домаше и, не задерживаясь долго в Москве, поедет в обратный путь.

Таков был его радужный план. Но главная заманчивость этого плана была в том, что он увидит Москву. И по дороге, от многих проезжих и прохожих людей, он слышал о ней самые необычайные рассказы. Все, впрочем, рассказчики сходились на том, что ноне на Москве жить жутко, да и приезжему надо держать ухо востро, иначе попадешь под замок, а оттуда уж и не выйдешь. Особенные ужасы рассказывали об Александровской слободе, хотя удостоверяли, что жизнь там для

опричников и полюбившихся им людей не жизнь, а Масленица.

Все эти рассказы и даже сама опасность жизни в Москве еще более воспаляли воображение Якова. Он решил довести свое путешествие до конца и даже стал спешить.

В Москве между тем действительно жить было трудно. До народа доходили вести одна другой тяжелее и печальнее. Говорили, конечно, шепотом и озираясь, что царь после смерти сына не знал мирного сна. Ночью, как бы уstraшенный привидениями, он вскакивал, падая с ложа, валялся посреди комнаты, стонал, вопил, утихал только от изнурения сил, забывался в минутной дремоте на полу, где клали для него тюфяк и изголовье. Ждал и боялся утреннего света, страшился видеть людей и явить на лице своем муку сыноубийцы.

Все эти вести доходили до народа от рядовых опричников, имевших среди московского населения родственные и иные связи.

Затем по Москве разнеслась роковая весть, что царь отказывается от престола и приказал боярам избрать из своей среды государя достойного, которому он немедленно вручит

державу и сдаст царство, так как сын его Федор неспособен, по его мнению, управлять государством. Бояре изумились этому предложению. Одни верили искренности Иоанновой и были тронуты до глубины души. Другие опасались коварства, думая, что государь желает только выведать их тайные мысли и что и им и тому, кого они признали бы достойным царского венца, не миновать лютой казни.

— Не оставляй нас, не хотим царя, кроме Богом данного, — тебя и твоего сына, — отвечали бояре в один голос.

Иоанн как бы против воли согласился оставить на себе тягость правления, но удалял от глаз своих все предметы величия, богатства, пышности. Он облек себя и двор в одежду скорби.

Все это не могло не поражать воображения московского народа. Но еще больше поверг его в смятение распространившийся слух о затеянной царем перемене веры. Поводом к этому слуху было прибытие в Москву римского посла, иезуита Антония Поссевина, игравшего некоторую роль при заключении мира

со Стефаном Баторием или, лучше сказать, приписавшего себе эту роль, так как, справедливо замечает Карамзин, не ходатайство иезуита, но доблесть воевод псковских склонила Батория к уверенности, не лишив его ни славы, ни важных приобретений, коими сей герой был обязан смятением Иоаннова духа еще более, нежели своему мужеству.

Несомненно, что Антоний Поссевин думал воспользоваться благодарностью царя и исполнить старый, но вечно новый, замысел Рима о соединении церквей. Вот объяснение слуха, проникшего в народ и вызвавшего смятение православных сердец.

Но беспокойство было неосновательно. Царь Иоанн оказался перед этой попыткой Рима на высоте православного монарха. Вот как описывает сам Поссевин в своих записках подробности этого события:

«Я нашел царя в глубоком унынии. Сей двор пышный казался тогда смиренной обителью иноков, черным цветом одежды изъясляя мрачность души Иоанновой. Но судьбы Всевышнего неисповедимы — сама печаль царя, некогда столь необузданного, располо-

жила его к умеренности и терпению слушать мои убеждения».

Изобразив важность оказанной им услуги государству российскому доставлением ему счастливого мира, Антоний прежде всего старался уверить Иоанна в искренности дружбы Стефана Батория и повторил ему слова последнего:

— Скажи государю Московскому, что вражда угасла в моем сердце, что не имею никакой тайной мысли о будущих завоеваниях, желаю его истинного братства и счастья Россия. Во всех наших владениях пути и пристани должны быть открыты для купцов и путешественников той или другой земли к их обоюдной пользе: да ездят к нему свободно и немцы и римляне через Польшу и Ливонию! Тишина христианам, месть разбойникам крымским! Пойду на них: да идет и царь! Уйдем вероломных злодеев, алчных на золото и кровь наших подданных. Условимся, когда и где действовать. Не изменю, не ослабею в усилениях, пусть Иоанн даст мне свидетелей из своих бояр и воевод! Я не лях, не литвин, а пришелец на троне, хочу заслужить в свете доброе имя

навек.

Но царь Иоанн Васильевич, выразив признательность за дружественное расположение Стефана Батория, заявил, что он уже не в войне с крымским ханом. Посол наш, князь Михайло Масальский, живя несколько лет в Тавриде, наконец, заключил перемирие с ханом. Это было вызвано тем, что Махмет-Гирей имел нужду в отдыхе, будучи изнурен долголетнею персидскою войною, в которой он помогал туркам и которая спасла Россию от его опасных нашествий в течение пяти лет.

Далее Антоний приступил к главному делу: требовал особой беседы с царем о соединении вер.

— Мы готовы беседовать с тобою, — сказал Иоанн, — но только в присутствии наших ближних людей и без споров, если возможно, ибо всякий человек хвалит свою веру и не любит противоречия. Спор ведет к ссоре, а я желаю тишины и любви.

В назначенный день Антоний с тремя иезуитами был призван в тронную палату, где застал царя, окруженного боярами, дворя-

нами и служивыми людьми.

Ответив на приветствие посла, царь Иоанн Васильевич сказал:

— Антоний, мне уже пятьдесят один год от рождения и недолго жить на свете: воспитанный в правилах нашей христианской церкви, издавна несогласной с латинскою, могу ли изменить ей пред концом земного бытия своего? День суда небесного близок: он и явит, чья вера, ваша ли, наша ли, истинная и святая. Но говори, если хочешь.

Антоний с жаром начал свою речь:

— Государь светлейший! Из всех милостей, мне оказанных, самая величайшая есть сие дозволение говорить с тобою о предмете столь важном для спасения душ христианских. Не мысли, о государь, чтобы святой отец нудил тебя оставить веру греческую: нет, он желает единственно, чтобы ты, имея деяние первых соборов и все истинное, все древнее извеки утвердил в своем царстве, как закон неизменяемый. Тогда исчезнет различие между восточной и римскою церковью, тогда все мы будем единым телом Иисуса Христа, и радости единого истинного, Богом установ-

ленного пастыря церкви. Государь! Моля святого отца доставить тишину Европе и соединить всех венценосцев для одоления неверных, не признаешь ли ты сам главного уважения к апостольской римской вере, дозволив всякому, кто исповедует оную, жить свободно в российских владениях и молиться Всевышнему по его святым обрядам, — ты, царь великий, никем не водимый к сему торжеству истины, но движимый явно волею Царя Царей, без коей и лист древесный не падает с ветви? Сей желанный тобою общий мир и союз венценосцев может ли иметь твердое основание без единства веры? Ты знаешь, что оно утверждено собором форрентинским, императором, духовенством греческой империи, самым знаменитым иерархом твоей церкви Кендором, читай представленное тебе деяние сего восьмого вселенного собора, и если где усомнишься, то повели мне изъяснить темное. Истина очевидна: приняв ее в братском союзе с сильнейшими монархами Европы, какой ты достигнешь славы, какого величия? Государь, ты возьмешь не только Киев, древнюю собственность России, но всю империю

Византийскую, отнятую у греков за их раскол и неповиновение Христу Создателю.

Антоний умолял и глядел в очи царя, ожидая ответа.

— Мы никогда не писали папе о вере, — спокойно ответил Иоанн. — Я и с тобою не хотел бы говорить о ней: во-первых, опасаясь уязвить твое сердце каким-нибудь жестоким словом; во-вторых, занимаюсь единственно мирскими, государственными делами России, не толкуя церковного учения, которое есть дело нашего богомольца митрополита. Ты говоришь смело, ибо ты поп и для того ты приехал из Рима. Греки же для нас не Евангелие, мы верим Христу, а не грекам. Что касается до Восточной империи, то знай, что я доволен своим и не желаю никаких новых государств в сем земном свете, желаю только милости Божией в будущем.

Антоний заговорил снова, утверждая, что русские новички в христианстве, что Рим есть древняя его столица.

Царь начал досадовать.

— Ты хвалишься православием, — сказал он, — а стрижешь бороду. Ваш папа велит но-

сидеть себя на престоле и целовать в туфель, где изображено распятие. Какое высокомерие для смиренного пастыря христианского! Какое унижение святыни!

— Нет унижения, — возразил Антоний, — а достойное воздаяние достойному. Папа есть глава христиан, учитель всех монархов, сопрестольник апостола Петра, Христова сопристольника... Мы величаем и тебя, государь, как наследника Маномасова, а святой отец...

— У христиан, — прервал его царь Иоанн Васильевич, — один отец на небесах. Нас, земных властителей, величать должно по мирскому уставу, ученики же апостольские да смиренномудрствуют. Нам честь царства, а папам и патриархам святительские. Мы уважаем митрополита нашего и требуем его благословения, но он ходит по земле и не возносится выше царей гордостью. Были папы действительно учениками апостольскими: Климент, Селиверст, Агафон, Лев, Григорий, но кто именуется Христовым сопрестольником, велит носить себя на седалище, как бы на облаке, как бы ангелом, кто живет не по Христову учению, тот папа есть волк, а не пастырь...

— Если уж папа волк, то мне говорить нечего! — с негодованием воскликнул Антоний.

— Вот для чего не хотел я с тобою беседовать о вере! Невольно досаждаем друг другу. Впрочем, называю волком не Григория XIII, а папу, не следующего Христову учению. Теперь оставим...

Государь ласково положил руку на плечо Антония.

Народ не входил в подробности — его соблазняло необыкновенное царское уважение, проявляемое к римскому послу. Страхи его, однако, оказались напрасными.

Да простят мне дорогие читатели то небольшое историческое отступление от нити рассказа, необходимое для того, чтобы определить настроение русского царя и народа после несчастного окончания войны и невыгодного мира с Польшею, заключенного с потерей многих областей. Взамен этих областей, к понятной радости царя и народа, явилось целое Царство сибирское, завоеванное Ермаком Тимофеевичем, подвигнутым на это славное дело ожиданием царского прощения

и любовью к Ксении Яковлевне Строгановой!
Одно вытекало из другого и обуславливало его.

VI

Возвращение Ивана Кольца

Прошло несколько дней. Ксения Яковлевна окончательно поправилась. Обморок, казалось, не оставил никаких последствий. Напротив, она выглядела свежее и бодрее, чем была ранее.

Антиповна ликовала и славилась по всему двору Ермака Тимофеевича, как чудодея-знахаря. К нему начали обращаться многие со своими недугами, и он волей-неволей должен был пользоваться болящих имеющимися у него травами. Чудодейственность ли этих трав или же сильная вера в знахаря, но больные, обращавшиеся за помощью к Ермаку Тимофеевичу, чувствовали себя лучше после данного им снадобья.

Слава его как знахаря укреплялась, к вящему удовольствию Антиповны, радовавшейся за своего любимца. Она и не подозревала,

несмотря на свою хваленую прозорливость, об отношениях Ермака Тимофеевича и Ксении Яковлевны. Не догадывались об этом и другие. В тайну были посвящены только Семен Иоаникиевич, Максим Яковлевич и Домаша, да Яков, но тот был в отъезде. Ничего не знал даже Никита Григорьевич.

К этому времени относится радостная весть, с быстротою молнии облетевшая строгановские владения о возвращении отряда казаков под предводительством Ивана Кольца с громадной добычей и взятым в плен мурзой Бегбелием.

Слух действительно оправдался. Иван Кольцо со своими людьми вернулся в поселок и привел за собой пленного мурзу. Остяки и вогуличи были прогнаны за Каменный пояс. Об этом доложил Ермак Тимофеевич Семену Иоаникиевичу.

— Что нам с мурзой-то делать? И зачем только они его в полон взяли? Прикончить разве... — спросил он Строганова.

— Зачем убивать беззащитного!

— А куда же его девать?

— Теперь он где? — спросил Семен Иоани-

киевич.

— В сборной избе, под караулом, — отвечал Ермак. — На волю выпустить — убежит, бесов сын. На запоре надо держать...

— Найдем для него и запертое место. Есть у нас каземат в нижнем этаже...

— Есть?

— Да... Никто там еще не сиживал, не приходилось живьем брать их начальников. Пусть обновит...

— Это дело, — согласился Ермак Тимофеевич.

— Теперь отдохнуть дать малость людям да с Богом за Каменный пояс, — неуверенно сказал старик Строганов.

— Скор ты больно, Семен Аникич. Ребята-то не успели и вздохнуть хорошенько, оглядеться! — раздражительно сказал Ермак.

— Я и не говорю, что это так наспех было... Повременить можно.

— Известно повременить не можно, а должно... Ты бы, Семен Аникич, хоть угощение бы какое ни на есть людям сделал да Ивана Ивановича бы наградил, чем посылать их сейчас из огня да в полымя. Не узнаю я тебя, с

чего бы ты так сменился...

— Тут сменишься... Голова кругом идет.

— С чего бы это?

— Да с тобой и с Аксюшей, — нехотя отвечал Семен Иоаникиевич. — Это ты, добрый молодец, правильно, — виноват, запамятовал... Строгановы никогда не были неблагодарными, — переменял он разговор...

— Я не к тому и говорю...

— Все это будет сделано. Если я торопил поход, так для тебя только. Ты в поход, а я сейчас с нарочным царю челобитную... Скорей пошлем, скорей и ответ получим.

— Так-то так, только ты опять, Семен Аникич, запамятовал...

— Что еще запамятовал?

— О родной твоей племяннице...

— Невдомек мне слова твои.

— А домекнуться бы надобно... В жмурки-то нам с тобой, Семен Аникич, чай, играть нечего...

Ермак остановился и вопросительно посмотрел на старика Строганова.

— Вестимо, нечего. О чем же речь-то?

— А о том, что ведомо ведь тебе, что такой

же я знахарь, как и ты, а коли Ксении Яковлевне помог, так потому только, что люб я ей.

— Ведомо, — со вздохом ответил Семен Иоаникиевич.

— А коли ведомо, так немудрено домогнуться, что от разлуки-то со мной ей не поздоровится. Как ты думаешь?

— Ну что же делать-то?

— Да я и сам денно и ночью о том думаю, не могу додуматься. И намекнуть ей о том язык у меня не поворачивается. Не гляди, что на вид здорова она, заболеть ей недолго, да так, что не вызволить...

— Да что ты?

— Верное слово...

— Оказия, я и сам ничего не придумаю.

— Да ты-то, Семен Аникич, говорил ей, что согласен на брак наш? — спросил Ермак Тимофеевич.

— Окстись, Ермак Тимофеевич, чтобы я о таких делах начал разговор с девушкой.

— Так, так...

— А что?.. К чему ты речь-то клонишь?

— А к тому, что, если бы она знала, что со-

гласен ты, может, и не так бы огорчилась, что идти мне в поход приходится. Переломила бы себя как ни на есть...

— Вот оно что...

— Обручить бы нас еще лучше бы было, — нерешительно сказал Ермак.

— Обручить? — удивленно посмотрел Семен Иоаникиевич.

— Да, для покоя ейного, чтобы не тревожилась.

— Да ведь обручение-то полсвадьбы.

— Знаю я, что пол, но не свадьба... Не заслужу царю, не помилует... Не вернусь из похода, покоен будь, найду как ни на есть могилу за Каменным поясом... Верь Ермаку, Ермаково слово твердо...

— Верить-то я верю тебе, а все же подумать надо, поразмыслить, посоветоваться с братьями ейными...

— Подумай, посоветуйся...

— Переговорю я и с Аксюшей. Только почему она мне и слова не вымолвит?

— Да как же-то, Семен Аникич, девушке!..

— И впрямь верно, — согласился старик Строганов. — Так за Бегбелием я пришлю лю-

дей, — переменил он разговор.

— Ладно, присылай.

Ермак Тимофеевич встал, простился с Семеном Иоаникиевичем и вышел из горницы.

«Обручат и к стороне... Оно лучше, вернее будет... А хитрит старик. Чует мое сердце», — мелькнуло в его голове, когда он вышел из хором и шел по двору.

Он теперь уже не забыл, отойдя от хором и подходя к поселку, посмотреть на окно светлицы Ксении Яковлевны, но на этот раз ее в окне не было. Она была в рукодельной.

Ермак не ошибался: Семен Иоаникиевич действительно хитрил и хотел выиграть время. Брак племянницы с Ермаком Тимофеевичем не был ему по душе. Хотя он чувствовал, что дело зашло уже слишком далеко, что Ермак прав и не только полный разрыв с ним, но и разлука может губительно отразиться на здоровье его любимицы Аксюши.

Надоумленный Ермаком, он решил переговорить с нею в надежде убедить в необходимости похода для блага Ермака и обойтись без обручения, которое все-таки его обязывало — оно уже являлось несомненно более се-

рьезным делом, чем простое согласие на брак.

Чтобы не откладывать в дальний ящик исполнение своего намерения, старик Строганов тотчас же по уходе Ермака Тимофеевича отправился в светлицу к племяннице. Ксения Яковлевна была, как мы уже говорили, в рукодельной, веселая, оживленная.

Увидев дядю, она бросилась радостно ему навстречу и крепко поцеловала руку. Тот нежно поцеловал ее в лоб.

Он не видел ее с того дня, когда с нею случился обморок. Рассерженный невозможно-стью разлучить ее с Ермаком, он недоволен был и ею, а выразил это тем, что не ходил в светлицу целую неделю.

— А я, дядя, о тебе соскучилась, забыл ты совсем свою Аксюшу, — заговорила девушка.

— Забыл не забыл, — несколько сконфуженно ответил он, — а дел много скопилось...

— Ну вот теперь пришел, так рада я.

— Пойдем к тебе, поговорим.

— Пойдем, дядя.

Они прошли в соседнюю с рукодельной комнату и сели на лавку.

— Ну, как здоровье твое, Аксюша? — спро-

сил после некоторой паузы старик Строганов.

— Теперь я совсем здорова. Только сердце и болит, — ответила Ксения Яковлевна.

— Ну, сердце-то не от хвори, а может, с чего другого...

Он пристально посмотрел на девушку. Та густо покраснела и молчала.

— Кажись, угадал. И отчего ты, девушка так скрытна со мной? Я, чай, тебе вместо отца. Мне бы первому надо все выложить...

— Да что же выкладывать? — спросила она шепотом, низко опустив голову.

— Будто уж и нечего?

Ответа на это не последовало.

— Стороной ведь узнал я, Аксюша, насчет Ермака-то...

— Прости, дядя, — чуть слышно произнесла она.

— Чего тут прощать... Ты мне ответь лучше все по истине...

— Что прикажешь, дядя?

— Люб он тебе?

— Люб.

— Да знаешь ли, кто он?

— Знаю, — скорее движением губ, нежели

голосом отвечала девушка.

— Разбойник ведь он, душегуб...

— Был.

— Это верно, что был... Только ведь и за прошлое тоже отвечать приходится. У самого царя он в подозрении, а здесь скрывается. В Москве-то его ведь петля ждет.

Ксения Яковлевна побледнела. Старик испугался.

— Оно, конечно, до Москвы отсюда не видать... Далеко. А все же лучше было бы ему заслужить у царя, чем ни на есть, чтобы он его помиловал...

— Не пойму я что-то, — заметила девушка.

— В поход ему надо идти, вот что...

— В поход! — вскрикнула Ксения Яковлевна.

— Да.

— Куда?

— За Каменный пояс...

— Когда?

— Да чем скорее, тем лучше.

— И я пойду с ним! — вдруг воскликнула девушка.

— Окстись!.. Как ты в поход!.. В уме ли ты,

девушка?

— Без него мне здесь не жизнь.

Ксения была бледна и вся дрожала. Семен Иоаникиевич испуганно глядел на нее. «Сейчас опять обомрет. Господи!» — неслось в его уме.

— Вернется он, заслужив царю, царь-батюшка его помилует, тогда мы сыграем вашу свадьбу...

— Не верю я в это, дядя, не верю...

— Ты мне не веришь, Аксюша? — тоном упрека сказал старик.

— Время ты хочешь протянуть. Из похода он может и не вернуться. Убьют его там, думаешь...

— Аксюша, Аксюша, какие ты речи ведешь для меня обидные!

— Прости, дядя, не могу я расстаться с ним. Отпусти меня с ним в поход... Или я умру.

Она в изнеможении откинулась к стене.

— Ну, хорошо, я обручу вас до похода... Пойми же, шалая девушка, нельзя выходить замуж за непрощенного разбойника. Ермак идет в поход волею, чтобы заслужить себе царское прощение. Он сам скажет тебе о том.

А ты ему препятствуешь... Препятствуешь сама своему счастью...

— Счастью! — со вздохом повторила Ксения Яковлевна. — Нет, видно, не видать мне счастья!

Она горько заплакала.

VII

На старуху бывает проруха

Семен Иоаникиевич окончательно растерялся. Он вообще не мог видеть слез, а слезы племянницы положительно терзали его душу.

— Перестань, Аксюшенька, перестань... Что с тобой?.. Зачем же плакать?.. Чего убиваться?.. — прерывающимся голосом говорил он.

— Я люблю его, люблю... — шептала сквозь слезы Ксения Яковлевна.

— Ну и люби, ведь не мешаю я тебе. О твоём же счастье забочусь, чтобы мужа твоего будущего из-под царского гнева вызволить, а ты в слезы.

— Не любите вы его, не любите...

— Да кто тебе сказал о том?.. Кажись, сам Ермак скажет, что он мною обласкан, — отвечал Семен Иоаникиевич. — А что не такого жениха я тебе прочил, это верно... Прямо скажу, да и Ермак это знает и понимает. Ну да, видно, судьба... Того, за кого я метил тебя отдать и к кому послал грамотку, уж нет на этом свете...

— Боярин умер! — воскликнула девушка.

Трудно было разобрать, что было в тоне этого возгласа: радость или удивление?

— Отдал Богу душу, царство ему небесное.

— Отчего?

— Не угодил царю и казнен вместе с отцом своим...

— Ах, страсти какие на Москве деются! А ты меня, дядя, на Москву отправлять хотел... Бояре-то Обносковы, чай, не разбойники, а вот что...

Она не договорила и снова заплакала.

— Перед царем все равны, кого захочет — казнит, кого захочет — помилует...

— Вот видишь, — прошептала Ксения Яковлевна.

— Да скажи ты мне толком, о чем ты пла-

чешь-то, чем ты несчастная-то? — уж с некоторым раздражением в голосе спросил Семен Иоаникиевич.

— Разлучить вы хотите меня с ним, разлучить...

— Никогда и в мыслях того не было... Ни у меня, ни тем паче у братца твоего... Намедни он за тебя да Ермака во как на меня напустился.

— В поход его гоните...

— Кто его гонит? Сам идет. Давно уже этот поход он в мыслях держит.

— Ни в жизнь не поверю!

— Тьфу ты!.. — даже сплюнул старик Строганов. — Не сговориться с тобой, с шалой... Пойду пошлю за Ермаком, пусть он тебя сам усовестит. Кажись, уж на все согласен, судьбу твою устроить хочу по твоему желанию, а ты, на поди, ревешь, как белуга... Вылечил от хвори, пусть вылечит тебя и от дурости.

Семен Иоаникиевич снял руку с плеча племянницы, встал с лавки и быстро вышел. Ксения Яковлена не удерживала его.

Антиповна, заметив, что хозяин прошел через рукодельную не в себе, поспешила к

своей питомице.

— Что, моя касаточка, что, моя голубушка сизая... Чем изобидел дядюшка, что ты слезы льешь, глазки свои портишь распрекрасные! — подсела старуха к Ксении Яковлевне. Та молчала, продолжая плакать. — Ответь же ты мне, моя ласточка, что ты сделала супротивного против дядюшки, что он обидел тебя, свою любимицу? Николи того не бывало.

— Он в поход идет, — сквозь слезы тихо проговорила Ксения Яковлевна.

— Кто в поход? Семен Аникич... — удивленно посмотрела на нее Антиповна.

— Нет, Ермак.

— Ермак... — повторила еще более удивленно старуха. — А тебе-то что... Ты здорова, от хвори он, дай ему Бог здоровья, тебя вызволил, что же тебе еще от него надобно?..

— Я люблю его, няня, люблю...

Антиповна отняла руку от талии своей любимицы и встала.

— Что-о!.. — произнесла она, как бы требуя повторения этого поразившего ее признания. Но девушка не повторила его. Она сидела, низко опустив голову и закрыв лицо рукавом

сорочки. Крупные слезы продолжали капать на ее голубой штофный сарафан.

— Опомнись, девушка, в уме ли ты, что такие говоришь речи несуразные?.. Если ты и впрямь дяде все это вымолвила, то мало он изобидел тебя, побить тебя надо!

— Ах, не то совсем, няня, ты не понимаешь, — возразила Ксения Яковлевна, вытирая глаза рукавом сорочки.

— И понимать не хочу я! Да и чего понимать-то?..

— Дядя согласился.

— На что согласился?

— На нашу свадьбу.

— Известно дело, что согласился на свадьбу с боярином, для того и послали ему грамотку.

— Не с боярином, а с Ермаком Тимофеевичем.

— С нами крестная сила, — перекрестилась истово старуха, — ума решилась девушка. И с чего это с тобой случилось, бедная?

— Что ты, няня, я в своем уме...

— Кабы в своем была, не взводила такой поклеп на Семена Аникича, что согласился

выдать тебя за разбойника заместо боярина...

— Боярин-то этот на том свете...

— Как так?

— Да так, мне дядя сейчас сказал, согрубил он царю-батюшке, тот его и казнил...

— Да что ты! Правду баешь, девушка?..

— Как есть правду истинную.

— Царство ему небесное, место покойное, — истово перекрестилась Антиповна. — А Ермака-то боярином что ли сделали?..

— Нет, не сделали, — сквозь слезы улыбнулась Ксения Яковлевна, — челобитье об нем к царю пойдет о прощении. В поход он собирается за Каменный пояс, заслужить царю хочет.

— Что ж, это хорошее дело.

— Оттого и плачу, что дядя меня с ним не пускает...

— Куда с ним?

— В поход...

Антиповна посмотрела на питомицу с удивлением, смешанным со страхом. «Что бы это значило? — неслось в ее уме. — Говорит девушка как будто и разумно, а вдруг начнет такое, что мороз по коже подирает. Али надо мною, старой, шутки шутит?.. Как может со-

гласиться Семен Аникич выдать ее замуж за Ермака, коли его не сделали боярином?»

В уме старухи не укладывалась мысль о возможности брака ее питомицы не с боярином. «Самому царю-батюшке и то бы в пору такая красавица», — думала Антиповна, глядя на свою любимицу. И вдруг что? Ее сватают на Ермака, за разбойника... Она, когда он сделался ее любимцем, вызволившим от хвори Ксению Яковлевну, мекала его посватать за одну из сенных девушек, да и то раздумывала, какая решится пойти, а тут на поди... сама ее питомица. Антиповна отказывалась этому верить.

— Не пойму я что-то, Ксюшенька, какие ты речи ведешь странные... То, что дядюшка согласен на твою свадьбу с Ермаком, то, что ты в поход с ним просишься... Опомнись, касаточка, может, не по себе тебе? Голова, может, болит?

— Да нет же, няня, я говорю только правду. Уж давно я люблю его... Оттого мне и недужилось. Как стал он ходить, мне и полегчало, а не от его снадобья.

— Это ты оставь, снадобье полезительное.

Не тебе одной, а и другим помогло, — остановила ее старуха.

— Может быть. Только мне полегчало от того, что я увидела его, моего желанного...

— Стыдись! Что говоришь, девушка!

— Что мне стыдиться, няня? Дядя хочет обручить нас.

Антиповна молчала. Она поняла, что ее питомица говорит серьезно, что это не бред ее больного воображения, что сватовство Ермака совершившийся факт, что Семен Иоаникиевич действительно дал свое согласие. «Из ума выжил старый!» — мысленно она пустила по его адресу.

— Не дело ты, девушка, затеяла, — сказала она после продолжительной паузы.

— То есть как это?..

— Да так... Какая же тебе пара Ермак Тимофеевич?.. Красавице этакой, богачке. Да и что скажет братец Максим Яковлевич?..

— Он согласился еще раньше дяди. Ермак сказал о том...

— Ишь ты, все как сговорились. Но ведь в том твоя воля, девушка?

— Известно, моя.

— Так чего же ты петлю-то на шею себе захлестываешь?

— Что ты, няня!

— Давно я твоя няня, — с сердцем сказала старуха. — Оттого-то и режу тебе в глаза правду-матку. Никто тебе не скажет того, что я скажу. Так и знай, а теперь слушай...

— Слушаю, няня.

— Ермак человек вольный. Какой он муж? Волк он.

— Как волк? Что ты, няня!

— Известно, волк, так и Семен Аникич надясь сказал, что волк он.

— К чему же он это?

— А к тому, что хотела я ему сватать какую ни на есть из твоих сенных девушек, да и брякнула о том Семену Аникичу, а он мне в ответ: Ермака-де женить нельзя, так как он волк, сам говорил мне. Как его ни корми, он все в лес глядит.

— Но дядя не знал того...

— Чего он не знал?

— Что он любит меня...

— Знал ли он про то или нет — не ведаю, только вот его сказ какой был.

— От меня он в лес не захочет...

— Все, Ксюшенька, до поры до времени. Мужик-то полюбит скоро, да не споро.

— Он говорит, что никогда никого не любил...

— Язык-то без костей.

— Я верю ему.

— Эх ты, простота! Долго ли провести тебя и вывести... А все я, старая дура, виновата.

— В чем же?

— А в том, что не соблюла тебя. На Домашу негодную положила. Смерть не люблю-де этого Ермака, — в уши она мне нашептывала. А это она мне глаза отводила, вас покрываючи. Уж подлинно и на старуху бывает проруха. Подожди, задам я ей ужо...

— Ты, няня, на нее не гневайся, ведь это она для меня старалась.

— Уж и постаралась...

— А так было бы лучше, когда бы умерла я?.. — с упреком сказала Ксения Яковлевна.

— Уж не знаю, Ксеньюшка, что и сказать тебе... Может, и лучше бы...

— Так-то ты меня любишь?..

— Люблю-то я тебя, Ксюшенька, как мать

родная... Только не говори ты мне об этом, не расстраивай сердце мое. И дядя и братцы есть у тебя. Коли отдадут они тебя на погибель, их дело, родное, да хозяйское, не мне, холопке, перечить им в чем-либо. Только бы выгнала я в три шеи Ермака и из хором и с земли...

Ксения Яковлевна вспыхнула и встала быстро с лавки.

— Ты, нянька, говори да не заговаривайся... Люблю я тебя, благодарю тебя за любовь твою, заботы и ласки, но обидеть жениха моего нареченного не дам, так и знай.

Щеки девушки пылали румянцем, глаза метали искры, все лицо выражало сдерживаемый гнев. Антиповна никогда не видала ее такой. «Вся в отца, тоже кипятик был», — подумала она.

— Так и знай! — повторила девушка.

— Прости меня, старуху, сорвалось. Слово ведь не воробей, вылетит — не поймаешь.

— Я напередки говорю, не о нынешнем...

— Напередки не буду. Делайте как знаете... Я, видно, и впрямь из ума выжила, ничего не пойму ровнехонько.

— Да и понимать нечего, — отвечала моло-

дая Строганова. — Чем Ермак Тимофеевич хуже других?.. Что атаман разбойников был, так нужна в разбой-то гонит да неправда людская, волей никто не хватится за нож булатный... Нашел здесь правду, сел на землю, смирно сидит, всех нас охраняет, недавно спас от кочевников... Далеко до него любому боярину, и красив, и умен, и храбр, и силен...

Девушка, видимо, говорила все это отчасти со слов Ермака Тимофеевича, успевшего всю свою прошлую жизнь оправдать перед своей будущей женой.

— Ин будь по-твоему, — согласилась Антиповна.

— Известно, по-моему, коли я правду говорю, — заметила Ксения Яковлевна. — Крикни-ка мне Домашу.

Старуха молча вышла, качая головой и что-то ворча себе под нос.

VIII

Семейный совет

Семен Иоаникиевич Строганов, выйдя из Светлицы, прямо отправился в свою горницу и приказал Касьяну позвать к нему племянников. Максим Яковлевич и Никита Григорьевич тотчас явились на зов своего дяди. Оба они, вошедши в горницу и усевшись на лавки, увидали по лицу Семена Иоаникиевича, что случилось что-то необычное.

Максим Яковлевич догадался, но Никита Григорьевич, не посвященный еще в семейную тайну, спросил:

— Что с тобой, дядя?

— Ничего, поговорить мне надо с вами, дело одно обсудить важное...

— Не насчет ли Бегбелия?.. Я сейчас его видел, заперли его в каземате. Рослый такой старик, видный, хоть бы и не татарину быть...

— Не до Бегбелия нам теперь, — вздохнул Семен Иоаникиевич, — в доме у нас неладно...

— В доме?.. — удивился Никита Григорье-

вич. — Ничего не слыхал. Что случилось?

— Вот он знает! — кивнул старик Строганов головой в сторону Максима Яковлевича.

Никита Григорьевич поглядел на двоюродного брата:

— Что такое, Максим?

— Дядя, наверное, говорит об Аксюше?

— Что же с ней? Кажись, она здорова. Ермак, я слыхал, ее пользовал — знахарем оказался, кто бы мог подумать.

— Не в том дело, Никитушка, сестра-то с ним слюбилась...

— С Ермаком?.. Да что ты! Вот дела...

— Верно. Без него изводится да хворает, а как ходит он — здоровешенька... Вот в чем его знахарство.

— Вот оно что... Чего же нянька-то смотрела?

— Да как ей усмотреть?

— Ты-то что об ней думаешь? Ведь твоя родная сестра, — спросил Никита Григорьевич.

— Я рассчитываю так, чтобы челобитье подать об Ермаке-то, а как царь простит, так чем же он не жених Аксюше... Парень хоро-

ший, ее любит, она его тоже, богатства ей не занимать стать... Только дяде это не по мысли. Осерчал на меня даже, как я сказал о том.

— Ноне я переменял свои мысли, — со вздохом заговорил Семен Иоаникиевич, — согласен я на брак их только после того, как получит он царское прощение. Как, Никита?

— Что же я?.. Я тоже согласен. Мне Ермак нравится, душевный парень, да еще коли Аксинья без него изводится, это тоже надо в расчет принять. Как тут иначе поступишь?.. — отвечал Никита Григорьевич.

— Поэтому-то и я уж согласился... И даже сказал ей о том... — заметил старик Строганов.

— Что ж, она обрадовалась? — почти в один голос спросили оба племянника.

— Куда тебе! Ревет белугой...

— С чего же?

— Говорю ей толком, что надо-де Ермаку заслужить царское прощение, а для этого надумал он в поход идти со своими людьми за Каменный пояс, воевать сибирские земли... Так зачем уходить...

— Вот оно что! — заметил Никита Григо-

рьевич.

— Отпусти, говорит, меня с ним в поход, да и только... Я ее и так и сяк уговаривать... Ничего не помогает, стоит на своем, уперлась, как норовистая лошадь! Я даже плюнул... Надумал послать к ней Ермака ее от дури пользоваться, может, вызволит. Да и с ним я сегодня беседовал... В поход он идет с радостью, только просит обручить перед походом. Ему я сказал, что подумаю да посоветуюсь, а этой шалой уже на свой риск и страх обещал. Только и это не подействовало. Так вот, как вы, братья ее, решите?

— Я согласен. Обручить так обручить. У меня есть какое-то предчувствие, что царь простит его. Ну а если... Обручение не брак, — сказал Максим Яковлевич.

— И Ермак говорит то же самое. Заслужу, говорит, царю или не вернусь домой и найду себе там могилу. Слово дал...

— Ермаку верить можно, — заметил Максим Яковлевич.

— В ты что скажешь, Никитушка? — обратился Семен Иоаникиевич к Никите Григорьевичу.

— По мне тоже, отчего не обручить, обоих успокоить... Коли полюбили они друг друга, дело, значит, решенное, не перерешать стать, — ответил тот.

— Так я так и буду поступать. Пошлю Ермака уговаривать ее... Обручим на днях, а там пусть в поход собирается, а мы царю напишем челобитную. Правильно?

— Правильно, — ответили оба племянника.

На том и порешили. Семен Иоаникиевич сразу повеселел. Его всегда беспокоило дело, пока оно еще не обдуманно, не решено. А тут все шло, как было намечено. Проводив племянников, Семен Иоаникиевич послал на Ермаком Тимофеевичем, решив вместе с ним посмотреть заключенного Бегбелия да, кстати, и потолковать об Аксюше, об обручении.

Ермак не заставил себя ждать.

Несмотря на то что его застали в задушевной беседе с его другом Иваном Кольцо, которому он открывал свое сердце и, кстати, свои замыслы о скором походе за Каменный пояс, Ермак Тимофеевич тотчас же приоделся и отправился в строгановские хоромы.

Семен Иоаникиевич его встретил почти радостно:

— Пойдем, Ермак Тимофеевич, поглазеем на нашего пленника... Бегбелия-то пристроили...

Они вышли из хором и направились, минуя кладовые, в которых хранились и военные припасы, к дальнему углу хором, завернули за угол и очутились у железной двери, запертой громадным висячим замком. Это и был каземат, в котором сидел пленный мурза Бегбелий.

— Входить к нему нечего, мы посмотрим в оконце, — сказал старик Строганов.

Они подошли к находившемуся недалеко от двери окну, заделанному крепкой и частой железной решеткой. Каземат представлял собой просторную горницу с койкой, лавкой и столом. За столом сидел пленный мурза, облокотившись и положив голову на руки. О чем он думал? О постигшей ли его неудаче, о просторе ли родных степей, а быть может, и об осиротевшей семье, жене и детях?

Ермак вспомнил, что и он так часто сидел у себя в избе, думая о Ксении, и в сердце его

закралась жалость к этому дикому кочевнику, но все же человеку. Еще минута, и он готов был броситься в ноги Семену Иоаникиевичу и умолять дать свободу пленнику. Но этого было нельзя — мурза слишком опасен. Ермак пересилил себя и отошел от окна.

— Старик благообразный, действительно точно и не татарин, — сказал Семен Иоаникиевич, вдоволь насмотревшись на пленника, который даже не повернул головы к засло-
ненному людьми окну.

— Всякие среди них бывают! — заметил Ермак Тимофеевич.

— Ну, теперь пойдем поговорим о твоём деле, — сказал старик Строганов.

У Ермака невольно сжалось сердце, но он молча последовал за Семеном Иоаникиевичем.

— Садись... — сел на лавку старик Строганов, когда они вернулись в хоромы, и указал на место рядом с собою Ермаку Тимофеевичу.

— В сорочке ты, наверно, родился, добрый молодец, все по-твоему деется... Поговорил я с племянницей, и решили мы обручить вас с Ксенией до похода.

— Да ужели, Семен Аникич, отец-благодетель?..

Ермак сорвался с лавки, упал перед стариком на колени и, поймав его руку, стал целовать ее.

— Да ну тебя, вставай! Что на коленях елозишь... И какие же вы с Аксюзей оба шальные. Вставай, вставай...

Ермак встал.

— С Аксюзей? — переспросил он.

Нечаянно он произнес в присутствии третьего лица, кроме Домаши, это ласкательное имя и смутился.

— Да, с Аксюзей. Гуторил я с ней часа два тому назад... Так и слышать не хочет, чтобы ты в поход шел. Вместе с ним пойду, говорит... Ведь вот какая несуразная.

Ермак Тимофеевич улыбнулся:

— Это девушка уж сгоряча ляпнула...

— Как сгоряча! С час уговаривал, ревет белугой, да и только.

— Плакала? — тревожно переспросил Ермак.

— Какой там плакала! Белугой ревела, говорю. Пойдем вместе к ней, уговори хоть ты...

Хворь из ней выгнал, теперь дурь выгони, будь отец-благодетель.

Все это проговорил Семен Иоаникиевич с добродушной улыбкой.

— Пойдем, Семен Аникич, я думаю, что уговорю ее.

И они отправились в светлицу.

Антиповна с сенными девушками, бывшая в рукодельной, хотя и встала, чтобы поклониться вошедшим, но недовольно покосилась на них.

— Ишь, старый, жениха выискал! — чуть слышно проворчала старуха.

Во второй горнице обе подружки сидели на лавке рядом и о чем-то шептались. Появление гостей было, видимо, для них неожиданным. Домаша, отвесив низкий поклон вошедшим, выскочила в рукодельную.

— Полюбуйся вот, Ермак Тимофеевич, на невесту твою... Глаза-то точно луком два дня терты, — полушутя-полусерьезно сказал Строганов, целуя племянницу в лоб.

— Частый я гость у тебя, Ксения Яковлевна, — сказал Ермак.

— Милости просим.

— Надоест боюсь.

— Грех и думать это.

— А плакать-то еще больше грех, Ксения Яковлевна, — серьезным тоном сказал Ермак Тимофеевич. — Нам уж таиться от Семена Аникича нечего, коли он тебя, девушка, невестой моей назвал.

— Что со слезами поделаешь, коли льются... — отвечала девушка.

— Зря им литься нечего. Слышал я от Семена Аникича, что ты, девушка, слезы льешь о том, что я в поход иду. Так это несуразно. Мало, значит, ты любишь меня.

Ксения Яковлевна, сидевшая до сих пор с опущенными долу глазами, подняла их и поглядела укоризненно на Ермака Тимофеевича.

— Повторяю, мало ты любишь меня... В поход я пойду, обручившись с тобой, а ведь тебе ведомо, что мне надо заслужить царское прощение. Не хочу я вести тебя, мою лапушку, к алтарю непощенным разбойником, да и не поведу. Умру лучше, так и знай. Люблю я тебя больше жизни и не хочу на тебя пятно позора класть. Поняла меня, девушка?

— Поняла...

— А со мной в поход, кабы и женой моей была, идти нельзя. Какой уж поход с бабами... Мало ли ратных людей в поход идет, а невесты и жены их дома сидят, молятся за них... Твоя чистая молитва девичья лучше всякой помощи, всегда будет со мной и от всякой опасности меня вызволит. Будешь молиться обо мне?

— Буду... — дрожащими губами произнесла девушка.

— Вот ты и опять плачешь, Ксения Яковлевна, надрываешь мое сердце молодецкое. Каково мне видеть-то это?.. Зачем так огорчать меня?.. — заметил Ермак.

— Я не плачу, — сквозь слезы улыбнулась Ксения Яковлевна.

— Вскорости мы с тобой обручимся. Значит, ты, моя невеста нареченная, веселая должна быть и радостная. Прикажи своим сестрам и подружкам песни петь веселые, свадебные, величать тебя и меня прикажи... А ты слезы лить задумала, точно хочешь, чтобы надо мною беда приключилась.

— Что ты, что ты, Ермак Тимофеевич, —

испуганно сказала девушка.

— А если не хочешь, так вытри слезы, чтобы их не было...

Ксения Яковлевна быстро вытерла глаза рукавом сорочки.

— Так-то лучше... Вернется Ермак твой из похода, заслужив прощение, весело отпразднуем свадьбу и заживем мы с тобой, моя ласточка, родным на радость, себе на удовольствие.

Ксения Яковлевна жадно слушала эти слова. На лице ее играла уже действительно радостная улыбка.

Ермак Тимофеевич и на этот раз оказался знахарем.

«Поди ж ты, а я что ни говорил, как в стену горох», — думал Семен Иоаникиевич.

IX

Обручение

Со следующего дня светлица Ксении Яковлевны Строгановой стала действительно оглашаться свадебными песнями. Запевалой была Домаша. Она была так довольна тем, что исполнилось заветное желание ее молодой хозяйюшки и подруги, что забыла свое личное горе, щемящую сердце тоску в разлуке со своим милым. Кроме того, она сознавала, что была не последней спицей в колеснице в деле сватовства Ермака Тимофеевича. Это льстило ее самолюбию, она гордилась этим. Уж на что зорка Антиповна, а она, Домаша, провела ее.

Девушка была довольна собой, счастлива счастьем Ксении Яковлевны и заливалась соловьем в девичьей. Даже Антиповна, все еще дувшаяся на всех вообще и на «негодяйку Домашку» в частности, заслушивалась оглашавшими рукодельную песнями:

*Во лузях, во лузях,
Таки во лузях, зеленых лузях*

Выросла, выросла,
Вырастала травка шелковистая.
Расцвели цветы лазоревые
В той траве, в той траве.
И я в той траве выкормлю коня,
Выкормлю, выкормлю,
И я выкормлю, выглажу его,
Подведу, подведу,
Подведу коня к батюшке.
Батюшка, батюшка!
Уж ты батюшка родимый мой!
Ты прими, ты прими,
Ты прими слова ласковые,
Полюби, полюби,
Полюби слова приветливые,
Не давай, не давай,
Не давай меня за старого замуж,
Старого, старого,
Я старого насмерть не люблю,
Со старым, со старым,
Я со старым гулять не пойду.
Ты отдай, ты отдай,
Ты отдай меня за ровнюшку,
Ровнюшку, ровнюшку,
И я ровнюшку душой люблю.
С ровнюшкой, с ровнюшкой.
Я с ровнюшкой гулять пойду.

Эта песня, которую так любила слушать

Ксения Яковлевна по несколько раз в день, пелась ее сенными девушками, сменяясь дружкой.

*Уж я золото хороню, хороню...
Чисто серебро хороню, хороню.
Думай, гадай, девица,
Отгадай, красная,
В мои руки былица,
Змеиное крылице.
С дворянством проиграла, проиграла,
Вечер перстень потеряла, потеряла,
Пал, пал перстень
В калину, малину,
Очутился перстень
Да у дворянина и т. д.*

Лились звуки и других свадебных и подблюдных песен, и мастерицы были петь их сенные девушки молодой Строгановой.

— Эх, Якова нет с балалайкой, — заметила как-то раз Ксения Яковлевна, наклонившись к уху Домаши. — Как раз бы кстати...

Домаша вдруг оборвалась на взятой ею ноте, губы ее дрогнули, на глазах блеснули слезы. Пение на мгновение смолкло, но это мгно-

вление показалось для молодой Строгановой целой вечностью. Она спохватилась и поняла, что задела неосторожно за больное место сердца своей любимицы. Но та, впрочем, пересилила себя, только с укоризной взглянула на Ксению Яковлевну. «Ты счастлива, так думай же о несчастьи других!» — казалось, говорил этот укоризненный взгляд.

— Прости меня, Домаша! — виновато прошептала Ксения Яковлевна.

Девушка вместо ответа как-то особенно залихватски завела новую песню:

*Во саду ли, в огороде девушка гуляла,
Невеличка, круглоличка, румяное личико.
За ней ходит, за ней бродит удалой молодец,
За ней носит, за ней носит дороги подарки,
Дороги подарки, кумач да китайки,
Кумачу я не хочу, китайки не надо!*

Но Ксения Яковлевна не успокоилась таким напускным весельем Домаша. Она поня-

ла хорошо, что пережила подруга от ее опрометчивого слова. В тот же вечер она подарила ей бусы и ленты и всячески старалась утешить.

— Не кручинься, моя милая. Приедет он, скоро приедет... — говорила она.

— Да я и не кручюсь. Мне что?.. Захотел погулять и гуляй вдосталь. Нужда мне в нем велика, подумаешь!.. — с напускным раздражением говорила Домаша.

— Ты мне глаза не отводи, ведь видела я сегодня, что случилось с тобой, как я сдуру вспомнила о нем, — взволнованно сказала Ксения Яковлевна. — И чем я заслужила, что ты от меня скрытничаешь, когда я всю душу перед тобой выкладываю...

— Ох, Ксения Яковлевна! — воскликнула Домаша. — Не перед тобою я скрытничаю, а перед собой...

В голосе ее слышались слезы.

— Как так?

— Да так... Самой перед собой скрыть хочется, что любила я его, недостойного.

— Чем же он недостойный?

— Любит, видно, меня мало, коли пропал и

не возвращается... Ведь надумил его Ермак Тимофеевич, чтобы он отъехал немного да и вернулся бы, а он, поди ж ты, кажись, попусту в Москву норовит попасть... Точно нужда гонит.

— Посмотреть на Москву любопытно. Может, никогда не придется, — заметила молодая Строганова.

— Кабы любил по-настоящему, ничего бы, кроме меня, любопытно не было.

— Ишь ты какая... А вот Ермак меня любит, а в поход идет. Я было тоже плакать задумала, да не велел он, я и перестала...

— Особое это дело, Ксения Яковлевна.

— Чем же особое?

— В поход он перво-наперво неволею идет, а второе — он ратный человек, в поход ходить — его служба. А Яшка что? На печи здесь сидел да на балалайке потрынкивал, вот и вся его служба.

— Он тоже не по воле поехал, а послали его, — возразила Ксения Яковлевна.

— Кабы вез он в Москву грамотку, то слова не сказала бы, а то ведь понесло его туда с пустыми руками. Вот что обидно... Кажись, ка-

бы умер он, не так мне было бы больно.

— Что ты, девушка, говоришь несуразное!

— Поистине, Ксения Яковлевна, знала бы, что любит он... Не ворочается скоро не по своей воле, а ранен или убит лихими людьми... Всю жизнь бы по нем прогоревала бы, на мужика-то бы ни на одного не взглянула, а все было бы легче сердцу моему девичьему, чем знать, что он попусту прохлаждается, себя прогуливает, а обо мне, видно, и думушки нет в его пустой башке.

— Что это ты, девушка? Не накликай на самом деле на его голову.

— Говорю, легче было бы мне, легче... — каким-то болезненным стоном вырвалось у Домаша.

— А может быть, он поехал в Москву для тебя же...

— Для меня?

— Тебе за обновами да гостинцами.

— Велика мне нужда в его обновах да гостинцах... Швырну их ему в глаза бесстыжие, — с сердцем отвечала Домаша.

Но разговор этот все же несколько успокоил ее.

Весть о предстоящем обручении Ермака Тимофеевича с Ксенией Яковлевной быстро облетела не только усадьбу Строгановых, но и оба поселка, прошла даже до самых далеких заводов, и, как это ни странно, никто по этому поводу, как говорится, не дался диву. Имя Ермака было окружено для всех таким ореолом молодечества, которое для простых людей русских вполне заменяло благородство происхождения.

— Бояре-то царские лиходеи и захребетники, а Ермак вольный ратный человек, молодец во всех статьях... Чем же он не жених любой девушке? — рассуждали люди и радовались на завидную парочку.

— Лиха беда обабиться. Пропадет молодец для ратного дела... Какой уж он атаман, коли с женой на пуховиках будет нежиться! — ворчали его старые товарищи по привольной жизни на Волге.

— Это кого как... Ермака не обабишь, — слышались возражения.

— Баба черта обломает, а не то что Ермака...

— Ермак, братцы, в ратном деле и черта за

пояс заткнет. Такие шли толки.

Ермак Тимофеевич между тем по праву жениха бывал ежедневно в светлице у Ксении Яковлевны и проводил там по несколько часов, слушая песни сенных девушек. На этих свиданиях присутствовала и Антиповна, примирившаяся с мыслью о браке своей питомицы с Ермаком Тимофеевичем и даже решившая в уме, что царь, узнав о его службе, сделает его боярином.

«Все в царской воле, — думала она, — были бояре Обносковы, нет бояр Обносковых. Отчего же и Ермаку не быть боярином?.. Парень всем взял — и умом, и отвагой...» Так мечтала старуха.

Иногда ее заменяла Домаша. С нею молодым людям было, конечно, вольготнее — на долю Ермаку выпадали и лишнее нежное слово, и поцелуй.

С Семеном Иоаникиевичем он виделся также ежедневно. Они серьезно обсуждали вместе с молодыми Строгановыми предстоящий поход за Каменный пояс. И Максим Яковлевич, и Никита Григорьевич хотели идти с Ермаком, но последний благоразумно отгово-

рил их.

— Не дело вы задумали, добрые молодцы. Здесь вы нужны на подмогу дяде, да и в случае нападения кочевников... Кто же примет начальство над людьми? С хозяевами и все дворовые люди, и старые поселенцы охотно пойдут в бой и отразят нехристей, а нашим довольно и меня с Кольцом. С ними мы управимся... Мы их знаем и они нас... Да и дело ведь оставить на одного дядю нельзя, в годах уже он, а вы молоды... С кем ему будет тут посоветоваться?

Улещенные такими речами Ермака, молодые Строгановы отбросили мысль о походе, но все же принимали горячее участие в его обсуждении.

Решили построить челны и идти водой по реке Чусовой в глубь Сибири. Толковали о количестве необходимого оружия и припасов. Словом, не оставили ни одной подробности без всестороннего рассмотрения и обсуждения. Все было предусмотрено.

Относительно обручения также было все решено. Через неделю после того, как Ермак Тимофеевич был объявлен женихом Ксении

Яковлевны, в хоромы был приглашен отец Петр, священник церкви во имя преподобного Иоаникия Великого, который и обручил молодых кольцами, привезенными с нарочным из Перми.

Нарочному было заказано не говорить в Перми, зачем понадобились кольца. Семен Иоаникиевич хотел, чтобы обручение осталось тайной до поры до времени. Преданный слуга Строгановых был не из болтливых.

После отслуженного в парадной горнице второго этажа молебна с водосвятием священник обручил жениха и невесту, после того как Семен Иоаникиевич и Лукерья Антиповна благословили их святыми иконами.

Весело провели этот день не только в усадьбе Строгановых, но и в ближайших поселках. Пировали до утра. Вино, мед и брага лились рекой, много было съедено и мяса, и пирогов, и другой разной снеди, много искренних пожеланий несло к обрученным и лично и заочно.

Сенные девушки, подкрепившись наливками да сладостями, особенно изощрялись в песнях, славивших молодых: «князя и княги-

нюшку», «лебедя и лебедушку», «сокола да голубку сизую».

Все веселились от души. Одна Домаша нет-нет да и затуманивалась, вспомнив о своем Якове.

Хоть и говорила она Ксении Яковлевне, что легче было бы ей, если бы умер он, но все же сильно сжимала ее сердце мысль, что, быть может, действительно лежит где-нибудь ее Яшенька мертвым, вороны черные глаза ему клюют, звери дикие косточки обглаживают белые. Холодом всю обдавало девушку. «Пусть лучше в Москве погуляет, да сюда вернется, чем такое страшное приключится с ним», — думала она.

И Ермак Тимофеевич, и Ксения Яковлевна чувствовали настроение своей наперсницы и словом ласковым да шуткою старались утешить или хоть разговорить бедную девушку.

Х

В поход

Наступило первое сентября 1581 года. Протекавшая верстах в двух от хором Строгановых и новой стройки Ермаковой вольницы река Чусовая пестрела множеством челнов, мерно покачивавшихся на ее мутных водах.

— Точно Волга-матушка, — толковали собравшиеся на берегу реки казаки.

— Скажешь тоже, Волга... Тех же щей, да пожиже влей, — слышалось замечание.

Но вот все стихло. Головы огромной, но стройной толпы обнажились. Перед устроенным на берегу временным иконостасом с множеством икон, принесенных из церкви и из хором Строгановых, появился в полном облачении отец Петр с диаконом и стал служить торжественный напутственный молебен.

Отряд Ермака Тимофеевича, числом 840 человек, благоговейно внимал молитвам и песнопениям.

За отрядом стояли люди строгановские, а

впереди Иван Кольцо и Ермак Тимофеевич рядом со своей невестой Ксенией Яковлев-ной, окруженной сенными девушками с До-машей во главе. Тут же в первых рядах стояли Семен Иоаникиевич Строганов с племянника-ми.

Гулко среди невозмутимой тишины разда-вались богослужебные возгласы и молитво-словия, дым кадильный тихо струился в воз-духе, а яркое солнце приветливо играло в до-рогих окладах икон и блестящих ризах свя-щеннослужителей.

Вот огромная толпа истово крестится... Вот она как один человек опускается на колени... Картина величественная и поразительная!

Молебен окончен, водосвятие совершено, отец Петр окропил святою водою каждого из воинов, длинной лентой в образцовом поряд-ке прошедших мимо него и целовавших крест. Последними к нему приложились Строгановы и их люди, собравшиеся прово-дить посельщиков в далекий поход, в глушь сибирскую.

По распоряжению Ермака Тимофеевича, когда все приложились к кресту и отцом Пет-

ром были освящены колыхавшиеся на водной поверхности реки челны казацкие, был собран круг. Ермак подошел к людям, снял шапку и трижды низко поклонился им в пояс.

— Знаете ли, добрые молодцы, что ноне новый год... Поздравляю вас с ним, ребятушки. Дай бог в новый год да в добрый час дело начать новое, дело доброе, великое... Виноваты мы много перед батюшкой-царем нашим, так искупим же свои перед ним вины послугою... Идем мы все с поход волею, неволить народ не хочу, кто хошь иди, кто хошь оставайся... Выходи, кто не со мною.

Ермак Тимофеевич смолк и орлиным взглядом обвел толпу. Ни один человек не тронулся с места.

— Все с тобой, атаман! — пронеслось по толпе.

— Чур, казак, назад не пятиться, не воротиться... Знаете пословицу? — продолжал Ермак Тимофеевич. — Житье будет в походе не то, что на Волге али в поселке здесь, житье трудное, походное... Идем не на разбой, а на святое дело, а потому слушаться моих прика-

заний, не пьянствовать, не безобразничать... Уговор лучше денег, провинившегося не пощажу... говорю заранее... Согласны? Идите! А не согласны — на печи лежите...

Он снова остановился и снова вопросительно зорким взглядом поглядывал на толпу.

— Согласны, согласны!.. — раскатилось по толпе.

— Коли согласны, так объявляю поход, а куда, о том скажет нам Семен Аникич Строганов.

Жестом руки Ермак Тимофеевич указал на старика Строганова, стоявшего несколько позади него. Семен Иоаникиевич выступил вперед.

— Идите, братцы, с миром, очистите землю сибирскую и выгоните безбожника салтана Кучума, — громко напутствовал он ратников.

Радостный возглас толпы был ему ответом.

— Иди, сажай людей в челны... — сказал Ермак Тимофеевич Ивану Кольцу. — Мы сядем с тобой в передний челн.

— Ладно, атаман! — ответил есаул и повел людей к реке.

Ермак остался с провожавшими его Строгановыми и их людьми. Несколько минут он молчал. Торжественным было это молчание. Наконец он заговорил:

— Простите меня, грешного, коли кого изобидел из вас ненароком, — поклонился он в пояс сперва людям Строгановых.

— Николи никого не обидел, что ты, бог с тобой, — ответили они, — а коли ненароком, так Бог простит...

— Простите и вы, отец мой названный и братцы мои названные, прости, моя невеста обрученная... Не лишите меня молитв ваших, особливо ты, чистая девушка...

Голос Ермака дрогнул, и он умолк.

Первым подошел к нему Семен Иоаникиевич Строганов, благословил его небольшим образком на серебряной цепочке, который и надел ему на шею. Они обнялись и трижды крепко расцеловались.

За стариком пришла очередь Максиму Яковлевичу, а за ним Никите Григорьевичу Строгановым. Оба со слезами на глазах простились с Ермаком Тимофеевичем.

Ксения Яковлевна стояла бледная, опер-

шись на руку преданной Домаши. К ней, простившись с ее дядей и братьями, подошел сам Ермак Тимофеевич.

— Прости, невеста моя обрученная, прости, моя лапушка, молись за меня... Как за стеной каменной буду я за твоими молитвами девицкими... Не горюй, не кручинься, вернется, бог даст, твой Ермак цел и невредим и будет продолжать любить тебя, как теперь любит больше жизни своей. Прости мое сердце...

Девушка с рыданиями бросилась на шею Ермаку Тимофеевичу. Из глаз его тоже полились слезы.

Эти слезы обоих слились в их горячих поцелуях. Они на мгновение замерли.

Ермак опомнился первый. Он тихо освободился от объятий невесты, тряхнул головой и проговорил:

— Прощай, моя лапушка, прощай, мое сердце... До свидания!.. — и быстро зашагал к реке.

Ксения Яковлевна без чувств упала на руки сенных девушек. Они бережно повели ее в хоромы, сопровождаемые Антиповной.

Семен Иоаникиевич Строганов с племян-

никами и людьми остались на берегу смотреть, как усаживались в челны казаки.

Вот по данному Иваном Кольцом знаку весла мерно поднялись и челны один за другим медленно поплыли мимо берега, где стояли Строгановы и их люди. Когда последний челн исчез из виду на повороте реки, Семен Иоаникиевич с племянниками отправились домой. За ними последовали и их люди.

Придя в хоромы, старик Строганов прямо отправился в светлицу.

— Что Аксюша? — спросил он Антиповну.

— У себя, с Домашей беседует, — отвечала старуха.

— Здорова? — спросил Семен Иоаникиевич.

— Да ничего себе... Еще на дороге очнулась и пришла сюда на ногах... Кажись, ничего.

Строганов прошел в следующую горницу. Он застал девушек сидевшими на лавках и о чем-то беседующими.

Семен Иоаникиевич сел рядом с племянницей.

— Ну вот и проводили, теперь, Бог даст, не заметим и времени, как встречать придет-

ся, — сказал он.

— Ты думаешь, дядя, он скоро вернется? — дрогнувшим голосом спросила Ксения Яковлевна.

— Скоро не скоро, а очень долго ему там делать нечего, — отвечал старик Строганов.

— Ох, долго покажется мне это время! — вздохнула девушка, рукавом сорочки смахивая набежавшие слезы.

— А ты приданым займись, торопи своих девушек, наблюдай за ними, время-то за делом и пройдет незаметно, — посоветовал Семен Иоаникиевич. Не навек разлучились... Вернется с победой... Вот и радость тебе будет. Ее и жди.

— А как убьют его кочевники?

— Ну на это у них руки коротки... Покажет он им себя, что все врассыпную посыпятся... Спрячутся в свои норы, да и оттуда он их выгонит.

Старик Строганов говорил таким уверенным и спокойным тоном, что эти уверенность и спокойствие поневоле сообщались Ксении Яковлевне.

Семен Иоаникиевич, конечно, сам далеко

не думал того, что говорил. Он хорошо понимал все опасности предпринятого Ермаком Тимофеевичем похода в сибирские дебри, но не молодой же девушке, любящей человека, отправившегося в этот опасный поход, говорить ему было всю горькую правду. Ее надо было утешить, ободрить. Он это и сделал.

Ксения Яковлевна успокоилась. Слезы больше не навертывались ей на глаза.

— А у меня, дядя, к тебе просьба будет, — сказала она.

— Что, моя радость?.. Все я для тебя сделаю, моя девочка.

— Когда Яков вернется? — начала она и остановилась, посмотрев на Домашу.

Та сперва вспыхнула, а потом побледнела.

— Яков, Яков... — медленно произнес Семен Иоаникиевич. — До Москвы-то теперь он, чай, доехал благополучно, все там узнает о смерти Обносковых и назад приедет.

— Вот тогда и дозвожь ему жениться на Домаше.

— На Домаше?

— Да... Они любят друг друга.

— Что ж... Он парень хороший, красивый.

И она тоже. Парочка будет хоть куда! — улыбнулся Семен Иоаникиевич.

— Так, значит, позволяешь, дядя?

— Конечно же... Пусть с Богом поженятся, коли любят друг друга... Только что же это ты, Аксюша, все говоришь, а невеста ни полсловечка не вымолвит.

— На самом деле, Домаша, что ты молчишь, как истукан?.. — обратилась к ней Строганова.

— Благодарю тебя, Семен Аникич, за милость хозяйскую, да только едва ли это случится, — поклонилась ему в пояс сенная девушка.

— Почему же? — удивился старик.

— Еще когда он вернется и с какими мыслями... Мало ли что допрежь меж нами было, теперь, може, и иначе пойдет... Кто знает... Да и воротится ли... — ответила Домаша.

— Коли люба ты ему была, так чего же ему пятиться. Ты тоже красотой взяла. Совсем писаная.

Семен Иоаникиевич засмеялся.

— На Москве немало и получше меня найдется, — со вздохом сказала Домаша.

— О том не спорю, как не найтись, только к чему ты речь ведешь, девушка, в толк не возьму... В Москве ему не найти суженой, чтобы в нашу глушь поехала, — сказал старик Строганов.

— Полюбит, так и поедет, — заметила Домаша.

— Ну, московские не таковские! Успокой свое сердце, девушка. Приедет твой Яшка цел и невредим, окрутим мы вас, и заживете счастливо.

— Благодарствуй, Семен Аникич, на добром слове, — поклонилась ему Домаша.

— Только я хочу, чтобы свадьба моя с ихней в один день была, — сказала Ксения Яковлевна.

— Это уж вы меж собой столкуетесь... Не мне жениться-то, а Якову и Домаше, может, и раньше ты захочешь повенчать их и погулять на свадьбе весело.

— Нет, вместе лучше... Не так ли, Домаша? — спросила молодая Строганова.

— Твоя воля, Ксения Яковлевна.

XI

Первая стычка

Медленно плыли челны с дружиной Ермака Тимофеевича. Солнышко закатилось, над рекой опустилась ночь. Берега Чусовой, сперва представлявшие собой необозримые равнины, стали круче, показался росший на них мелкий кустарник, перешедший вскоре в густой лес.

Под одним из таких крутых берегов Ермак с людьми остановились на ночлег. Но сомкнуть глаз им не удалось.

Не прошло и получаса после того, как челны причалили к берегу, вдруг из чащи леса на казаков полетела туча стрел.

Вреда они не причинили казакам, находившимся в челнах, но заставили уже было приспособившихся на ночлег вскочить на ноги и схватиться за пищали. Раздались выстрелы, и с крутого берега полетели в воду несколько убитых остяков.

Люди Ермака увидали их тела только на другое утро. Они по приказанию атамана не

зажигали на челнах фонарей, чтобы не сделаться мишенью для стрел кочевников.

В казаков полетело еще несколько стрел, на которые они ответили новыми выстрелами.

Затем все стихло.

Кочевники, видимо, удалились, но Ермак и его люди провели бессонную ночь, настороже. С первыми лучами рассвета они отправились в дальнейший путь. На лесистых берегах не было никого.

— Ишь, бесовы дети, притаились. Пули-то не свой брат, — говорили меж собой казаки.

— Да, против пули им ничего не поделать, — замечали другие, рассматривая стрелы остяцкие, не причинившие никому вреда.

— Не говори, днем и от их стрел не поздоровится... Метко они бьют ими, а стрела-то их куда попадет, а то и насмерть уложит даже.

— Ну?

— Да, концы-то у них, слышь, отравлены, пробуравит где ни на есть тело, у раненого-то и загорится кровь полымем. Тут ему и шабаш.

— Поди ты... Вот оно что...

Лес между тем стал отодвигаться далее от

берегов, которые стали отложе.

На следующую ночь Ермак уже назначил ночлег на берегу, для чего казаки причалили, вытащили челны на землю, а сами расположились лагерем вокруг пылающих костров.

Берег реки Чусовой в этом месте представлял собой большую поляну, граничащую с высоким вековым густым лесом. Утомленные непривычной работой веслами, — за время жизни в строгановском поселке люди успели облениться, — и после бессонной ночи казаки на мягкой траве заснули как убитые.

Не спали только Ермак Тимофеевич, Иван Кольцо да люди, поставленные на сторожевые посты.

— Что-то поделывает теперь моя Аксюша? — со вздохом произнес Ермак, сидя у потухающего костра, в который Иван Иванович бросал сухой хворост.

— Спит она теперь, что ей больше делать... — отозвался тот.

— Нет, Иван Иванович, не до сна ей теперь, видно, как и мне, свежа еще горечь разлуки... Вот я прошлую ночь напролет глаз сомкнуть не мог. Люди-то вон как притоми-

лись, — он жестом руки показал на спящих казаков, — а у меня сна ни в одном глазу...

— Понапрасну изводишь себя, атаман.

— А что поделаешь, коли не спится, а все думается...

— А ты плюнь и не думай.

— Легко молвить, да тяжело выполнить...

— И о чем тебе думать? Ну, любишь ты девушку, и мне, признаться тебе, невдомек это — в жизнь свою не любил бабу... Так и люби, она тебя тоже любит... Чего же тебе еще-то нужно?..

— Действительно, Иван Иванович, не уразумеешь ты того...

— Чего разуметь-то?

— Да вот что во мне деется. Кажись, бросил бы все и полетел назад к своей лапушке...

— Чуюл я это давно, — грустно заметил Иван Кольцо.

— Что чуюл-то?

— А то, что пропал ты, Ермак Тимофеевич, для ратного дела.

Ермак вспыхнул.

— Пропал, говоришь?.. Ну, это еще поговорить надо... Пропадать-то, может, мне и ра-

но...

— Рано-то рано, что говорить, но...

— А коли рано, так и не пропаду я. Вот весь сказ.

— Дай-то бог, — тихо молвил Иван Кольцо.

В это время грянул выстрел одного из сторожевых казаков, за ним другой, третий. Лагерь вскочил на ноги.

Раньше всех стоял на ногах Ермак Тимофеевич и его бравый есаул Иван Кольцо.

— Что за притча! — воскликнул первый. — С чего это?

— Видно, в лесу неладно, — сообразил Иван Иванович.

Сторожевые посты находились со стороны леса.

Ермак и Кольцо бросились к одному из стоявших на посту людей.

— Ты в кого пулял? — спросил атаман.

— И сам не знаю. Стою, гляжу на лес, — ответил тот. — Вдруг что-то замелькало между деревьями... Стал вглядываться. Отделились от лесу точно темные точки и поползли сюда. Може, зверь, а може, и человек. Я и выстрелил, за мной выстрелили и другие постовые.

Точки скрылись в лесу.

Ночь была лунная, светлая. Ермак и Иван Кольцо действительно почти у самой опушки леса рассмотрели несколько темных точек.

— Поглядеть надо, что бы это такое? — сказал Ермак Тимофеевич и вместе с Иваном Ивановичем двинулся к опушке.

Зоркие глаза их вскоре рассмотрели при бледном свете луны движущиеся в лесу темные фигуры. Лежавшие у опушки леса оказались остяками, убитыми выстрелами постовых казаков. У большинства из них в руках были луки и приготовленные стрелы; колчаны с запасными стрелами находились за спиной.

— Ишь тут их сколько, точно черных тараканов, — заметил Ермак.

— Да, может, это те же самые, что прошлой ночью угощали нас стрелами, — сказал Кольцо.

— Откуда же они здесь взялись? — спросил Ермак.

— Да лес-то один и тот же, им по лесу идти не в пример ближе, так как река делает здесь заворот, — объяснил есаул.

— Может, и так, — согласился Ермак.

В это время у самого его уха прожужжала пущенная из чащи леса стрела.

Пролетев мимо, она вонзилась в кафтан одного из казаков.

За первой стрелой появилась другая, третья, десятая и так далее, летело по несколько стрел разом.

— На нехристей! — крикнул Ермак Тимофеевич и вместе со всеми бросился в лес. В чаще действительно укрывались остяки. Многих перебили. Остальные дали деру в глубь леса. Казаки не стали их преследовать и вернулись на поляну досыпать.

Сторожевые посты были, однако, увеличены. Потухшие костры люди больше не разводили.

Ермак Тимофеевич и Иван Кольцо развели только свой небольшой костер невдалеке от реки, шум от быстрого течения которой доносился до них.

— Ишь, катит волны-то свои, Чусовая, что твоя Волга, — сказал Иван Иванович, когда они с Ермаком Тимофеевичем снова уселись у костра.

— Сказал тоже, Волга, — со вздохом отвечал атаман. — Волга-то втрое шире, коли не более, да и у волны ее звук мягкий, не так дико шумит-то матушка, как эта дикая река...

— И впрямь Волга-матушка выступает медленно, плавно, а эта бежит сломя голову, точно гонит кто куда... Ни дать ни взять остяки по лесу.

— Да, здорового стрекача задали они. Да и покрошили многих наши молодцы. Долго их помнить будут.

— Так и следует, чтобы помнили...

— А все же спасибо им, что нас потревожили, — сказал Ермак Тимофеевич.

— Это как же?

— Да так! Раззадорилось мое сердце, кручина-то из него повыгналась!..

Иван Кольцо истово перекрестился. Это было сделано с такою верою, что Ермак Тимофеевич невольно последовал примеру своего есаула и друга.

— Поздненько мы только хватились выбраться, — сказал Иван Иванович.

— Как поздненько? — спросил Ермак.

— Да так, холодновато становится. До по-

крова всего месяц остался, скует он, батюшка, реку льдом и покроет землю снегом.

— Здесь реки-то быстрые, не скоро замерзают.

— Это все едино, зато они еще быстрее становятся, плыть-то по ним нельзя.

— Ой ли?

— Да уж так, слышал я от старожилков здешних мест еще у Строгановых, — сказал Иван Иванович.

— Что ж, спрячем где ни на есть челноки, пешком пойдем... Все едино зима-то нас должна была застать. Не на месяц идем, а раньше или позднее, какая в этом разница?.. Слушай, Иван Иванович, — вдруг переменял разговор Ермак Тимофеевич, — а не хитрит ли со мной Семен Аникич?

— Как это хитрит? — не понял прямодушный Иван Кольцо.

— Что обручил меня с девушкой... Может, это так, для отвода глаз сделал, а уехал я-то, он и не пошлет в Москву челобитье...

— Нет, этого он не сделает.

— Ты думаешь? — спросил Ермак.

— Старик он правильный. Крест носит.

— А меня так берет сумление, — вздохнул Ермак. — Уж больно скоро он на все согласился.

— Да как же не быть-то ему в согласии? Вишь, девушка-то, бают, без тебя извелась совсем, чуть Богу душу не отдала.

— Это-то верно.

— Так то-то и оно-то, поневоле согласишься, только бы жива была да здорова... Любит ведь он ее.

— Вместо отца ей.

— Вот видишь.

В таких разговорах прошла вся ночь. Забрезжилась заря.

Ермак Тимофеевич и Иван Кольцо, вздремнув полчасика перед рассветом, подняли людей. Подкрепившись сваренной кашей, снова спустили челноки на воду и поплыли далее.

Сон освежил и ободрил всех. Весла быстро и мерно резали воду, на многих челноках затянули песни, которые гулко раздавались по пустынным берегам реки и повторялись лесным эхо.

Ермак Тимофеевич радовался царившему среди людей веселью. Он видел, что они ста-

ли втягиваться в походную жизнь, рады были тряхнуть стариной и пожить в этом напряженном состоянии, которое порождается постоянной опасностью и вырабатывает в ратных людях быструю сметку и отвагу. Он с удовольствием наблюдал, как просыпались в них его прежние волжские товарищи.

Ему невольно припомнилось его прошлое, жизнь беззаботная, бескручинная. Он жил воспоминаниями да памятью о последних днях, проведенных у Строгановых, в светлице своей лапушки. О будущем старался не думать. «Чему быть, того не миновать», — утешал он себя русской фаталической пословицей и на этом несколько успокоился, порадовав горячо его любившего друга Ивана Ивановича. Его порядком смутило то настроение Ермака Тимофеевича, с которым он тронулся в опасный и трудный поход.

«Люди чутки — сейчас признают, что не тот уже Ермак, каким был на Волге, чего доброго, и назад повернут! Тогда прощай и милость царская, и царское прощение, и знатная добыча, ожидавшая их в сибирской земле... Нечего было и огород городить! И на

славное имя Ермака Тимофеевича наложится пятно бесславия!»

Так думал его друг и есаул, а оттого и понятна его радость при виде ободрившегося атамана, орлиный взгляд которого снова поспевал повсюду, все примечал и невольно заставлял людей подтягиваться.

Челны между тем медленно плыли все дальше и дальше.

XII

На зимовье

Сопровождавший Ермака и его людей проводник из крещеных татар, по имени Миня, в просторечии Миняй, тоже выражал мнение, что по Чусовой долго не проедешь, так как вода на реке стала прибывать, что указывало на приближавшуюся зиму. Половодье на реках запермского края и Сибири бывает перед их замерзанием, а не перед вскрытием, как в реках центральной России.

Дядя Миняй, так звали проводника, был уже старый, но крепкий и телом и духом человек. Когда-то молодым парнем он был взят

в плен еще при Анике Строганове, крещен им и так привык к своему новому хозяину, что тот души не чаял в нем и считал его самым преданным себе человеком.

Миняй и был таким, да таким и остался по отношению к сыновьям и внукам Строгановых. Сибирь, то есть все пространство за Егорским Камнем, как назывались Уральские горы, была известна ему как свои пять пальцев. Такой человек был золотом для далекого похода. Его-то и отправили с Ермаком Тимофеевичем Строгановым.

— Придется зимовать, — говорил он, призванный на совет Ермаком и Иваном Ивановичем.

— Да где же зимовать-то? В лесу? В открытом поле не зазимуешь, придется рыть землянки, так это надо теперь делать. Наступят морозы — землю заступом не возьмешь, — сказал Ермак.

— Зачем в лесу? В поле найдем место для зимовки. И землянок не надо, тепло и без них будет.

— Это как же? — в один голос спросили Ермак Тимофеевич и Иван Иванович.

— А пещеры тут есть неподалече, на берегу, в них мы и прозимуем, в тепле и в безопасности...

— Пещеры? — спросил Ермак Тимофеевич.

— Да. Може, придется из них медведей выгонять, ну да эта беда не велика, с этим зверем-то управимся.

— Вестимо, управимся, — заметил Иван Кольцо.

Разговор происходил на первом челне, где вместе с атаманом и есаулом находился и проводник Миняй.

Лес окончился, снова пошли отлогие пустынные берега.

— Ишь, пусто-то как кругом... Ни тебе деревца на топливо, ни тебе зверя никакого на еду... Тут с голоду помрешь, никто и знать не будет, — сказал однажды Иван Иванович.

— Зачем с голоду умирать? — отозвался Миняй. — Земля богата и топливом, и живностью.

— Да где же это все?

— Погодь маленько, добрый молодец, скоро опять леса пойдут, а там и к пещерам подъедем.

— Не видать этого-то.

— Оно и не видать, потому далеко, да и поворот река делает... Вот оно что.

— Ладно, увидим.

— И увидите, я уж знаю.

Дядя Миняй оказался прав. Через несколько суток пути пошел действительно густой лес, который, казалось, тянулся на необозримое пространство.

Время между тем летело. Прошло бабье лето. Стали завертывать сперва сильные утренники, а затем и холода: пошли дожди, вода на Иртыше поднялась, и река загудела еще сильнее.

— Ишь как стонет, прежде нежели попасть дяде-морозке в лапы, — говорил дядя Миняй.

— Где же твои пещеры-то? — спрашивал Ермак Тимофеевич.

— Сейчас будут. Тут недалече, — отвечал он.

Но прошло еще несколько суток, а это «недалече» все еще было далеко.

Погода между тем все более и более портилась. По небу медленно тянулись свинцовые тучи, непрерывно шел ледяной дождь, мел-

кий, пронизывающий до костей, лес почернел и стал заволакиваться туманом. Казалось, над рекой висели только голые скалы, в которых она билась, рвалась на свободу, но они не пускали ее и заставляли со стоном нести воды в своем сравнительно узком русле.

Тяжело стало казакам справляться с бурливой рекой, да и вообще настало для них трудное житье: мокрота, холод, невозможность согреться у костров, которые не горели, а только чадили дымом, разъедавшим глаза.

Люди приуныли, печальны стали, задумчивы, с пасмурными, как погода, лицами, не слышно, как прежде, ни говору веселого, ни песни молодецкой.

Уныние напало снова и на Ермака Тимофеевича — больно стало ему за его людей, жаль добрых молодцев, а между тем ничего не мог поделать он.

Наконец выдался один погожий день, выглянуло из-за серых туч солнышко, тусклое, холодное, но все же показавшееся в диковинку казакам, давно не видавшим его. По обеим сторонам реки зазеленел сосновый лес.

— Вот наше и зимовье, — сказал Миняй. — Поворачивай челн вправо! — крикнул он рулевому.

Атаманский челн повернулся, за ним повернули и другие и стали приставать к берегу, к намеченному Миняем месту. Невиданное прежде зрелище представилось им. В отвесном скалистом берегу оказалось глубокое ущелье, точно ложе высохшей реки, куда Чусовая не могла направить свои воды, так как дно ущелья было выше уровня ее воды и поднималось постепенно в гору, между высоко нависшими скалами.

— Ну местечко! — заметил Ермак. — Дичь-то какая! Да тут с голоду и холоду умрешь среди каменных-то глыб...

— Зачем умирать с голоду и холоду? — возразил Миняй. — До леса здесь рукой подать, а в лесу и топлива и зверей на потребу видимо-невидимо.

— Да как же тут до лесу добаться? — спросил Иван Кольцо.

— Да тут недалече есть влево дорога между скал, немного в гору, в самый лес...

— Да что говорить-то, что есть, то и есть, —

сказал Ермак Тимофеевич.

— Не мы строили, а Бог, — заключил Миняй.

Люди по приказанию Ермака Тимофеевича вытащили челны на берег и, построившись, пошли в глубь ущелья. Впереди — Ермак и Иван Кольцо с Миняем, указывавшим дорогу.

Пройдя с полверсты, повернули направо к скале, в которой чернелось отверстие в рост человека.

— Надо огня высечь да зажечь пучок хворосту. Есть?..

У людей Ермака нашелся хворост и огниво. В руках Миняя появился зажженный факел, с которым он и вошел в отверстие скалы. За ним последовали Ермак Тимофеевич, Иван Иванович и передние казаки.

Все, кроме Миняя, хорошо знавшего эти места, остановились в изумлении. Перед ними открылась огромная пещера, где мог свободно поместиться весь отряд Ермака.

— Вот так хоромы! Почище строгановских! — слышались восклицания.

— Здесь тепло и не дует...

— Молодец, Миняй! Уж подлинно моло-

дец! Здесь мы зимуто как раз и проведем, — сказал Иван Кольцо.

Тотчас же из запасного хвороста были разведены костры и люди Ермака расположились около них. Группа казаков в сопровождении Миняя была отряжена в ближайший лес за топливом и живностью.

Пещера осветилась. Ее стены и потолок загорелись всеми цветами радуги от различных кварцевых пород. Зрелище было волшебное.

— Гляньте, братцы, да тут звериное логовище, — сказал один из казаков, сидевших у костра в дальнем углу пещеры.

— Где, где?

— А вот тут...

И он указал на толстый слой высохшей травы и тонких сучьев, находившихся в углу и, видимо, примятых каким-то грузным телом.

— И зверь-то большущий, медведь, верно, — сообразили казаки.

— Что же, пусть приходит к себе домой, милости просим, знатное из него будет жаркое.

Все расхохотались.

За другим костром тоже шли веселые разговоры, слышался хохот, встречавший веселые шутки.

Словом, люди Ермака, как истые русские люди, жили сегодняшним днем, позабыли все невзгоды недавнего пути, были веселы и довольны.

Весел и доволен был и Ермак Тимофеевич, сидевший и небольшого костра, разведенного Иваном Ивановичем.

— Так ужели ты до сих пор не знаешь, зачем мы идем в сибирскую глушь? — спрашивал он своего друга.

— За добычей, да и острастку дать нехристям, чтобы не лезли за Каменный пояс, не беспокоили бы строгановских земель, — отвечал тот.

— Но это, брат, была бы послуга для Строгановых, а не для батюшки-царя. Нет, я задумал другое.

— Что же?

— А то, что сильно виноваты мы перед царем, должны и заслужить ему повинным нашим большим делом... Знаешь ты всю эту нечисть, и татар, и остяков, и вогуличей?

— Знаю, как не знать...

— Бросовый народ в ратном деле.

— Что они поделают без пищалей с одними стрелами?

— Вот я это на ус себе намотал... Пищали у нас есть, снарядов много, можно будет задать им встрепку, что страсть...

— Можно-то можно, только много их, Миняй вот говорит, тысячи...

— Все может быть, только рознь между ними. Вместе ни за что не пойдут, а мы их по частям и перекрошим.

— А дальше что?

— А дальше... Покорим царство сибирское под высокую руку царя-батюшки и поднесем его ему, авось тогда он над нами смилуется.

— Вот что ты задумал! — разинул рот от удивления Иван Иванович, с благоговением смотря на своего атамана и друга.

Ермак Тимофеевич, разгоряченный речью о своей заветной мечте, с горячими, как уголь, глазами, был действительно прекрасен.

— Дай-то бог. Только... — начал было Иван Кольцо.

— Что только-то? — перебил его Ермак Тимофеевич.

— Большое это дело, мудреное. Можно и самим не вернуться...

— Не бойсь, вернемся! — воодушевленно сказал Ермак Тимофеевич.

В голосе его прозвучала такая уверенность, что Иван Иванович удивленно вскинул на него глаза.

— Что, думаешь, хвастаю?.. — поймал тот этот взгляд.

— Нет, но...

— Уж знаю, угадал, что думаешь. Только знай и то, что говорю я это неспроста... Сны у меня о том были верные.

И Ермак Тимофеевич рассказал Ивану Ивановичу уже известные читателю его сны, где видел себя окруженным странной неведомой природой, неведомыми людьми, в княжеском венце на голове.

— Може, венец-то это не княжеский, а брачный, ну, да это все едино... Коли мне суждено обвенчаться с Ксенией Яковлевной, так, значит, все равно Сибирь будет под рукой царя-батюшки. Без полной победы над нечи-

стью не вести мне к алтарю мою лапушку, — добавил со вздохом Ермак Тимофеевич.

— Вот оно что... Может, и впрямь суждено все это, — задумчиво сказал Иван Кольцо.

— Я уверен, что суждено...

— Уверенность — великое дело...

Оба на несколько мгновений замолчали. Каждый думал свою думу.

— Палаты-то мы нашли действительно княжеские, — улыбнулся Иван Кольцо. — Вишь, все горит серебром, золотом да камнями самоцветными.

— Зимовье хоть куда, — ответил Ермак.

— Люди, главное, отдохнут, сил наберутся, а это в походе первое дело. Вишь, как грохочут, веселы, довольны...

За кострами действительно беседа шла все оживленнее и оживленнее, все чаще слышались шутки и смех.

XIII

Цыганка

Оставим Ермака Тимофеевича с его людьми в их волшебной пещере и вернемся снова в хоромы Строгановых.

Опасения Семена Иоаникиевича сбылись. Не прошло и недели после отправления в поход Ермака, как кочевники стали беспокоить границы Строгановского царства, и потребовалось снаряжать против них людей, начальство над которыми принял Никита Григорьевич Строганов, а Максим Яковлевич остался дома, тоже занятый устройством оборонительных сил, на случай возможного нападения на усадьбу.

Эти распоряжения Строгановых произвели известное впечатление на кочевников, и они, разбитые Никитой Григорьевичем Строгановым и его людьми и прогнанные за Каменный пояс, более уже не беспокоили приготовившихся к отпору соседей.

В усадьбе все шло по-прежнему. Ксения Яковлевна была относительно спокойна. При-

чиной тому была Домаша. Она сумела вселить в свою хозяйку-подругу веру в счастливую звезду Ермака Тимофеевича.

— Он заговоренный... Это уж я знаю.

— Как заговоренный?.. — удивилась молодая Строганова.

— Да так... От всего, слышь ты, и пули и стрелы отскакивают...

— Да что ты!

— Верное слово.

— Откуда ты знаешь?

— Да его же люди болтают. Николи даже ранен не был, а всегда впереди, так и врубается, бывало, во вражеские толпы, кругом него вальмя валит народ, а он хоть бы что, рубит себе или действует кистенем, любо-дорого глядеть...

— Так ведь, может, Бог берег до поры до времени, а не ровен час...

Голос ее дрогнул.

— Да нет же, говорю тебе, Ксения Яковлевна, что заговоренный он. Такое слово, значит, знает... Недаром бают, он с колдуньей связавшись был...

— Что ты говоришь глупости...

— Не глупости, а правду.

— Кто же такое болтает?

— Да его же люди тоже баяли. Стояли они на Волге, а там в лесу колдунья жила, так он к ней часто шастал.

— Все это пустое... Он в Бога верит. Как истово молился на обручении и на молебне...

— Одно другому, баяют, не вредит.

— Разве что... А, кстати, Домаша, ты не узнала о цыганке-то?

— Это о Мариуле-то?

— Да.

— А тебе с чего это, Ксения Яковлевна, она на память пришла?

— Да вот о колдунье ты заговорила.

— Да разве она колдунья?

— Ну гадалка, верно, ты, кажись, что-то болтала.

— Я думала, что гадать она умеет, цыганки-то на это горазды, а тогда еще ничего нам, что будет, неведомо было, я тебе и сказала о Мариуле. Потом, как все объяснилось, до Семена Аникича дошло, он согласие свое дал, обручили вас с Ермаком Тимофеевичем, я об ней и думать забыла.

— Жаль... — разочарованно произнесла Ксения Яковлевна.

— С чего жаль-то? О чем же гадать теперь?

— И тебе не о чем? — лукаво посмотрела на нее молодая Строганова.

— Мне-то и подавно.

— А об Яшке?

— Я об этом и думать забыла. Мекаю так: если бы с ним стряслась беда, так сердце-вещун мне сказало бы, а коли молчит оно, так, значит, попросту он шатается по белу свету. А коли так, не стоит он моей думушки.

— И злая же ты, Домаша!

— На дурных и надо злой быть.

— Нет, я бы все простила Ермаку, — задумчиво сказала Ксения Яковлевна.

— И ничего нет в том доброго, — с жаром заговорила Домаша. — С их братом нашей сестре тоже держать ухо востро нужно, раз помилуешь, они тебе на шею сядут и поедут. Тогда аминь. Прощай, вольная волюшка.

— Коли любит, и воли ненадобно.

— Так ведь и для него так же.

— Вестимо.

— А они норовят нас покорить, а самим

быть хозяевами.

— Да ведь испокон веку так...

— А я на то не согласна.

— Так гадать тебе не о чем? — вдруг спросила молодая Строганова, видимо, совершенно не заинтересованная вопросом, кто будет у них главой, Ермак ли или она...

— Ровненько не о чем.

— А мне так есть о чем.

— О чем бы это?

— А хоть бы об Ермаке.

— Что гадать-то об нем? Крошит он теперь, чай, нечисть на обе корки, вот и все. Скоро, чай, и назад воротится.

— Это как еще сбудется...

— Да уж поверь мне.

— Верю я тебе, а все же погадать бы я не прочь.

— Хорошо, я прознаю про Мариулу-то.

— Когда?

— Да хоть сегодня же. Антиповна с ней в дружестве.

— Ну!

— Верно слово. Сколько раз видела их вместе, душевно так беседуют.

— А Мариула-то что делает?

— В прачках она.

— И не скучает?

— Чего же ей скучать?..

— Чай, все же к своим привыкла.

— Не любит она их, сказывают.

— А ты с ней не говорила?

— Не видала даже путем. Я в людскую избу-то забегаю в год раз по обещанию. Да она, бают, дикая... Только с Антиповной да еще кой с кем и беседует, а то все молчит или песни про себя мурлыкает, да и песни-то непонятные...

— Не нашенские?

— Нет. Сказала: разведая...

— И раньше тоже сказывала.

— Да раньше-то тут такое пошло, что не до нее было, а кроме того, я мекала, что она не надобна.

— Нет, очень надобна... — вздохнула Ксения Яковлевна.

— Теперь уже сделаю, покойна будь.

Полонянка оказалась старательной и прилежной бабой, молчаливой, но услужливой, «сурьезной» — как говорила о ней Антипов-

на. Кроме своего прачечного дела, она взяла на себя и уборку прачечной избы, в одной половине которой помещалась сама прачечная, а другая, разделенная на несколько горниц, и кухня служили жильем для прачек.

Мариула заняла самую маленькую горенку с половиной окна и жила в ней одна. Эту горенку определила ей Лукерья Антиповна сперва в силу того, что остальные прачки вначале сторонились своей новой товарки, которая столько лет прожила с нечистью. Что она там делает одна в своей горенке? Этот вопрос интересовал всех ее товарок, и самые любопытные из них поглядывали за нею.

— Ничего она, родимые, не делает, как есть ничего, — говорили они остальным.

— Как так?

— Да так... Сидит на лавке, уставившись в одну точку, и не шелохнется.

— Что же это она?

— Не ведаем.

— Видно, поврежденная...

— Повредишься среди нечисти-то...

— И какое ее там житье было, любопытно бы доведаться...

— Да как ты у нее доведешься, когда она молчит как чурбан какой, — возмущались любопытные.

Беседовала Мариула по душе действительно с одной Антиповной, но старуха тоже не была словоохотлива, а потому никто не знал, о чем их разговоры. Заметили только, что после первой продолжительной беседы Лукерья Антиповна стала смотреть на Мариулу очень ласково.

— Чем ни на есть, видно, обошла цыганка нашу Антиповну, — толковали на дворе. — Ни к кому так она не приветлива.

— Видно, рассказала ей что-нибудь жалостное...

— Наврала, чай, с три короба.

— Зачем врать! Чай, и впрямь жизнь ее среди нечисти была невеселая...

— Какое уж там веселье.

— Може, мучили ее, тиранили.

— Все может быть...

— А может, и крест сменять на идола принуждали.

— От нехристей все станется.

— И не поймешь, стара ли она или же в

средственных летах... Лицо моложавое, а волосы седые, силища-то во какая, так корчаги и ворочает.

— Поседеешь с горя-то...

— Еще как поседеешь, родимая.

Такие высказывались предложения прачками и другими дворовыми женщинами о полоненной цыганке.

Домаша, исполняя поручение Ксении Яковлевны, в тот же день после обеда — разговор их происходил утром — отправилась в прачечную избу. Прачки предавались послеобеденному сну.

Девушка очутилась перед дверью горенки Мариулы. Прежде чем отворить ее, она перевела дух. Сердце у нее сильно забилося. Ее охватил какой-то чисто панический страх. Наконец она, пересилив себя, приотворила незапертую дверь.

День был солнечный. Яркие лучи дневного света проникали в пол-окна каморки полонянки. При этом ярком освещении горница поражала своей чистотой, вытесанный и чисто вымытый стол и лавка положительно блестели.

На одной из лавок сидела Мариула с устремленным куда-то вдаль взглядом своих черных, не потерявших девического блеска глаз, составлявших разительный контраст с седыми прядями волос, выбивавшихся из-под головной повязки. Домаша некоторое время смотрела на сидевшую из полуотворенной двери, затем открыла эту дверь совсем и вошла в горницу.

Мариула не пошевелилась. Она, видимо, не слыхала и не видала вошедшей, хотя взгляд ее, казалось, был устремлен на нее.

Девушку взяла оторопь. Первою мыслью ее было бежать назад и устроить посещение Мариулой светлицы через Антиповну. Но она продолжала стоять перед глядевшей на нее, но не видевшей ее цыганкой. Она чувствовала себя совсем окаменевшей. Ноги не повиновались ей. Оставалось заставить Мариулу увидеть себя.

Домаша кашлянула. Цыганка вздрогнула. Выражение ее глаз вдруг изменилось. Теперь она смотрела действительно на Домашу.

— Кто ты, девушка? — спросила цыганка мягким грудным голосом.

— Я Домаша, сенная девушка Ксении Яковлевны... Чай, слыхала о ней?

— Как не слыхать... Наша молодая хозяйш-ка.

— Она самая... Прислала она меня до тебя, тетушка.

— До меня?

— Да! В светлицу тебя она просит. Может, погадаешь ей...

— А откуда она доведалась, что гадать я умею?

— Да ведомо ей, что цыганка ты, а цыган-ки на гаданье горазды...

— Да ты, девушка, кажись, тоже цыганка?..

— Я? О том я не ведаю.

— Не ведаешь? — переспросила Мариула. Голос ее задрожал.

XIV

Мать и дочь

— Не ведаю! — повторила Домаша.
— Как же так? Кто же ты такая, девушка? Отец твой кто был, кто была мать?

Старая цыганка уже теперь в упор, пристально смотрела на девушку. Домаша стояла ни жива ни мертва под этим взглядом, но все же тихо отвечала:

— Не знаю я ни отца ни матери.

— Не здешняя, значит?

— И того сказать не могу, в снегу я найдена, после набега кочевников.

— Когда это было? — вдруг вскочила Мариула с лавки и очутилась совсем близко перед Домашей, испуганно отшатнувшейся.

— Ты не бойся, девушка, я тебе зла не сделаю. Только скажи мне, бога ради, когда это было. Знать мне это бесприменно надобно. Скажи!

В голосе Мариулы появились молящие нотки.

— Годов тому назад пятнадцать, — ответи-

ла Домаша.

— Пятнадцать годов, пятнадцать... Так... Так... — про себя забормотала старуха. — Выходит, что так. Да неужели?..

Глаза Мариулы наполнились слезами. Ничего не понимавшая Домаша, уже освоившись со старухой-цыганкой, смотрела на нее во все глаза с нескрываемым любопытством. «Что за притча! Что с ней такое деется? Уж не с ума ли пятит старая? — мелькало в ее уме. — Уйти подобру-поздорову. Не ровен час...» И она снова попятилась к двери.

— Так приходи же, тетушка, в светлицу...

— Постой, постой! Остановись, девушка, куда спешишь? — остановила ее Мариула.

— Ждет меня Ксения Яковлевна...

— Не замай, подождет. Скажи ты лучше, хотелось бы тебе видеть свою мать?

— Не знаю... Да и где же мне увидеть ее, как смогу узнать свою мать, коли она меня младенцем бросила?

— Может, люди сделать это ее заставили...

— Невдомек мне, к чему ты речь ведешь, тетушка.

— А вот к чему, девушка... Расстегни-ка со-

рочку, покажи мне левое плечо свое...

И старуха протянула руку к шее Домаши.

«Кажись, и впрямь она с ума спятила!» — подумала девушка, но все же спросила вслух:

— Зачем?

— А коли есть у тебя на плече родинка, черная с горошину... — начала было Мариула, но Домаша перебила ее:

— Есть, тетушка, есть...

— А ты все же покажи мне, родная.

В голосе старой цыганки слышались такие нежные, просительные ноты, что девушка невольно исполнила ее просьбу, расстегнула ворот сорочки. На обнаженном темно-бронзовом круглом плечике действительно чернело родимое пятнышко величиной с горошину.

— Дочь моя! — вдруг кинулась ей на шею Мариула и стала покрывать обнаженное плечо Домаши нежными поцелуями.

— Дочь?! — дрожащим голосом повторила девушка.

— Да, ты дочь моя!

Домаша почувствовала, что на ее плечо за- капало что-то горячее. Это плакала Мариула.

— Матушка, ты плачешь? — воскликнула девушка.

— Ничего, ничего, это я, доченька, от радости... — сквозь слезы прошептала старуха.

— Однако как же это? В толк не могу взять я... — проговорила Домаша.

— Садись, моя дорогая дочушка, я тебе все поведаю, — сказала Мариула, обняв девушку, и направилась с нею к лавке.

Домаша молча повиновалась. Какое-то внутреннее чувство подсказывало, что перед ней действительно ее мать — она узнала это по ощущению от нежного поцелуя Мариулы, а теперь даже в чертах ее лица виделось что-то родное.

Мать и дочь сели на лавку. Старая цыганка несколько минут молчала, собираясь с мыслями, чтобы начать свою грустную повесть.

— Не гляди, доченька, что я седа и совсем старухой выгляжу, не лета, а горе меня составило. Мне еще сорока нет, а вот какова я...

Старуха остановилась и выпрямилась, как бы желая дать убедиться собеседнице, как она действительно выглядит.

— Лет двадцать тому назад, а може, и бо-

лее, — начала рассказывать Мариула, — кочевали мы с табором не здесь, а далече отсюда. Где, я и не помню, только налетела на нас татарская сила. Многих прикончили, других разогнали, а меня с отцом в полон взяли. Была я тогда по пятнадцатому году. Татары нас увели с собою. Гнали нас и пешком, и на лошадях везли, и очутились мы за Каменным поясом. Приглянулась я их поганому князьку, захотел он меня за себя взять... А мы с отцом в Бога да во Христа верили, я-то была что, несмышленная, делай со мной, что хочешь. Ну а отец за меня в заступу пошел, да тем и погубил себя. Убили его нехристи, и стала я женою князька. Прожил он со мною годов пять, я ему прискучила, и подарил он меня одному из своих воинов. Стала я женой другого. А между тем была на сносях от князька. Родила я так через полгода девочку, тебя то есть. Невлюбил тебя новый муж мой. Всячески извести хотел, только я тебя пуще глаза хранила, а въявь-то убить не решался он, князька своего боялся. Так прошло около двух лет. Наши люди набегом пошли на здешние места. Жены-то в юртах оставались, а меня муж с со-

бою взял. Видно, был у него на то умысел... Я тебя с собой захватила. Не удался набег наш, дали нам отпор здешние люди, многие легли на месте, остальным убежать было только в пору... Я около мужа была с тобой на руках, торопить он начал меня, да вдруг как схватит тебя из моих рук, да и кинул тебя в сугроб, а меня обхватил поперек тела, на лошадь свою взвалил, сам вскочил верхом, да и поскакал. Я не успела опомниться. Потом стала биться да рваться, он меня кулаками успокоил, без чувств я сделалась... Мы уже были далеко и вскоре перебрались за Каменный пояс в свое кочевье. Оказалось, что его без нас разорили и князька, моего первого мужа, твоего отца убили... Не у кого было заступы искать... Я и смирилась. Жила с ненавистным злодеем, много горя вынесла, оно-то меня и состарило... Наконец и на него карачун пришел, убили его здесь в последний набег, а я в полон волею сдалась... Оно и на счастье — довелось мне встретить мою дочушку...

Мариула снова обвила руками шею Домаши и стала целовать ее лицо. Девушка отвечала ей также нежными поцелуями.

— Матушка, матушка! — повторяла она.

— Говорила мне про тебя Антиповна, чуяло и тогда мое сердце, что ты и есть дочь моя, да ни разу я тебя путем не видала, а как сегодня вошла ты, посмотрела на тебя и тотчас признала. Похожа ты на меня, какою была я в девичестве.

— А о чем ты, матушка, когда я вошла, думала? Даже меня спервоначалу не заметила? — спросила Домаша.

— А о ком же, как не о тебе, моя доченька, пятнадцать лет все о тебе думала, места не находила себе.

— Матушка!..

— Но теперь зато я счастлива! Дай наглядеться на тебя, ненаглядная.

Мариула положила обе руки на плечи девушки и стала с любовью вглядываться в ее лицо.

— Не ходи ты замуж за немилого! — вдруг каким-то вдохновенным тоном начала она. — Есть паренек, любит тебя больше жизни, да в отъезде он, в большом городе... Ты думаешь, он забыл тебя, а ты у него одна в мыслях... Надумал он, для тебя же, сделать дело, да не вы-

шло ничего. Но не кручинься, скоро он воротится... Иди за ним без оглядки, будет он для тебя хорошим мужем, кинь опаску свою, брось свою гордость...

Домаша слушала свою мать с каким-то священным ужасом.

Словно эта женщина читала в ее мыслях, как в открытой книге.

«Что же это такое? — спрашивала она себя. — Уж не колдовство ли?» Она боязливо оглядела горенку матери. Горевшая перед большой иконой в переднем углу лампада ее успокоила.

— Напрасно, доченька, у тебя такие мысли несутся, — заметила старуха.

— О чем мысли? — вздрогнула Домаша.

— Сама знаешь, а на мне крест, хоть я и прожила долгие годы с поганою нечистью.

И Мариула полезла за пазуху и вытащила оттуда большой медный тельный крест.

— Прости, родимая, это я с перепугу...

— Чего же ты перепугалася?

— Ты откуда же все это знаешь? — вместо ответа спросила она.

— Что знаю?

— Про Якова...

— Про какого Якова? Слыхом не слыхала о нем...

— Как же! Ты говоришь — в отъезде он, в большом городе... На Москве, действительно.

— По лицу я твоему прочитала это, доченька, у каждого человека судьба его на лице писана...

— Дивно это, матушка, меня об нем и впрямь брало сумление...

— Вижу, вижу. Только напрасно, доченька. Верь мне...

— Верю, — тихо сказала Домаша.

Она и сама смерть как хотела этому верить. Но она была одна и ни с кем не делилась своими мыслями, даже с Ксенией Яковлевной, так как не хотела показать себя страждущей из-за разлуки с Яковым.

«Брось свою гордость! — вспомнились слова матери. — И ведь в самую точку попала... Совсем провидица».

Мариула между тем продолжала молча любоваться дочерью.

— А к молодой твоей хозяйюшке явлюся я по приказу ее, когда захочется ее душеньке, —

наконец сказала она.

— Она скорее просила, только надо будет сказать Антиповне.

— А что?.. Скажись и дошли за мной али сама прибеги... — отвечала Мариула.

— Только вот что, матушка, — начала девушка и остановилась.

— Что такое?

— Коли увидишь то, что судьба ее печальная, всего не говори ей, не тревожь ее душеньку, а то и так она в разлуке с Ермаком Тимофеевичем кручинится...

— Знамо дело, не скажу, зачем пугать девушку.

— А мне про то скажи с глазу на глаз... Ладно? Так я пойду теперь, матушка, поделюсь с Ксенией Яковлевной моей радостью, а там скажемся Антиповне, и за тобой прибегу я...

— Хорошо, доченька, до свидания, родная...

Мать и дочь обнялись и нежно расцеловались. С сердцем, переполненным самыми разнообразными чувствами, вышла из прачечной избы Домаша. Круглое сиротство, несмотря на то что она привыкла к нему, все-таки было для нее тяжело. Эта тяжесть спала теперь с ее

души. У нее есть мать!

Девушка была так счастлива, что ей захотелось побыть подольше наедине с собой, чтобы свыкнуться с этим счастьем, насладиться им вполне, прежде чем поделиться им с другими. Поэтому Домаша, вопреки своему обыкновению, не перебежала быстро двор, отделявший людские избы от хором, а, напротив, шла медленно. Ее радовало и то, что она узнает о судьбе Ксении Яковлевны. «Матушка все определит. Мне-то, мне рассказала все, как по писаному!» — думала она.

XV

Гаданье

В тот же день по всей строгановской усадьбе распространилась весть, что у Домаши нашла мать, не кто иная, как полонянка Мариула. Произошло это следующим образом.

Домаша, наконец, явилась к ожидавшей ее с нетерпением Ксении Яковлевне.

— Что так долго? Где ты пропадала? — вскочила та с лавки.

— Дивные дела, Ксения Яковлевна, дела-

ются на свете, дивные! — вместо ответа воскликнула сенная девушка.

— Что такое?

— Да Мариула-то...

— Что же?

— Это моя родимая матушка.

— Да что ты!

— Верно слово, Ксения Яковлевна.

— Как же это ты узнала?

— Да она мне о том сама поведала.

— Признала тебя?

— Да... По родинке на плече.

— Любопытно.

— Я все тебе, Ксения Яковлевна, расскажу по порядку.

И Домаша подробно пересказала ей свою беседу с Мариулой. Ксения Яковлевна, схватив за руку Домашу, выскочила с ней в рукодельную.

— Антиповна, Антиповна, у Домаша радость!.. — крикнула она.

— Что такое? Что за радость? — неторопливо поднялась старуха и пошла навстречу девушкам.

— Она отыскала свою мать!..

— Ты виделась с Мариулой? — строго спросила Антиповна крестницу.

— Да, Лукерья Антиповна, — виновато произнесла она.

— Зачем же ходила к ней?

— Погадать хотела...

— Ишь, егоза, на уме пустяки одни, — полусердито-полуласково сказала Антиповна. — И нагадала?..

— Она мне сказала всю правду, — отвечала Домаша.

— Вестимо, правду, — не так поняла старуха, — я о том и сама догадывалась, как она рассказала мне о потере своей дочери во время набега. Беспременно, думаю, это наша Домаша. Так оно и вышло.

Все сенные девушки, сидевшие за пяльцами, насторожились, вслушиваясь в этот разговор, и, конечно, вскоре разнесли новость по усадьбе.

— Няня, милая, — говорила между тем Ксения Яковлевна, — я хочу видеть мать Домашки. Можно ей прийти сюда?

— Это еще зачем?

— Я тоже погадать хочу...

— Пустое все, — нехотя произнесла Антиповна.

— Пусть пустое, няня, все веселее будет, нового человека увижу. Скучно мне.

— От безделья тебе скучно.

— Что же мне делать, коли не работается...

— Принудить себя должна.

— Я с завтрашнего дня прилежно буду работать, а сегодня дозвожь мне позвать Мариулу... Милая нянечка!

И Ксения Яковлевна бросилась на шею своей старой няньке и стала целовать ее.

— Погоди, оставь, задушишь меня, старую... — голосом, полным блаженства, заговорила старуха. — Ну, ин будь по-твоему, зови...

— Иди, Домаша, за матерью! — тотчас распорядилась Ксения Яковлевна и ушла в свою горницу.

Домаша между тем, стрелой перебежав двор, застала свою мать уже принарядившеюся в чистую сорочку и сарафан.

— Пойдем, матушка, в хоромы. Мы сказались Антиповне, она дозволила. Ты приоделась, матушка, значит, знала, что я сейчас приду за тобой?

— Знала.

— Почему?

— Много будешь знать, скоро состаришься... Ужели тебе хочется быть такой же старрой, как твоя мать? — отшутилась Мариула. — Пойдем.

Они вошли в хоромы.

— Вот, Ксения Яковлевна, твоя слуга Мариула, моя богоданная матушка, — сказала Домаша.

Мариула низко поклонилась молодой Строгановой.

— Здравствуй, Мариула, — ласково сказала та. — Я очень рада, что у моей Домаши нашлась матушка...

— Благодарствую, Ксения Яковлевна, на добром слове, — снова низко поклонилась Мариула.

— Погадай мне, Мариулушка! — робко сказала Ксения Яковлевна после довольно продолжительного молчания.

— И чего тебе гадать, Ксения Яковлевна, все уже разгадано, — начала Мариула, пристально вглядываясь с лицо девушки. — Вот вижу я, твой жених обрученный невредим

стоит, а кругом него люди валяются, кровь льется, стрелы летают, пули свищут, а он молодецким взмахом косит нечисть поганую, о тебе свою думушку думая, поскорее бы управиться да вернуться к своей голубке сизой... А вот он в венце стоит, в венце княжеском, а вот... — Цыганка вдруг оборвала речь и, изменив тон, добавила: — Все хорошо, все исполнится, дадите вы клятву перед алтарем нерушимую и никогда ее не нарушите... О чем же гадать тебе, Ксения Яковлевна?

Молодая Строганова хорошо поняла, что Мариула говорит то, что «провидит», что в этом и состоит гаданье, и жадно ловила ее слова. К счастью, она не заметила перерыва в этой речи.

— Спасибо тебе, Мариулушка, коли правду сказала, а коли выдумала, спасибо за то, что утешила...

— Зачем выдумывать? Сказала всю правду-истину...

— Еще раз спасибо... Чем одарить тебя?

— Зачем дарить?.. И так много довольны твоею милостью, сыты, обуты, одеты, в тепле живем, — встала и поклонилась в пояс Мари-

ула.

— А скоро все это сбудется, о чем говорила ты? — спросила Строганова.

— Того уж не умею сказать, касаточка, должно, недолго протянется, — отвечала цыганка.

Она вдруг стала пристально вглядываться в лицо своей дочери.

— Вот ее суженый, в дороге уж...

— Яков? — спросила Ксения Яковлевна.

— Звать я не знаю как, чернявый такой, из себя видный, скачет во весь опор, торопится... — продолжала Мариула, не спуская глаз с лица Домаши.

— Слышишь, Домаша? — окликнула ее Ксения Яковлевна.

Ответа не последовало. Девушка сидела как завороченная.

— Не замай ее, — заметила Мариула, — она сама видит все то, что говорю я... Видимо, от меня она этот дар унаследовала.

— Да неужели! — воскликнула молодая Строганова.

— Верное слово, — подтвердила Мариула и отвела свой взгляд от лица дочери.

Не прошло и минуты, как Домаша облегченно вздохнула и сказала:

— На самом деле Яков-то торопится... Я его видела.

— Как видела? — дивилась Ксения Яковлевна.

— Да странно как-то... Точно вздремнулось мне и сон привиделся, скачет он во весь опор по дороге... Только и всего.

Ксения Яковлевна со страхом посмотрела на Мариулу.

— Прощенья просим, — низко поклонилась она и вышла так быстро, что Ксения Яковлевна не успела сказать ей, чтобы она приходила в другой раз.

Девушки остались вдвоем и несколько минут смотрели с недоумением друг на друга. Ксения Яковлевна была поражена последним видением Домаша, вызванным на ее глазах, а Домаша не понимала удивленно-испуганного выражения лица своей хозяйки. Первою ее мыслью было то, что Ксения Яковлевна заметила, наверно, в предсказании Мариулы недосказанное, а потому встревожилась. Но Строганова рассеяла эти опасения.

— Знаешь ли, что ты спала, Домаша?

— Мне вздремнулося, так вдруг, — ответила та.

— Да нет же, при мне все это было! Это Мариула заставила тебя видеть все то, что видела сама. Знаешь, она колдунья!

Последние слова Ксения Яковлевна сказала шепотом.

— И что ты, Ксения Яковлевна, крест у нее на груди, а в горенке иконы, и перед ними лампада теплится.

— Правда?

— Как перед истинным...

— Невдомек мне тогда, что это деется...

— Просто провидица, — решила Домаша.

— Дивны дела твои, Господи! — воскликнула Строганова и истово перекрестилась на икону. Домаша последовала ее примеру.

— Тебе-то что, Ксения Яковлевна... Сказала — лучше и не надо.

— Кабы сбылось это.

— Все сбудется.

В голосе Домаши была непоколебимая уверенность.

— Дай-то бог, — тихо сказала Ксения Яко-

влевна. — А мне все-таки стало покойно на душе... И за то ей спасибо.

XVI

Возвращение Якова

На другой день Домаша в послеобеденный час пробралась в горницу своей матери. Та встретила ее радостно.

— Здравствуй, милая, здравствуй, доченька, спасибо, что не забываешь родную матушку...

— Как можно забыть!.. Такая-то радость мне Господом послана! — несколько замаявшись, сказала хитрая девушка.

Ей стало неловко перед матерью, что она, собственно говоря, пришла к ней не с тем, чтобы повидаться с нею, а выпытать то, что она не досказала вчера Ксении Яковлевне.

— Спасибо за это, доченька. Садись, гостья будешь... Ну что? Как провела ночку твоя хозюшка, свет-Ксения Яковлевна? — спросила Мариула.

— Хорошо, очень хорошо, матушка, уж она так довольна твоим гаданием...

— Довольна, баешь?..

— Да... Только ты, матушка, недосказала ей всего. Она-то этого не заприметила, а я тотчас догадалась.

— Какая ты некстати догадливая, — с улыбкою заметила цыганка.

— Уж такая, знать, уродилась, — отвечала девушка. — Только ты-то уговор наш помнишь, матушка?

— Какой такой уговор?

— А про то, что ты мне скажешь, все что недоскажешь Ксении Яковлевне.

— А, ты про это...

— Да, про это, матушка.

— И зачем тебе нужно чужую судьбу знать, доченька?.. Не ровен час, проболтаешься.

— Это я-то! Не знаешь ты меня, матушка, я для тайны могила.

— Ой ли?

— Уж будь покойна, матушка.

— Да зачем знать тебе, что до тебя некасательно...

— Как зачем? Любопытно, да и люблю я всей душой Ксению Яковлевну. Стрясется с нею какая беда, все же мне легче будет, что

заранее я о том известилася. Может, какую и помощь могу оказать ей.

— Нет, доченька, помочь ей не во власти людской... Один Бог ей может быть помощью, — печально-торжественно произнесла Мариула.

— Что такое стряется над ней, над голубушкой? — испуганно спросила Домаша.

— Ну ин быть по-твоему... Скажу тебе, только чур никому ни полслова о том не вымолви. Не сболтни ненароком как-нибудь.

— Зачем болтать? Я не из болтливых. Говори, родная...

Голос Домашы дрожал от волнения.

— Недолго будет ее счастье, останется она вдовицею неутешною... Реку вижу и быструю, вот волна ее мужа захлестывает, вот вынырнул он, а вот опять скрылся, ко дну пошел... Ждут ее стены монастырские... Вот что я и теперь вижу доченька, как вчера видела, на ее личико глядячи.

— Вот оно что... Значит, повенчают их, а он и умрет вскорости, — печально сказала Домаша.

— Будет это, доченька, будет...

— Тут уж подлинно только Бог может быть помощью...

— Да, родная, не людям изменить волю Божию...

Побеседовав с матерью еще некоторое время, Домаша вернулась в светлицу и села за пяльцы. Верная данному няне слову, Ксения Яковлевна тоже усердно работала за пяльцами. Домаша только однажды с грустью посмотрела на нее, но тотчас же заставила себя улыбнуться, боясь, чтобы она не заметила этого взгляда и не потребовала объяснений.

Жизнь в хоромах Строгановых вошла в свою колею.

Прошло несколько дней. Одно из предсказаний Мариулы исполнилось. Вернулся Яков.

Это случилось ранним утром, но, несмотря на это, он тотчас же был принят Семеном Иоаникиевичем. Старик очень беспокоился о своем посланце. Наслушавшись от заезжего московского гостя о страстях московских, зная из грамотки своего родственника о трагической смерти бояр Обносковых, он основательно опасался, что гонец с грамоткой от него к казненным царским лиходеям попадет

в застенки и пропадет, как говорится, ни за грош, ни за денежку, ни за медную пуговицу, да кроме того, и его, Строганова, может постигнуть царская опала за сношения с лиходеями.

Все это тревожило старика, ему казалось, что Яков не едет целую вечность, что страшное уже совершилось и что ему с минуту на минуту, вместо ответа на посланное царю челобитье о Ермаке Тимофеевиче, надо ждать грозной царской грамоты. «А все старая Антиповна; пошли да пошли жениху грамотку. Все равно ничего не вышло путного, а каша такая заварилась, что навряд ли и расхлебаешь», — мелькало в голове Семена Иоаникиевича.

Понятна поэтому была его радость, когда Касьян доложил ему утром, что Яков вернулся из Москвы цел и невредим.

— Позвать его скорей ко мне! — распорядился Строганов.

Через несколько минут Яков был уже в его горнице.

— Ну что и как? — спросил он посланца. — Передал грамотку?

— Некому было, Семен Аникич, — отвечал

Яков, — ни в Москве, ни в Александровской слободе видом не видать, слыхом не слыхать бояр Обносковых. Приказали оба, и отец и сын, долго жить... И вспоминать-то об них надо тоже с опаскою...

— Так, так, слышал я...

— Слышал?

— Да тут гость был, рассказывал, будто казнили их... Да я думал, сбредал, мол...

— Никак нет... Правду тебе, Семен Аникич, гость говорил истинную.

— Искал их на Москве-то спервоначалу? — спросил Строганов.

— И поискал, Семен Аникич, да и слава те, Господи, такую бы беду нажил и себе и тебе на голову... Не миновать бы мне застенка да Малютиных рук...

— Как же ты узнал-то обо всем?

— Послал мне Бог на мою сиротскую долю доброго человека, он мне и поведал, да и сказал, чтобы я имени не упоминал лиходеев, коли хочу, чтобы голова моя на плечах осталась... Я так и сделал. Поглядел денек на Москву, съездил в Неволю...

— Это что же такое? — спросил Семен

Иоаникиевич.

— А где царь живет, Александровская слобода так прозывается.

— А царя видел?

— Видел, натерпелся страху...

— Что так?

— Страшный такой, весь черный, как монах, а глаза, как уголья, горят...

— И слуг царских видел? Как их там...

— Опричников?

— Да.

— Видел, тоже, как монахи, в черном.

— Грамоту-то, значит, назад привез?

— Нет, Семен Аникич, разорвал ее — от греха, по совету того же доброго человека... Не ровен час, говорит, признают, что у тебя грамотка к Обносковым и сам пропадешь, и накликаешь беду на голову пославшего ее с тобой...

— Так, так! Это правильно!

— Уж прости меня, Семен Аникич, коли не так сделал, как надобно. Больно напуган был...

Яков низко поклонился старику Строганову.

— Чего там прощать, благодарить мне тебя нужно за службу молодецкую. Я сам тут на-терпелся страху за тебя и за себя, опасаячись, как бы не попался с грамоткой, а ты молодцом все дело обделал, и себя и меня спас. Спасибо... Большое спасибо. Казны-то хватило?

— Вдосталь, Семен Аникич.

— Ну все едино, что осталось — твое, а это тебе еще за службу верную...

И Семен Иоаникиевич отпер один из шкафов, вынул мешочек с деньгами и подал его Якову.

— За что жалуешь? И так много довольны твоими милостями, — взял мешок и, спрятав его за пазуху, низко поклонился Яков.

— Ничего, пригодится тебе детишкам на молочишко. Не век тебе бобылем быть, пора и в закон вступить, благо невесту себе подыскал, крелю писаную...

— Невесту! — удивленно воззрился на него Яков.

— Что ты на меня уставился, точно сам не знаешь?.. Поведала Домаша свою тайну Аксюше, а Аксюша мне...

— И ты, Семен Аникич?.. — дрогнувшим

голосом спросил Яков.

— Я что? Я сказал, коли вернется жив-здоров, так с Богом, веселым пирком да за свадьбу... У нас ведь тоже без тебя свадьба затеялась, за Ермака Аксюшу сговорили...

— Слышал я, слышал...

— От кого? — тревожно спросил Семен Иоаникиевич.

У него мелькнула мысль, что Яков слышал это в Перми.

— Да как приехал, наши молодцы мне сказывали... В поход он ушел, Ермак-то Тимофеевич... А тебя, Семен Аникич, уж как мне и благодарить, не знаю...

Яков опустил на колени и поклонился ему в ноги.

— Что ты, что ты! — подскочил к нему старик Строганов, успокоенный его ответом относительно того, где он слышал о сговоре Ермака с Ксенией, — Богу так кланяйся, а не людям...

— Вместо отца ты мне, Семен Аникич, — встал с колен растроганный Яков.

— А коли вместо отца, дай я обниму тебя... Утешил ты старика своими вестями.

Семен Иоаникиевич обнял и трижды поцеловал Якова. Тот ушел от него, положительно не чувствуя под собою ног от радости.

— Недаром я Домаше обнови да гостинцы привез московские, да такие, что у нее глаза разбегутся... Молодец, девка, без меня здесь дело оборудовала... Как бы повидаться с ней?

Но это был для него положительно день сплошных удач. Не успел он вернуться в избу, как за ним прибежала посланная из светлицы с наказом явиться к Ксении Яковлевне. Он не заставил себя долго ждать и через каких-нибудь четверть часа входил в светлицу с балалайкой в руке.

Он думал застать Ксению Яковлевну и Домашу в рукодельной, но их там не было. Сидевшая на своем обычном месте Антиповна приветливо ответила на его поклон, поклонились ему с улыбками и сенные девушки, сидевшие за пяльцами.

Яков остановился в недоумении посреди горницы и, обведя всех вопросительным взглядом, остановил его на Антиповне.

— Пройди, добрый молодец, в следующую горницу. Там Ксения Яковлевна, — сказала

старуха.

Яков быстро воспользовался этим разрешением.

Во второй горнице он застал, кроме Ксении Яковлевны, и Домашу.

Свидание было сдержанным в присутствии третьего лица, но нежным. Яков попросил дозволения принести привезенные им из Москвы подарки. Разрешение ему, конечно, дали с радостью.

Подарки действительно были такие, что не только у Домашы, но и у Ксении Яковлевны разбежались глаза.

— Прости меня, Яшенька, я о тебе дурно думала... — вырвалось у Домашы.

Яков только посмотрел на нее любовно-укоризненно.

В тот же день Домаша повела его к своей матери. И Мариула благословила их.

Со следующего дня Ксения Яковлевна ежедневно звала в рукодельную Якова, где по ее приказу сенные девушки в песнях величали его и Домашу, как жениха и невесту. Запевалой была невеста. Голос ее звучал особенно чисто и звонко.

Ухарски весело играл и Яков на своей балалайке. Хорош он был и прежде, но теперь казалось, что он вкладывает в свой незатейливый инструмент всю бушевавшую в его сердце любовь и страсть.

И Ксения Яковлевна, и Домаша с восторгом слушали его.

XVII

В глубь Сибири

Медленно тянулось время для Ермака Тимофеевича и его дружины в их чудном зимовье. Первую неделю, другую, когда пещера была им внове, когда приходилось отвоевывать ее себе, как жилье, от прежних обитателей-медведей, попавших казакам на жаркое, люди были веселы и довольны и наслаждались отдыхом после далекого пути.

Но прелесть новизны прошла. Суровая зима окончательно вступила в свои права. Дни стали короче, ночи темнее и длиннее. Отсутствие дела и связанная с ним скука начали давать о себе знать.

Свету даже не было видно, все костры да

костры, и это невольно действовало на расположение духа людей. Они приуныли и стали с нетерпением ожидать, когда земля наконец сбросит свои ледяные оковы.

В тех местах делается это не скоро. При нетерпеливом ожидании, как всегда это бывает, время тянулось мучительно медленно.

Наступили и прошли Рождество, Крещение, Сретенье и наконец дождались Благовещенья, а с этим в срединной России совершенно весенним праздником стало теплеть в воздухе и на берегах Чусовой. Появились первые жаворонки. Люди ободрились. Все указывало на их скорое освобождение из пещеры, которая, вначале казавшаяся казакам хоромами, стала в конце концов для них ненавистнее всякой тюрьмы.

Солнце начало пригревать сильнее, и снега стали таять быстро. На Чусовой то и дело раздавался треск — это ломался лед. Голоса набирающей силу весны казались Ермаку Тимофеевичу и его людям лучшей на свете мелодией — вестью будущей свободы.

Но вот лед наконец прошел и Чусовая снова заревела в своих крутых берегах. Давно из-

готоввленные челны спущены на воду, Ермак Тимофеевич и его дружина расселись в них и без сожаления покинули свое волшебное зимовье.

Три дня провели они в пути, когда вдруг берег Чусовой как бы раздался, и река, почуяв простор, широко разлилась по равнине.

— Ишь, какова здесь Чусовая-то! Совсем Волга, — говорили казаки.

— А это что? — с недоумением уставились они на возвышавшуюся перед ними громаду, достигающую чуть не до облаков.

Это и был Югорский камень, или Уральские горы, гордо стоявшие перед отважными пришельцами, покрытые внизу густым кедровым лесом, а голыми вершинами действительно почти достигающие облаков.

Ермак и его люди никогда в жизни не видели таких высоких гор.

— Это и есть Сибирь? — спросил Ермак Тимофеевич проводника Миняя.

— Нет, Сибирь дальше, за этими горами, а это Югорский камень, — отвечал тот.

— Хорош камень, целая глыбища.

— Так уж зовется... Ну вот мы и Чусовую

прокатали, — добавил Миняй.

— Как, разве конец ей?.. Ишь, как вдаль бежит, — заметил Иван Кольцо.

— И пусть ее бежит, а нам надо повернуть в сторону. Вишь, речка течет вправо?

— Видим, видим...

— Серебрянкой она прозывается, по ней наш путь... Только как-то мы пройдем ее?

— А что? — с беспокойством спросил Ермак Тимофеевич.

— Тиха да мелка она, вот в чем незадача, двух дней не проедешь, придется тащить челны на себе до речки Жаровли.

— Ничего, потрудимся, — заметил Иван Кольцо.

— Не без того будет... — сказал Миняй.

В это время передний челн, на котором были беседовавшие, поравнялся с косою, образуемой рекой Серебрянкой при впадении ее в Чусовую.

— Что же, надо сворачивать? — сказал Ермак Тимофеевич.

— Поздно, атаман, лучше заночевать на косе, а то в Серебрянку входить ночью не рука... Начнутся сейчас горы, придется опять в

челнах ночевать, а уж которую ночь так ночуем! Надо дать людям расправить ноги и руки, — посоветовал Миняй.

— Это ты правду молвишь, — согласился Ермак Тимофеевич.

Челны причалили к косе, на которой тотчас зажглись костры, пошел пар от казацкого варева, и люди, подкрепившись, улеглись спать, только для формы поставив сторожевые посты, так как кругом были только песок и вода и неоткуда было ожидать нападения.

Все заснуло в лагере, кроме стоявших на страже постовых казаков, да не спал и атаман Ермак Тимофеевич. Он был погружен в неотвязные думы. «За этой речонкой Серебрянкой после двухдневного пути начнется Сибирь, где он ратными подвигами должен добыть себе цареву милость. Удастся ли ему это с горстью своих храбрецов?»

Он невольно посмотрел на беззаботно спавших сподвижников великого задуманного им дела.

Что, если его там ожидает такая несметная сила нечисти, что не будет возможности с ней справиться? Смерть, быть может, гото-

вится ему в удел.

Но не в том дело! На что ему жизнь без царева прощения, без права повести любимую к алтарю? Не о своей жизни заботился он, а о судьбе этих беззаботно спящих людей, которых он повел на рискованное дело. Их гибель ляжет на его же душу, на которой и без того немало загубленных жизней в его кровавом прошлом, там, на Волге.

Дрожь охватила его при этих воспоминаниях, холодный пот выступал у него на лбу.

«А что, если эта царившая в его сердце уверенность в успехе, эти вещие сны есть не что иное, как искушение дьявола, овладевшего уже давно его душой?»

Таковыми страшными сомнениями мучился Ермак до самого рассвета.

Но вот на востоке заалела светлая полоса, она стала расти, расползаться и мало-помалу охватила все небо. Звезды постепенно меркли и исчезали, и наконец показался огненный шар, рассыпая по земле снопы золотистого света.

Взошло солнце.

Лагерь проснулся.

Людям дали позавтракать и тогда только начали рассаживаться в челны. И вскоре двинулись по Серебрянке. Узкая речка бесшумно несла свои воды между высокими утесистыми берегами. Скалы, покрытые густою растительностью, казалось, надвигались друг на друга с обеих сторон. В одном месте ветви кедров густо сплелись между собою, образовав на довольно большом пространстве естественный туннель, в который не проникал ни один луч солнца. Было так темно, что стало жутко даже ко всему привыкшей Ермаковой дружине.

Но вот наконец выбрались на свет божий и, проплыв несколько часов, остановились. Дальше пути не было — река так обмелела, что челны ползли по песку.

— Придется отсюда тащить челны волоком до речки Жаровли, — сказал Миняй.

— А далеко эта речка? — спросил Ермак Тимофеевич.

— Нет, недалеко, вот за теми холмами...

И Миняй указал рукой за какими именно. То, что он называл холмами, были для жителей русских равнин огромными утесистыми

горами.

Делать было нечего — решились дать людям для отдыха дневку, а сам Ермак Тимофеевич с Иваном Кольцом и Миняем пошли искать более удобное место для перехода и волока челнов.

Миняй повел их в горы, избирая более легкие для восхода места, Ермак и Иван Кольцо еле карабкались, по, казалось им, совершенно отвесным утесам. Но наконец они вслед за своим проводником добрались до вершины и остановились зачарованные. Перед ними расстилалась Сибирь — громадная равнина, покрытая зеленым лесом и перерезанная там и сям серебряными лентами рек.

Вдали клубился дымок.

— Экий благодатный край! — воскликнул Ермак Тимофеевич. — Вот она, голубушка Сибирь! Как-то встретит она нежданных гостей своих? — задал он себе вопрос.

— Что-то не видать никакого жилья, — забеспокоился Иван Иванович.

— Жилье недалеко. Скоро покажутся татарские деревни, а там вот, где дымок расстилается, это город Епанчи, что прошлый год к

нам жаловал...

— Вот это дело так дело, он к нам жаловал, а мы теперь к нему пожалуем, — усмехнулся Ермак Тимофеевич. — Рад не рад, принимай гостей...

— Угощать не надо, мы сами его угоstim, — засмеялся Иван Кольцо.

— Это не без того, — подтвердил Ермак. — Однако все же надо поискать удобный переход для людей, — обратился он к Миняю.

— Поищем...

Переход был вскоре отыскан. Это было сравнительно удобное для волока челнов ущелье.

Переход занял более трех суток. Наконец казаки достигли первой сибирской реки Жаровли и после суток отдыха спустили челны и отправились в путь.

Челны неслись как стрелы. Не надо было работать веслами, так как дружина Ермака плыла по быстрому течению вниз. За трое суток успели миновать Жаровлю, Тагил и вступили в Туру.

— Вот где находится самая глубь Сибири, — заметил Миняй.

— Но и пусто же здесь, — сказал Ермак Тимофеевич. — Который день плывем, хоть бы кого, на смех, встретили.

— Погоди, атаман, не торопись, встретим еще не одного и не десяток, а сотни и тысячи, — отвечал Миняй.

— Поскорее бы, а то смерть надоело без дела, и люди скучают, — заметил Иван Кольцо.

И это его желание вскоре исполнилось.

На горизонте показались три всадника, нагнулись на седлах вперед, как бы нюхая воздух...

— Вот вам и татары, а вы и соскучились! — воскликнул Миняй.

Тура в этом месте делала поворот в их сторону, так что вскоре расстояние между челноками и всадниками сделалось не особенно велико.

Татары вдруг остановились, подняли луки, нацелились и пустили стрелы. Не долетев, они шлепнулись в воду.

— Клим, сними одного, — обратился Ермак Тимофеевич к одному из казаков.

Тот вскинул пицаль и прицелился.

Грянул выстрел, и средний татарин сва-

лился с лошади. Двое других ускакали.

— Ну теперь у них пойдет галденье, — рас- тревожили осиное гнездо, — сказал Миняй.

— Это и хорошо, поскорей бы схватиться с ними по-настоящему, — заметил Ермак Тимо- феевич.

Но долго это не удавалось. Кочевники, ви- димо, действовали осторожно.

Во время ночлега Ермаковой дружины на островках Туры они с берега пускали стрелы, не делающие вреда и большею частью падав- шие в воду, а под утро куда-то исчезали.

Днем, впрочем, они появлялись небольшо- ми группами в несколько человек, нюхали воздух, присматривались, пускали наудачу стрелу, другую и пропадали, как бы провали- ваясь сквозь землю.

— Ишь, песьи сыны! — ругались казаки. — Словно крысы: выглянут из подполья и опять назад... Ну, да лиха беда, попадетесь... Зада- дим вам жару...

И казаки дождались.

XVIII

Дело началось

Довольно быстро двигались челны Ермаковой дружины по быстроводной Туре. Было уже за полдень, когда наши удальцы достигли того места, где река делала новый крутой поворот.

Не успели все челны пройти это место, как казаки увидели, что на весь правый берег Туры высыпали бог весть откуда взявшиеся тысячи татар. Путешественники в первую минуту были поражены этой неожиданностью. Тучи стрел полетели на них, но одни перелетели, другие не долетели до казаков и попадали в воду.

— Пали! — раздался зычный голос Ермака Тимофеевича, и восемьсот пицалей поднялись.

Грянули выстрелы. Ни одни из них не пропал даром. Сотни татар полетели с своих коней, остальные обратились в бегство.

Казаки по приказанию атамана причалили к берегу и бросились за кочевниками. Но

те успели удрать на своих быстрых лошаденках.

Казакі вернулись на берег, спрятали челны в ближайшем лесу и отправились по берегу, так как, по словам Миняя, недалеко был город Епанчи-Чингиди (нынешняя Тюмень). Оказалось, что разбитые казаками силы и были полчища Епанчи. По дороге к Чингиди казакам встречались толпы татар, на которых им приходилось разряжать пищали.

Через несколько дней перед городом Чингиди произошла еще более жестокая схватка с уцелевшими от первого погрома полчищами татар. Они были прогнаны, сам Епанча бежал, и Ермак Тимофеевич занял город Чингиди.

Много татар было взято в плен, и среди них во время последнего боя оказался татарин, одетый в шитые золотом и серебром одежды.

Видимо, он был начальником. Его привели к Ермаку.

— Кто ты такой? — спросил его атаман через переводчика, того же Миняя.

— Кутугай, сборщик податей.

— Кому ты служишь?

— Салтану Кучуму.

— Зачем ты здесь?

— Собирал ясак.

Ясаком называлась подать.

— И собрал?

— Собрал.

— Где же он?

— Твои люди отобрали.

— А где находится твой повелитель?

— В своем городе Кишлаке.

— Кишлаке, — повторил Ермак Тимофеевич. — А разве город Кучума не называется Сибирь.

— Он носит три названия: Кишлак, Сибирь и Искор, — объяснил Миняй.

— А, — протянул Ермак. — А далек этот город?

— Нет, недалеко, идти к нему нужно рекою Тавдою, затем Тоболом, а потом Иртышом...

— Много у Кучума войска? — продолжал допытываться Ермак.

— Много... Сам он слеп, но при нем много сильных воинов, вроде его родственника богатыря Маметкула и других... Кучум всех дер-

жит в большом страхе, хотя...

Кутугай остановился.

— Договаривай! — приказал Ермак Тимофеевич.

— Его не любят подвластные ханы...

— За что?

— За то, что он обращает их в свою магометову веру.

— Хорошо, — сказал Ермак, — больше ты мне не нужен, возвращайся к Кучуму и скажи ему, что мы идем к нему в гости. Пусть принимает с честью, а то мы его угостим по-свойски из наших пищалей. Сам, чай, видел, как сыпятся от них с лошадей ваши братья, что твой горох...

— Видел, видел, — покачал смущенно головой Кутугай, когда Миняй перевел ему последнюю фразу атамана.

Отпустив Кутугая, Ермак Тимофеевич отрядил часть казаков за спрятанными челнами, приказав сплавить их к городу Чингиди, где дружина провела несколько дней.

Казаки исполнили поручение, и девятого мая дружина Ермака снова пустилась вниз по Туре. Кроме челнов, за ними шли построен-

ные ими струга с добычей.

В устье Туры в первых числах июня они выдержали несколько битв с князьками Мантмаса, Коскора и Варваринской.

Казаки получили так много добычи, что не могли забрать ее полностью на струга и часть зарыли в устье Туры.

При входе в реку Тобол положение казаков сделалось тяжелым, так как им приходилось биться чуть не каждый день.

Особенно трудным выдался день 29 июня, когда Ермакова флотилия была задержана в узком месте Тобола, у Караульного Яра, железными цепями, протянутыми поперек реки.

Но Господь помог, и храбрецы, прогнав неприятеля и порвав цепи, спустились вплоть до устья реки Тавды, где простояли недолго, решая вопрос, не вернуться ли им назад, поднявшись по Тоболу в землю вогуличей.

На самого Ермака Тимофеевича нашло было раздумье, но он быстро сообразил, что для него лично возврата нет без окончательного завоевания Сибири, что захваченная громад-

ная добыча, довольная для остальных казаков, для него ничто. Его добыча — брачный венец с Ксенией Строгановой. Он решил поэтому идти дальше, подбив на это Ивана Кольцо, и они вдвоем сумели воодушевить людей.

Отдохнув, двинулись дальше со свежими силами.

Восьмого июля Ермак разбил скопища мурзы Бабасана, а 21 июля в Бабасанах, «на усть-озере на Тоболе» сразился с войском Маметкула, родственника Кучумова, стянувшего под свое начальство чувашей, казачьи орды, вогуличей, остяков и татар.

В устье реки Туры, у конца Долгого Яра (ныне Худяково) казаки встретили новое скопище врагов. Не решаясь двинуться далее, они пристали к острову выше Яра.

Но вскоре, впрочем, им удалось спуститься благополучно и 1 августа они разгромили городок, принадлежавший важному мурзе Караче.

Этот мурза был один из главных воинов Кучума, и его город был расположен в одном дне пути от Сибири — стоило лишь миновать

Чувашью гору.

Но этого дневного пути Ермаку Тимофеевичу не удалось сделать скоро. Люди снова начали роптать и требовать возвращения назад. Не зная цели своего атамана, они находили совершенно достаточным и разгром, который они произвели над поганой нечистью, и добытую ими добычу.

— Заслужили, кажись, царю-батюшке... Надолго помнить будут нехристи. Да и себя не забыли, добычи на долгий век хватит. Чего же еще тут сидеть?.. Не ровен час, соберутся нехристи в кучу, костей не унесешь.

При таком настроении дружинников нечего было думать настаивать... Надо было переждать. Этого не понимал пылкий Ермак Тимофеевич, но его надоумил благоразумный Иван Кольцо.

— Пойдем назад. Все равно теперь ни назад ни вперед идти нельзя. Сами поймут, что лучше вперед... Надо только помириволить им, теперь ведь с ними сразу не сообразишь, галдят свое и на тебе, а потом понемногу и убедить можно, — говорил он.

Ермак послушался совета своего друга и

воздержался до времени от движения в глубь страны. Они решили войти в реку Тавду, чтобы подняться по ней вверх.

Иван Кольцо оказался прав. Вся страна поднялась, и каждый шаг, вперед или назад — все равно, приходилось брать с бою, да, кроме того, наступила осенняя пора.

Особенно жесток был бой у Паченки. Трупам убитых в этом сражении было заполнено близлежащее озеро, которое и поныне зовется «Банное-Поганое».

Поредела, но сравнительно немного, и дружина Ермака. Люди погибли не от стрел, которые почти не наносили вреда, а зарезанные татарами в рукопашном бою.

Шестого августа Ермак дошел по Тавде до города Кошуна и стал воевать вогуличей. Послушавшись совета Ивана Кольца, он все же был крайне недоволен, что идет назад. Это отдаляло момент радостного свидания с любимой невестой, боль от разлуки с которой он забывал только в разгаре боев.

Его утешил в Чардынском городе «абыз-шайтанчик» — местный колдун, который предсказал ему, что он вернется и победит Ку-

чума.

— Вот видишь, — заметил Иван Иванович, — я говорил тебе, что все так будет, как ты замышлял, но надо повременить.

— Я, кажись, и жду, — раздражительно отвечал Ермак Тимофеевич.

Он действительно ждал и продолжал движение вперед по реке Тавде до пелымского князька Патлыка, но, к своему удовольствию узнав о невозможности перебраться за Камень в Россию, вернулся в зимовье Карачинское, обложив население вместо ясака доставкой хлеба.

Четырнадцатого сентября Ермак спустился по Тоболу, имея под начальством всего только 545 человек, и при впадении реки в Иртыш увидел массы татар, которые, однако, бежали и дали ему возможность подняться вверх по Иртышу до Заостровских Юрт, где он взял приступом город мурзы Атики. Здесь на казаков снова напало раздумье.

— Чего тут биться одному против нескольких десятков нехристей? И так нас осталось чуть не половина. Дождемся, что всех прирежут... Идем назад, — говорили некоторые из

казаков.

— Назад, назад!.. В Россию, — соглашались остальные.

Собрали круг и потребовали к себе атамана.

Ермак явился. Он был бледен, в глазах сверкали огоньки, губы дрожали. Он понимал, что этот момент решит дальнейший исход уже потребовавшего столько труда и жизней.

— Чего желаете, братья-товарищи? — спросил он.

— Веди нас назад, атаман, довольно, устали, да и невмоготу больше биться с нечистью... Вишь, сколько нас перебито... На что и добыча нам, коли все ляжем здесь, — заговорил один из старейших казаков.

— Назад, назад!

— Довольно!

— Не помирать же здесь всем...

Таковы были единодушные возгласы казацкого круга.

Ермак обвел горящим взглядом толпу, дав этим знать, что хочет говорить.

Все стихли.

— Братья-товарищи! — начал он зычным голосом. — Знаю я труды ваши, ведаю доблесть вашу, видел ее в битвах, где, кажется, не бывал в задних рядах...

Он остановился.

— Вестимо, не бывал, всегда впереди, атаман, одно слово, — раздались восклицания.

— Видели вы, братья-товарищи, что исполнял я волю вашу и повез вас назад, а что вышло... Те же непрестанные битвы и невозможность теперь, в глубокую осень, перевалить через Камень в Россию... Что же нам делать? Показать поганым нехристям, что боимся их и бежим от них, или же выдержать два-три боя и ворваться в самое их срединное логово — Сибирь и, сделавшись хозяевами всей страны, положить ее вместе с нашими повинными головами к ногам батюшки-царя?.. Решайте же, братья-товарищи, назад — срам и те же труды, вперед — победа и царская милость. Не говорю уже о богатейшей добыче в городе салтана Кучума...

Ермак умолк. Несколько мгновений стояла гробовая тишина. Речь атамана, видимо, произвела впечатление.

— Коли для царя-батюшки, так вперед, — слышался чей-то голос.

Это было искрой, попавшей в порох.

— Вперед, вперед!.. — раздался единодушный взрыв голосов. — Веди нас, атаман, в их поганое логовище.

Ермак был доволен — тревожные морщины исчезли с его высокого лба. Поход на Сибирь был решен, а победа над Кучумом и взятие его города равнялась полному завоеванию всего сибирского царства.

XIX

В столице Кучума

Кыкшлак, Искор или Сибирь, как назывался тремя город, служивший резиденцией салтана Кучума, стоял на высоком берегу Иртыша и был, собственно говоря, совершенно не похож на город, как мы себе представляем его в настоящее время.

Это было несколько десятков юрт, скученных между собою в полном беспорядке и обнесенных высоким валом. Таковы, впрочем, были в то время и другие татарские города,

находившиеся за Каменным поясом. Сибирь была только несколько обширнее. Она считалась неприступной крепостью, так как кроме одной дороги, охраняемой татарами, подойти к ней ни с какой стороны не было возможности.

Все юрты города были одинаковы, и только юрта Кучума выделялась между ними величиною и высотой. Она состояла из пяти отделений, из которых два занимал сам Кучум, а в остальных жили его жены. Убранство этой юрты было царственно великолепно. Все стены были обиты соболями и горностаями, полы покрыты пушистыми коврами. Много всевозможной золотой и серебряной посуды стояло на полках. Словом, во всем проявлялось огромное богатство всесильного салтана.

Сам Кучум был невысокого роста, широкоплечий старик, видимо, крепкий и сильный, но, увы, немощный, так как раскрытые глаза были мутны. Они ничего не видели.

Кучум был слеп.

Одетый в богатую одежду, он сидел, поджав ноги, на пушистом ковре в первом отделении своей юрты, служившей приемной,

окруженный стоявшими перед ним в рабочей позе сановниками и воинскими начальниками. Один из них — мурза Атика медленно рассказывал Кучуму о разгроме его города.

— И ты, несчастный, смел явиться ко мне?.. Ты не предпочел смерть в бою после бесславного поражения твоих огромных полчищ?.. — раздражительно кричал Кучум.

— Аллах сохранил меня, чтобы предостеречь тебя, могущественный повелитель.

— Меня? — презрительно усмехнулся Кучум. — Не хочешь ли ты и меня сделать таким же трусом, каким оказался сам?..

— Напрасно ты поносишь своего верного раба, могущественный повелитель, ты сам скоро узнаешь этих демонов, несущих с собою огонь и смерть. Они приближаются...

— Неужели ты думаешь, что у нас не хватит на них стрел? — гордо сказал Кучум.

— Увы, могущественный повелитель, и у меня было много стрел, но, увы, наши стрелы не делают им вреда...

— Отчего же это?

— Они не долетают до них...

— Но, значит, и их стрелы не могут поразить вас?..

— Увы, они стреляют из луков огнем и дымом и поражают насмерть на большом расстоянии...

— Ты, верно, это видел во сне или тебе пригрезилось это наяву со страху, — отвечал Кучум.

Он хотел казаться спокойным, но между тем смущение проникло в его душу. Он вспомнил, что все гаданья, произведенные по его повелению шаманами, предвещали одно дурное с самого того момента, когда дошла до него первая весть о появлении за Каменным поясом русских казаков. Все шаманы в один голос предсказывали Кучуму гибель его царства. Трех из них он велел утопить в Иртыше, но это не смягчило впечатления от их предсказаний.

Кучум старался отогнать от себя мрачные мысли, навеянные этими предсказаниями, убедить себя в том, что они только вздор, и, как мы видели, отчасти достиг этого. И вдруг этот рассказ мурзы Атика... Не то же ли ему говорили и Жизича, и Карага, и Бабасан, и да-

же Маметкул. Не могут же все они говорить ложь?

Кучум нарочно упорно допытывался у мурзы Атики подробностей об оружии русских воинов, чтобы сравнить его рассказ с тем, что говорили ему другие.

Оказалось, что все говорили одно и то же. Кучум окончательно смутился, но не подал виду и приказал собирать полчища и готовиться к бою.

Между тем отчаянность положения вынудила, как мы видели, дружину Ермака Тимофеевича идти вперед за своим отважным атаманом.

Первого октября произошел бой под Чувашскою горою с войсками, над которыми начальствовал сам Кучум. Бой был неудачен, так что казакам пришлось отступить в Аткинский городок и там укрепиться.

Кучум, с своей стороны, укрепился на Чувашской горе и не трогал казаков, рассчитывая погубить их голодом.

Но это-то и побудило казаков решиться: или победить, или умереть.

Двадцать третьего октября они напали на

Кучумов стан.

Резня была ужасная.

Казаки одолели.

Войска Кучума стали разбегаться. Сперва ушли остяки, потом оставили Кучума вогуличи, а в ночь на 26 октября он сам бежал из своей столицы.

Наутро казаки вступили в Искор, возблагодарив горячими молитвами празднуемого в этот день святого Дмитрия Солунского.

Занятие стольного города Кучумова сразу подчинило, как и предвидел Ермак Тимофеевич, казакам всю страну. На четвертый день по занятии Искора к Ермаку прибыл с подарками демьянский князь Бояр, привез с собою съестные припасы и ясак.

Затем стали собираться разбежавшиеся татары по окрестным поселкам.

За всю зиму был только один случай нападения на казаков. Пятого ноября двадцать казаков ловили рыбу на Абалацком озере и ночью, во время сна все были перерезаны толпой татар, предводимой царевичем Маметкулом.

По занятии Искора Ермак Тимофеевич от-

правил вниз по Иртышу в Демьяновские и Козымские городки пятидесятника Богдана Брызгу с пятьюдесятью казаками для сбора ясака.

Брызга своим бесчеловечием навел страх на жителей и собрал не только ясак, но и запасы хлеба и рыбы, которые и отправил к Ермаку.

В устье реки Демьянки Брызга выдержал бой с двумя тысячами татар, остяков и вогуличей, предводимых князем Демьяном, которые, после того как удачно отбили казаков, почему-то разбежались, причем сильнейший князек Роман со своим родом удалился вверх по реке Ковде, к Пелыми.

С разливом воды казаки спустились на легких стругах вниз до Рачева Городища, в котором никого не застали. Весь народ разбежался по лесам.

Следующее скопище остяков оказалось в узком месте реки Иртыш, выше впадения в оный реки Цангалы, и было разогнано несколькими выстрелами из ружей. Это дало возможность казакам проплыть до Нарымского городка, в котором они собрали ясак и 9

мая поплыли в Колтуховские волости.

В Колтуховском городке ясак взяли с бою, и 20 мая казаки доплыли до князца Самара, который, проведав о движении казаков, собрал большое число народа.

Брызга подплыл к Самарову городку незаметно и напал врасплох на спящих караульных, успел перебить весь княжеский род, что заставило всех остяков разбежаться по домам и признать власть русских.

Поставив в князья над ними Алачея, богатого остяка, Брызга спустился до Белогорья, но, убедясь в безлюдности места, повернул назад в Сибирь, куда и прибыл 29 мая с ясаком.

На обратном пути Брызги жители возвратились в свои жилища и встречали его как царского посланника.

Шестого декабря прибыли к Ермаку с ясаком, с дарами и продовольственными запасами князцы Ишбедей из Ясколбинских заболотных волостей и Суклем. Ермак, приняв дары, обласкал их. Это подействовало на них так, что они склонили к уплате ясака многих других князьков и были самыми верными по-

собниками Ермаку во всем.

Обложив ясаком население страны, Ермак Тимофеевич снарядил посольство к царю Иоанну Васильевичу под начальством своего есаула и друга Ивана Кольца, придав ему в качестве провожатого князя Ишбердея, и отправил с ним собранный ясак.

По дороге в Москву Ермак Тимофеевич, конечно, поручил Ивану Кольцу заехать к Строгановым, вручив ему две грамотки: одну к Семену Иоаникиевичу, а другую к Ксении Яковлевне, где он делился с ними своею радостью, сообщая, что посылает посольство к бабюшке-царю бить челом «новым царством», что твердо уверен в царском прощении и только живет надеждой на единственную заманчивую для него награду — брак с его дорогой лапушкой, голубкой сизой Ксенией Яковлевной.

Иван Иванович с радостью взялся исполнить это поручение, ибо чувствовал, что оно важнее для его друга, чем дальнейшее посольство в Москву.

Радость в усадьбе Строгановых по поводу приезда Ивана Кольца с известием о покорении

нии Сибири не поддается описанию, тем более что она была и неожиданна, и своевременна.

В хоромах Строгановых начало уже царить уныние и безнадежность. Без вести более года пропавшая Ермакова дружина и сам он уже считались погибшими.

На челобитье Семена Аникича с племянниками о Ермаке пришел незадолго до прибытия Ивана Кольца с посольством грозный царев ответ. Собственно, это даже не был ответ на челобитье, которое, видимо, было оставлено втуне.

В то самое время, когда Ермак шел воевать Кучумову державу, князь пелымский с вогуличами, остяками, сибирскими татарами и башкирами напал на берега Камы, выжег и истребил селения близ Чердыни, Усолья и новых крепостей Строгановых, умертвил и полонил множество крестьян. Этот разбой поставили в вину Строгановым. Иоанн Васильевич писал им, что они, как доносил ему чердынский наместник Василий Перепелицын, не умеют или не хотят оберегать границы, самовольно призвали опальных казаков, из-

вестных злодеев, и послали их воевать Сибирь, раздражив тем самым и князя пелымского, и султана Кучума, что такое дело есть измена, достойная казни.

«Мужик, — говорилось в царском указе, — помни-де, как ты с таким великим и полномочным соседом споришь». Далее предписывалось немедленно выслать Ермака с товарищами в Пермь и в Усолье Камское, где они должны покрыть вины свои совершенным усмирением вогуличей и остяков, а для безопасности городков строгановских разрешалось оставить казаков сто, не более. За неисполнение указа угрожалось опалю для Строгановых и казнью через повешение казаков.

Строгановы перепугались не на шутку, тем более что исполнить царский указ не было возможности — Ермак с товарищами уже ушел в поход.

Прибытие Ивана Кольца, везшего к ногам Иоанна повинные головы Ермака с товарищами, вместе с новым, завоеванным ими царством, переменяло все дело.

Строгановы вздохнули свободно и радостно.

Чуждая политики радовалась от души и Ксения Яковлевна, тоже уже терявшая надежду на свидание с обрученным женихом и лишь поддерживаемая верой в предсказание Мариулы.

Молодая Строганова повеселела и расцвела.

Три дня угощали Строгановы Ивана Кольца и его спутников и отпустили в далекий путь, напутствуя благословениями.

XX

Под звон колоколов

Радостно звонили колокола московских кремлевских соборов и церквей. Праздничные толпы народа наполняли Кремль и прилегающие к нему улицы. Москва, обычно пустынная в описываемое нами время, вдруг заликовала и закипела жизнью. Всюду были видны радостные лица, встречавшиеся заключали друг друга в объятия, раздавались поцелуи. Точно на дворе был светлый праздник, а между тем был январь 1582 года.

Что же вдруг так переродило угрюмую в

последние годы Москву?

Народ делил со своим грозным царем-батьюшкой великую радость. В Москву прибыло посольство из далекой Сибири бить челом великому государю «новым сибирским царством».

Кто же приносит русскому царю такой драгоценный дар?

Атаман волжских разбойников Ермак Тимофеевич! И имя Ермака переходит из уст в уста среди московского народа. Радостно бьются сердца при звуке этого когда-то страшного имени.

Во главе прибывшего посольства стоит осужденный на виселицу разбойник Иван Кольцо, которого ныне царь с честью принимает в своих царских палатах.

Народ тесной стеной окружил палаты и ждет выхода сподвижника отныне народного героя Ермака, покорителя Сибири.

Царские палаты блещут великолепным убранством. Царь Иоанн Васильевич сидит на троне, окруженный боярами, боярскими детьми и опричниками.

Светел и радостен лик царя. Сброшены

черные одежды — золотыми, серебряными и самоцветными камнями блистают одежды царские, как и одежды царских приближенных.

Перед царем с открытым лицом и смелым взглядом стоит Иван Кольцо, имея по правую руку князца Ишбердея, а позади себя пятерых казаков-товарищей. Громко и явственно читает он царю грамотку Ермака Тимофеевича. В переполненных царских палатах так тихо, что можно услышать полет мухи. И царь, и его приближенные недвижимо, внимательно слушают посланца, привезшего радостную весть.

— «Мы, бедные и опальные казаки, угрызаемые совестью, шли на смерть и присоединили знаменитую державу к России во имя Христа и великого государя навеки веков, доколе Всевышний благословит стоять миру. Ждем твоего указа, Великий Государь и воевод твоих, сдадим им царство Сибирское без всяких условий, готовые умереть или в новых подвигах чести, или на плахе, как будет угодно тебе, великий государь, и Богу».

Так закончил Иван Кольцо чтение грамо-

ты Ермака Тимофеевича и вместе с товарищами и князем Ишбердеем распростерся ниц перед царем Иоанном.

— Встань, добрый витязь, верный слуга мой, — громко сказал царь. — Отныне прощаются вам все ваши прежние вины за оказанную службу отечеству... Не останетесь ни ты, ни другие послы без награды. Ермак же да будет князем Сибирским, да распоряжается и начальствует так, как было доселе, и утверждает порядок в земле и мою верховную власть над нею... Подойди ближе ко мне, добрый витязь.

Иван Кольцо подошел к царскому трону и благоговейно преклонил колена. Царь Иоанн Васильевич дал ему свою руку, которую тот поцеловал, обливая слезами...

Чего-чего не почувствовал храбрый есаул и преданный друг Ермака Тимофеевича, стоя перед лицом царя, когда-то осудившего его на жестокую казнь, а ныне допускающего его к своей руке. Вот какова бывает изменчивость земного удела!

Прием посольства окончился.

Царь милостиво взглянул на представлен-

ные ему образцы привезенной Иваном Кольцом дани из его «нового царства». Она состояла из великолепных соболей, лисиц и горностаев. Затем он отпустил послов, наказав приближенным не забывать их достойным чествованием.

Бояре окружили, по уходе царя из посольской палаты, Ивана Кольца с товарищами и князца Ишбердея. Каждый из бояр, сыновей боярских, дворян и опричников наперебой старался переманить к себе дорогих гостей послушать их рассказы о неведомой стране, о ратных победных подвигах.

Когда Иван Кольцо и остальное посольство появилось на крыльце царской палаты, их встретил гул народного восторга. Народу на площади и улицах, бог весть откуда, было известно все, что произошло в царских палатах. Приветственный гул, вырвавшийся из тысячи грудей, лучше всего доказывал Ивану Кольцу великость подвига, задуманного и совершенного его другом и атаманом.

Его первую мыслью, как истого друга, было сожаление, что не Ермаку Тимофеевичу, а ему выпало на долю пережить эти торже-

ственные минуты возможного для человека на земле счастья.

— Да здравствует Ермак!

— Да здравствует князь Сибирский!

— Да здравствует Иван Кольцо!

— Да здравствуют добрые молодцы!

Под эти восклицания посольство уселось в приготовленные для них парадные колымаги.

Уселись в свои колымаги и царские приближенные, и этот торжественный поезд, сопровождаемый народными криками, потянулся по Москве. На колокольнях церквей не умолкал веселый перезвон.

Посольство пробыло в Москве около двух недель среди непрестанных, оказываемых ему почестей.

Царь наградил Ивана Кольца и других членов посольства деньгами и сукнами, остальным казакам послал с ними богатые дары и забвение всех их прежних вин, а Ермаку Тимофеевичу, кроме титула «князя Сибирского», — два панциря, серебряный кубок и шубу с царских плеч. Кроме того, царь немедленно отрядил воеводу князя Семена Дмитриевича

Болховского, чиновника Ивана Глухова и пятьсот стрельцов в помощь Ермаку Тимофеевичу. Весною они должны были взять ладьи у Строгановых и плыть рекою Чусовою по следам сибирских героев.

Ивану Кольцу на возвратном пути дозволил искать охотников для переселения в новый край и велел епископу вологодскому отправить туда десять священников с их семействами для христианского богослужения.

Это был первый правительственный шаг к колонизации Сибири.

Строгановы, эти усердные знаменитые граждане, виновники столь важного приобретения для России, не оставались без вознаграждения: царь Иоанн Васильевич за их службу и радение пожаловал Семену Строганову два местечка, Большую и Малую Соль на Волге, а Максиму и Никите — право торговать во всех городах беспошлинно.

Посольство уехало из Москвы, но толки о нем не прекратились в народе. Молва увеличивала славу подвига. Говорили о бесчисленных воинствах, разбитых казаками, о множестве народов, ими покоренных, о несметном

богатстве, ими найденном.

Казалось, что Сибирь упала тогда с неба для русских. Забыли ее давнишнюю известность и самое подданство, чтобы тем более славить Ермака.

Между тем завоеватели сибирские не праздну ждали доброй вести из России. Они ходили рекою Тавдою в землю вогуличей. Близ устья этой реки господствовали татарские князья Лабутан и Печенег, разбитые Ермаком в кровопролитном бою на берегу озера.

Робкие вогуличи Кошуцкой и Табиринской волостей мирно дали ясак Ермаку Тимофеевичу. Эти тихие дикари жили в совершенной независимости, не имея ни князей, ни властей. Они уважали только людей богатых и разумных, требуя от них суда в тяжбах и ссорах, а также волхвов.

Достигнув болот и лесов пелымских, рассеяв толпы вогуличей и взяв пленников, Ермак старался узнать от них о пути с берегов верхней Тавды через Каменный пояс в Пермь, чтобы открыть новое сообщение с Россией, менее опасное или трудное, но не мог проло-

жить этой дороги в пустынях, грязных и топких летом, а зимой засыпанных глубокими снегами.

Умножив число данников, расширив владения в дальней земле Югорской до реки Сосьвы и включив в их пределы страну Кондинскую, до тех пор мало известную, хотя уже давно именуемую в титуле московских государей, Ермак Тимофеевич возвратился в сибирскую столицу.

Этот бывший атаман разбойников, выказав себя неустрашимым героем, искусным вождем, выказал необыкновенный разум и в земских учреждениях, и в соблюдении воинской подчиненности, вселив в людей грубых, диких доверенность к новой власти, и строго усмирять своих буйных сподвижников, которые, преодолев столько опасностей в земле, ими завоеванной на краю света, не смели тронуть ни волоса у мирных жителей.

Грозный, неумолимый Ермак жалел воинов христианских в битвах, не жалел в случае преступления и казнил за всякое ослушание, за всякое дело постыдное, так как требовал от дружины не только повиновения, но и

чистоты душевной, чтобы угодить вместе и царю земному, и царю Небесному. Он думал, что Бог даст ему победу скорее с малым числом доброжелательных воинов, нежели с большим закоренелых грешников, и казаки его в пути и в столице сибирской вели жизнь целомудренную: сражались и молились.

В постоянных трудах и заботах незаметно пролетало время, которое иначе тянулось бы томительно медленно для Ермака Тимофеевича, с нетерпением ожидавшего возвращения Ивана Кольца с царским прощением. Он решил тогда же, передав власть свою другу и есаулу, тотчас же ехать к Строгановым, где перед алтарем сельской церкви назвать Ксению Яковлевну своею женой. Это было для него лучшей наградой за все им перенесенное и совершенное.

С таким же, если не с еще большим нетерпением ждали возвращения Ермакова посольства в хоромах строгановских. Семен Иоаникиевич и его племянники, каждый в отдельности, скрывали друг от друга беспокойство об исходе посольства. Доходившие из Москвы «на конец России» вести рисовали

царя Иоанна Васильевича человеком минуты, под впечатлением которой он и жалуется, и карает.

«Какой стих, бают, на него найдет, так и выйдет...» — думали они.

«А ну как Иван Кольцо приедет в недобрую минуту?» — восставал в их уме роковой вопрос.

— Авось укротит Господь сердце царево, ведь оно в руках Его! — утешали они себя.

Они находились в томительной неизвестности, а это состояние было не из приятных.

Ждала Ивана Кольца и Ксения Яковлевна. Веря теперь уже совершенно в непреложность слов Мариулы, уже отчасти исполнившихся, обрученная невеста Ермака Тимофеевича не сомневалась ни минуты, что доблестный есаул привезет Ермаку Тимофеевичу царское прощение. Тогда уничтожатся препятствия к их браку. Он вернется сюда и поведет ее к алтарю.

Сердце девушки сильно билось при этой мысли. Она вся отдалась радужным мечтам, и они-то смягчали для нее горечь такой долговременной разлуки.

Ждали приезда Ивана Кольца и Домаша с Яковом. Их судьба также зависела от этого приезда, так как Домаша, исполняя желание Ксении Яковлевны, решилась венчаться с нею в один день. Якову это было далеко не по вкусу, но он не смел перечить невесте, да и молодой хозяйюшке.

Скрепя сердце приходилось ждать. В этом ожидании принимали участие все люди строгановские, преданные беззаветно своим хозяевам, печаловавшиеся их печалям и радовавшиеся их радостям.

Гонцы строгановские то и дело скакали в Пермь узнать, нет ли там каких вестей московских. Наконец один из них принес известие, что Иван Кольцо возвращается с царским войском и воеводами.

«К добру это иль к худу?» — мелькнуло в головах Строгановых — и дяди, и племянников.

К счастью, это была последняя тревога. Через каких-нибудь две недели все разъяснилось. Иван Кольцо с товарищами, московскими воеводами и царскими войсками подошел к хоромам Строгановых. Здесь встретили при-

бывших хлебом и солью. Князя Болховского, Ивана Глухова и послов Ермаковых приняли в парадных горницах. Там и рассказал Иван Кольцо радостные московские вести.

Царская милость превзошла ожидания.

Весть о том, что царь сделал Ермака Тимофеевича «князем Сибирским», с быстротою мысли облетела всю усадьбу. Довольнее всех была Антиповна — ее Ксюшенька будет княгиней.

— Говорила я, что все в царских руках, вот и вышло по-моему, сделал он Ермака Тимофеевича не простым даже боярином, а князем.

В парадных горницах между тем шел пир горой, здравицы сменялись здравицами.

Московские гости оказались охочи до вина и разносолов.

XXI

Возвращение Ивана Кольца

Князь Болховский и Иван Глухов остались до весеннего разлива рек у Строгановых, а Иван Кольцо с князем Ишбердеем и своими людьми отправился ранее в Сибирь, где, как он хорошо понимал, Ермак Тимофеевич томился нетерпеливым ожиданием.

Друг и есаул Ермака был перед отъездом, как и в первый свой приезд, допущен в светлицу к Ксении Яковлевне, до которой, как мы знаем, уже дошла радостная весть о царских неизреченных милостях, оказанных Ермаку Тимофеевичу и его людям. С ним в светлицу отправился сам Семен Иоаникиевич Строганов.

Ксения Яковлевна Строганова приняла дорогого гостя во второй горнице своей светлицы вместе с Домашей, окруженная всеми своими сенными девушками. Она хотела доставить им возможность всем слышать об оказанном в Москве почете посольству Ермака Тимофеевича — своего будущего мужа. Тут же

была и умиленная Антиповна.

Ксения Яковлевна держала серебряный поднос с таким же кубком, а Домаша — серебряный жбан с фряжским вином.

Иван Иванович, подойдя, отвесил низкий поклон Строгановой, будущей княгине Сибирской. По знаку Ксении Яковлевны Домаша наполнила кубок вплоть до краев, а молодая Строганова с поклоном подала его Ивану Кольцу. Тот принял его с достоинством и залпом осушил. Он понимал, что эту честь оказывают ему как послу Ермака Тимофеевича.

— За здоровье Ксении Яковлевны! — сказал Иван Иванович, перед тем как опорожнить кубок.

Ксения Яковлевна повела бровью в сторону Домаша, и кубок был снова наполнен до краев.

— За здоровье Ермака Тимофеевича, князя Сибирского! — сказал Иван Иванович, принимая из рук Ксении Яковлевны этот второй кубок. Он также быстро осушил его и поставил на поднос.

Поднос, кубок и жбан были переданы Домашей другим сенным девушкам и ими по-

ставлен на один из столов горницы. Ксения Яковлевна села на лавку.

— Садись, Иван Иванович, посол княжеский, и поведай нам, что видел на Москве, как принимал тебя батюшка-царь, — сказала Ксения Яковлевна и указала на лавку, противоположную той, на которой сидела сама.

Иван Кольцо принимал эту часть как посол княжеский, не отказывался, а тотчас же последовал приглашению Ксении Яковлевны и сел на лавку. Рядом с ним поместился Семен Иоаникиевич.

— Изволь, Ксения Яковлевна, расскажу я тебе и твоим девушкам, что произошло в Москве, а произошла там для нас, да и для тебя, девушка, радость невиданная и негаданная... Прислушайся к речам моим, прислушайтесь и вы, красные девицы...

И Иван Кольцо начал свой рассказ о приеме, оказанном ему и его товарищам в Москве, и о царских милостях. Ксения Яковлевна слушала внимательно. Сенные девушки боялись проронить даже одно слово. На глазах старухи Антиповны блеснули слезы. Семен Иоаникиевич, слышавший уже не раз

этот рассказ, был тоже расстроган. Он с восторгом глядел на свою любимицу — племянницу, будущую княгиню Сибирскую.

«А все Бог... — неслось в его уме. — Кто бы мог ожидать такой перемены в судьбе атамана волжских разбойников? Князь... Чай, теперь на Москве каждый боярин выдал бы за него дочь свою с радостью. А Аксюша-то сама себя посватала. Поди ж ты, верна, значит, половица: „Суженого конем не объедешь“. Только бы были счастливы!.. И будут, бог даст, будут!»

Иван Иванович кончил свой длинный рассказ. Несколько минут в горнице царило глубокое молчание. Рассказ, видимо, произвел сильное впечатление, тем более что Иван Кольцо был краснобай и сумел наложить яркие краски как на описание царского приема, так и на нарисованную им картину Москвы, ее праздничное настроение и народный восторг.

— Благодарствуй, добрый молодец, — наконец сказала Ксения Яковлевна, — за рассказ твой дивный, тронул он мое сердце... Отъезжаешь ты скоро к князю Сибирскому?

— Завтра с восходом солнца, — отвечал Иван Кольцо.

— Поклон ему сердечный передай от меня, обрученной его невесты, да вот еще пояс...

Она взяла из рук Домаша великолепный, вышитый разноцветным шелком по алому бархату пояс.

Иван Иванович подошел к ней, чтобы принять ее подарок жениху.

— Скажи ему, что сама вышивала, его дожидаячи, ни одного стежка не сделано не моей рукой... Да скажи еще, что с нетерпением жду его...

— Слушаю, Ксения Яковлевна, — отвечал Иван Иванович, принимая бережно пояс, — все передам в точности... Наверное, как приеду я, и он вскорости в путь тронется. Задерживаться ему не из чего... Разве что не угомонились все нехристи...

Ксения Яковлевна не сказала ничего, встала и низко поклонилась Ивану Кольцу, показав этим, что беседа окончена. Иван Иванович тоже отвесил ей поясной поклон и вышел вместе с Семеном Иоаникиевичем.

На другой день с рассветом Иван Кольцо

действительно выехал в путь, оставив одного из своих людей в качестве проводника для князя Болховского и Ивана Глухова со стрельцами.

Жизнь в хоромах Строгановых несколько изменилась ввиду того, что у них гостили царские посланцы.

Стрельцам отвели избы в новопостроенном поселке, где жили ушедшие в поход Ермак и его люди.

Князю Болховскому и Ивану Глухову отведены были горницы нижнего этажа.

Каждый день шло праздничное столование, через край лились мед, наливки и вина фряжские. Умел Строганов принять гостей, умел и потчевать.

У стрельцов от пирогов животы распухли, каждый день были сыты и пьяны по горло. Не житье было им, а сплошная Масленица.

При такой жизни привольной, беззаботной время пролетало очень быстро. Не успели оглянуться, как снег уже стал сходить с полей, а на Чусовой льда и в помине не было.

Пришла весна. Надо было собираться в путь. Как ни гостеприимны были Строгано-

вы, а тут торопить начали.

Ермак не приезжал.

Из этого Семен Иоаникиевич с племянниками заключили, что в Сибири не все ладно, может быть, нужна помощь. Не послушаться их советов тоже было опасно. Они были у царя в случае. Отпишут, не ровен час, самому Ивану Васильевичу, что-де твои царские слуги вместо помощи Ермаку в «сибирском царстве» на наших вкусных хлебах животы нагуливают, — беда будет неминуемая — смертью казнит грозный царь.

Так думали про себя князь Болховский и Иван Глухов и, проклиная мысленно и Строгановых, и Ермака, и «новое царство», стали собираться в путь. Строгановы их не удерживали.

Челны и струги были готовы, люди посажены и после отслуженного отцом Петром напутственного молебствия гости распрощались с гостеприимными и радушными хозяевами, снабдившими их в изобилии всякими припасами — снедью и вином. Помощь Ермаку Тимофеевичу двинулась в путь.

Эта помощь была нужна в действительно-

сти.

Иван Кольцо благополучно прибыл в Сибирь с радостными вестями о царском прощении и об истинно царской награде.

Среди казаков-победителей пошло ликование — все получили награды деньгами и сукнами, чувствовали себя обновленными от тяготевших на них прежних вин и жаждали еще послужить царю-батюшке.

— Отныне наши головы неповинные, а царские, — говорили казаки.

Не так обрадовали Ермака его княжество, два царских панциря, шуба с царского плеча и кубок серебряный, как привезенная Иваном Кольцом весточка от Ксении Яковлевны Строгановой да пояс алый бархатный, шелками вышитый, работы ее ручек за непрерывными о нем думами. Как малое дитя, не мог налюбоваться он им, как малое дитя ему радовался.

Выслушал Ермак с интересом и удовольствием рассказ своего друга и есаула о пребывании его в Москве, но рассказ о беседе его с Ксенией Яковлевной заставлял повторять по несколько раз, слушал и не мог наслушаться.

Так бы и полетел он сейчас к своей лапушке, но государево дело не позволяло ему.

Русская власть здесь, в Сибири, была еще внове, держалась большею частью обаянием его имени — как ни хотел умалить свое значение Ермак с присущей ему, как всякому русскому человеку, скромностью. Отъезд его теперь в Россию мог породить всякого рода осложнения. Живущие пока тихо и смирно князья могли отложиться, пристать снова к Кучуму, который все еще бродил по Сибирскому краю с ничтожными остатками своих полчищ. Бродил также и царевич Маметкул, хотя и раненый в битве, когда Ермак Тимофеевич пошел за ним в погоню, настиг и отмстил за гнусное убийство двадцати казаков-рыболовов.

Все это заставляло Ермака и его людей быть настороже, и до прихода московского воеводы со стрельцами об отъезде к Строгановым нечего было и думать.

— Много ждал — недолго ждать осталось, — утешал Иван Кольцо Ермака Тимофеевича.

— Нет хуже последних дней жданья, — со

вздохом заметил Ермак.

— Благо есть чего дожидаться, мне вот нечего, — шутил есаул.

— И больно мне еще, что ты не попируешь на свадьбе моей... Нельзя людей оставить и без тебя, и без меня... Как еще тут начнет верховодить московский воевода, таких бед наделает, что хуже и не надо, такую кашу заварит, что и не расхлебаешь, — говорил Ермак Тимофеевич.

— Как можно нам обоим уехать! Вестимо, нельзя... Ну да мы и после свадьбы с тобою напирujemyся... Чай, сюда же привезешь молодую княгинюшку?

— Конечно, сюда, — уверенно сказал Ермак.

— А мы вам тут избу построим, красивую да теплую... Ишь, вы без меня тут как обстроились...

В Сибири действительно уже появился ряд русских изб, только Ермак жил по-прежнему в Кучумовой юрте.

— Изукрасим ее вот этим, — продолжал Иван Кольцо, указав рукою на меха и ковры передней части юрты, где он беседовал с Ер-

маком — любо-дорого глядеть будет... Жилье-то подлинно будет княжеское... А ведь сон-то твой исполнился, — вдруг переменял он разговор.

— Какой сон?

— Да тот, о котором ты мне рассказывал.

— Да, да, и подлинно... А он у меня из ума вон.

Ермак вдруг нахмурился.

— Что с тобой? — спросил заметивший это Иван Кольцо. — С чего затуманился?

— О, так, неладно надумалось...

— О чем еще?

— Да вот ты баешь, что сон исполнился, так, может, и сулил он мне венец княжеский, а не брачный... Так его мне и ненадобно.

— Тревожишь ты себя понапрасну, княжеский своим, а брачный своим чередом... Как у Строгановых-то все радуются, что Ксения Яковлевна будет княгиней...

— Радуются, говоришь? — улыбнулся уже весело Ермак Тимофеевич.

— Ног под собою не слышат...

— Ой ли?..

— Верно слово... Особенно Антиповна.

— Любит она свою питомицу, души в ней не чаает, старая...

Мрачных мыслей у Ермака как не бывало...

Прошло около двух месяцев, когда наконец прибыли князь Болховский и Иван Глухов со стрельцами. Ермак встретил их, окруженный своими славными сподвижниками с Иваном Кольцом во главе. На нем была царская шуба. На устроенном пиру гостей обходил царский кубок.

Казаки со своей стороны честили воеводу и всех стрельцов, дарили соболями, угощали их со всевозможною роскошью.

Иван Тимофеевич сдал свою дружину Ивану Кольцу, отобрал пятьдесят казаков и через неделю по прибытии московского воеводы двинулся из Сибири в запермский край, к Строгановым. Сердце его радовалось.

Перед отъездом он долго беседовал с князем Болховским и еще дольше с Иваном Ивановичем, дал советы, сделал указания, все предусмотрел своим острым умом и наказал, чтобы в случае какой-либо особой опасности послали гонца к Строгановым.

Он оставлял завоеванный им край все же с большою тревогою.

Не было ли это предчувствием?

XXII

Свадьба

Вся усадьба вообще, а хоромы Строгановых в особенности имели необычайно праздничный вид. Двор был усыпан желтым песком, тяжелые дубовые ворота отворены настежь, как бы выражая эмблему раскрытых объятий. По двору сновал народ, мужчины и женщины, в ярких праздничных платьях.

Этот снующий люд входил и выходил из хором, толпился около новосрубленной избы, появившейся во дворе усадьбы и казавшейся игрушкой среди остальных строений, хотя и празднично прибранных, но все же не могших соперничать с нею в красоте отделки и свежести только что окончившейся постройки.

Эта изба была срублена для молодых Якова и Домаша по распоряжению Семена Иоаникиевича Строганова, пожелавшего от-

благодарить их за верную службу, его — как разумного московского гонца, сумевшего избавить от беды неминуемой, а ее — как любимую сенную девушку боготворимой им племянницы.

В описываемый нами день происходила их свадьба. Но не она, конечно, так празднично настроила всю усадьбу. Свадьба эта имела значение, как событие, сопутствующее другому, более важному — другой свадьбе: молодой хозяйшки и Ермака Тимофеевича.

Ксения Яковлевна Строганова стала в этот день княгиней Сибирской. Уже более недели, как всю усадьбу с быстротою молнии облетела весть, что осыпанный царскими милостями завоеватель Сибири Ермак вернулся к Строгановым, чтобы вести свою обрученную невесту к алтарю. В этот вожделенный день возвращения жениха Ксения Яковлевна проснулась особенно печальной. Находившаяся при ней Домаша заметила это и спросила:

— Что с тобой, Ксения Яковлевна?

— И сама не знаю, Домашенька, что со мной деется, тяжело мне так на сердце, — отвечала со вздохом Строганова.

— Да это перед радостью, — умозаклчила Домаша. — Может, близок уже князь-то ваш Ермак Тимофеевич.

— Не говори лучше мне про это... не бери пуще моего сердца, я и так смерть как истомилась, его дожидаячись...

— Дождешься, Ксения Яковлевна, дождешься.

— Ох, и думать об этом боюсь я, девушка... Уж сколько времени как уехал Иван Иванович, да и воевода московский, чай, давно уже на место прибыл, а Ермака Тимофеевича нет как нет. Запропастился он, где и отчего, неизвестно, не хуже, как надысь твой Яков, — заметила Строганова.

— Да и ты, Ксения Яковлевна, кажись, клепаешь на него, как и я надысь клепала на моего Яшеньку, а он, оказывается, большую службу сослужил Семену Аникичу, что поехал на Москву-то, успокоил его, страсть как похвалил и серебром его крестный наградил... Избу вот строить приказал, не изба будет, а гнездышко...

— Иди-ка ты, Домаша, одна под венец честный, меня не дожидешься, — вздохнула Ксения

Яковлевна, и из глаз ее выкатились две слезинки.

— Нет, нет, уж зачем, столько времени ожидали, подождем малость...

— Малость... — тоном печального сомнения повторила Строганова.

— Конечно же малость... Может, не сегодня завтра пожалует наш князенька...

— Кабы твоими устами да мед пить...

— И меду, и браги, и вина заморского, всего попьем на нашей свадьбе, — весело сказала Домаша.

Ксения Яковлевна даже не улыбнулась, несмотря на то что смех ее любимой сенной девушки всегда действовал на нее заразительно. Видимо, действительно было у нее тяжело на сердце.

— Матушка еще вчера говорила, что близко он... А она чует... — как бы про себя уронила Домаша.

— Разве говорила? — встрепелась молодая Строганова.

— Да, была я у нее вчера под вечер. Слышу, говорит, гул от копыт лошадиных, едет это суженый Ксении Яковлевны...

— Ты не врешь? — с тревожным сомнением в голосе спросила она.

— Зачем врать... Пес врет, а не я, как говорит Антиповна.

— Так и сказала, да?..

— Верно слово...

— Кабы ее слова да исполнились...

— А когда же они не исполнялись?..

— Так-то так, да мне что-то и ей не верится, уж очень мне тягостно.

— Говорю, это перед радостью.

— Кабы так... — со вздохом молвила Ксения Яковлевна.

Слова Домаши исполнялись с какою-то прямо волшебною быстротою.

Вышеприведенный разговор между девушками происходил сперва в опочивальне Строгановой, пока она делала свой туалет, а затем во второй горнице светлицы, куда они вышли.

— Кабы так... — снова, как бы отвечая своей мысли, повторила молодая Строганова, подходя с Домашей, по обыкновению, к окну, из которого виднелась бывшая изба Ермака Тимофеевича.

Новопостроенный поселок был после ухода московских стрельцов пуст. Семен Иоаникиевич ожидал со дня на день новых посельщиков.

— Да оно так и есть! — воскликнула Домаша. — Гляди! Кто едет-то!

Ксения Яковлевна взглянула по направлению руки своей сенной девушки. Сердце у нее радостно забилося. По дороге, прилегающей к поселку, но еще довольно далеко от хором, двигалась группа всадников, человек пятьдесят, а впереди ехал, стройно держась в седле и, казалось, подавляя своею тяжестью низкорослую лошадку, красивый статный мужчина. Скорее зрением сердца, нежели глаз, которые у нее не были так зорки, как у Домаши, Ксения Яковлевна узрела в этом едущем впереди отряда всаднике Ермака Тимофеевича.

— Кажись, и впрямь это он! — воскликнула Строганова, схватившись за руку Домаши.

Голос ее дрожал. Она то бледнела, то краснела.

Отряд действительно приближался, и уже теперь Ксения Яковлевна явственно различала фигуру своего жениха.

— Он, он! — воскликнула она. — Надо дать знать дяде...

И Ксения Яковлевна сделала движение, чтобы идти в рукодельную.

— Знают уж все, знают... — остановила ее Домаша. — Глянь-ка, на дворе что делается!

Там действительно царило небывалое оживление, доказывающее, что приближение желанного и долгожданного гостя было замечено, а следовательно, и Семен Аникич был об этом предупрежден.

— Ермак Тимофеевич жалует, Ермак Тимофеевич жалует! — вбежала в горницу Антиповна.

— Видим, видим, нянюшка, — в один голос сказали девушки.

— А коли видите, так точно не знаете, что делать надобно, — строго сказала Антиповна.

— Что же делать, нянюшка? — спросила Ксения Яковлевна.

— Ишь, шалые, замуж выходят, а ума не нажили ни на столько, — показала Антиповна на кончик своего мизинца. — Чай, жених-то обрученный прямехонько к невесте пожалует, с дядей ее и с братцами поздоро-

вавшись...

— Ну, вестимо, так, — отвечала Домаша.

— «Вестимо, так...» — передразнила ее Антиповна. — И пустая голова же ты, Домаша...

— Невдомек мне, крестная, за что гневаешься, — отвечала та.

— Невдомек, а домекнуться бы следовало... Не в домашнем же сарафане встречать невесте жениха-то? А?..

— И верно, крестная... Так мы с Ксенией Яковлевной обрадовались, что из ума вон...

— Есть ли ум-то у тебя, егоза?.. Ступай, переодевай Ксенюшку, обряди ее в голубой сарафан, серебром затканый... В новый...

— Идем, Ксения Яковлевна, — припрыгнула на месте Домаша. — И какая ты будешь в нем красавица!

Девушки быстро пошли в опочивальню.

— Кокошник надень тоже голубой с жемчугом... — крикнула им вдогонку Антиповна. — Да торопитесь, я приду посмотрю, когда управитесь, а теперь побегу встречать нашего сокола.

Когда она вернулась в рукодельную, то она оказалась пустой. Сенные девушки предупре-

дили своего аргуса и также бросились на двор встречать жениха своей хозяйюшки.

— Ишь, долгогривые, стреканули... — проворчала Антиповна. — Погодите, всех опять сюда сгоню, чтобы на местах были, когда он в светлицу пожалует...

Когда Антиповна спустилась на двор, в раскрытые настежь ворота уже въезжал Ермак Тимофеевич со своими спутниками. Он остановился у крыльца, на котором стояли Семен Аникиевич, Никита Григорьевич и Максим Яковлевич Строгановы. Они поочередно заключили его в свои объятия и трижды расцеловались.

Кругом толпились слуги Строгановы, и мужчины и женщины проталкивались вперед, чтобы хоть одним глазком взглянуть на будущего мужа своей молодой хозяйюшки, еще так недавно грозного атамана разбойников, а теперь взысканного царскою милостью князя Сибирского.

Ермак Тимофеевич был введен Строгановыми в парадные горницы. Он никогда не бывал в них прежде.

В них теперь принимался он не как ата-

ман вольных людей, а как князь Сибирский и будущий близкий родственник.

Людей Ермака взяли на свое попечение Касьян и Яков и повели напрямиком в застольную избу.

— Как живет-может моя дорогая обрученная невестушка? — был первый вопрос Ермака Тимофеевича после взаимного приветствия, когда все сели на обитых парчой лавках парадной горницы.

— Слава тебе господи! — ответил Семен Иоаникиевич. — Чай, теперь сама же не своя от радости, что прибыл ты... Заждались мы тебя, князь, не знали, что и подумать... Не стряслось ли чего дурного, опасались.

— Чему случиться?.. Все хорошо до сих пор шло, — ответил Ермак. — Только нельзя было отъехать до прибытия Ивана, а затем и воевод, а они замедлили.

— Уж и не говори. Насилу отсюда их мы выпроводили... Только что же мы? Соловья баснями не кормят. Не закусить ли чего с дороги, князь?

Семен Иоаникиевич, видимо, с особенным наслаждением титуловал Ермака Тимофееви-

ча.

— Нет уж, уволь, Семен Аникич, куска в рот не возьму ранее, пока не увижу мою ненаглядную невестушку, — ответил Ермак.

— Ин будь по-твоему... Пойдем к ней в светлицу, чай, она теперь уж обрядилась...

И они все четверо отправились наверх.

С радостным трепетом, уже переодевшаяся с помощью Домаши, ждала Ксения Яковлевна дорогого и желанного гостя. Во второй горнице светлицы она сидела, окруженная своими сестренными девушками, а стоявшая рядом с ней с одной стороны Домаша, а с другой Антиповна держали первая — золотой жбан с фряжским вином, а вторая — золотой поднос с таким же кубком.

Ермак Тимофеевич вошел в сопровождении ее дяди и братьев и низко в пояс поклонился сперва Ксении Яковлевне, а затем на обе стороны отвесил по глубокому поклону и остальным присутствующим. Антиповна подала поднос молодой Строгановой. Ходуном заходил он в ее дрожащих от волнения руках, но она перемогла себя и подала налитый Домашей до краев вином кубок своему обручен-

ному жениху.

— Здравствуй, князь — свет наш Ермак Тимофеевич.

— Здравствуй, Ксения Яковлевна.

Ермак залпом осушил кубок, и молодая Строганова, быстро отдав поднос Антиповне, упала в объятия своего жениха.

Это был не официальный, обрядовый, «встречный поцелуй».

Это был горячий поцелуй любви и окончившейся наконец долгой томительной разлуки.

Так встретились жених и невеста.

Затем Ксения Яковлевна вместе с женихом, дядей и братьями спустилась в парадные горницы, где были приготовлены уже столы со всевозможными яствами и питьями.

За трапезой Ермак Тимофеевич без конца рассказывал о перенесенном им и его удалцами за Каменным поясом.

— Все, слава Создателю, хорошо кончилось! — заключил он свой рассказ.

— Уж как не хорошо, чего лучше!.. — заметил Семен Иоаникиевич и осушил свой кубок с пожеланием здоровья князю Сибирскому.

Молодые Строгановы присоединились к этому пожеланию.

После трапезы молодая Строганова удалилась в свою светлицу, а Семен Иоаникиевич повел Ермака Тимофеевича в свою горницу, пригласил с собой и племянников. Там они приступили к обсуждению вопроса о предстоящей свадьбе.

— Скрываться нам ноне нечего, — говорил Семен Иоаникиевич, — выдаем мы нашу кралячку за царева слугу заслуженного, за князя Сибирского, пусть порадуетя с нами вся округа. Позовем и пермского наместника, и все власти пермские, пусть поглядят на покорителя Сибири, пусть порадуются нашему счастью.

Ни племянники, ни Ермак Тимофеевич не перечили затее старика.

На том и решили.

— Ведь мы, добрые молодцы, две свадьбы будем праздновать, — сказал старик Строганов.

— Две? — вопросительно посмотрел на него Ермак Тимофеевич.

— Да. Домаша просватала себя за Якова, и

Аксюша пожелала, чтобы их свадьба была в один день с вашей.

— А-а, — заметил Ермак Тимофеевич, — славная из них будет парочка. Но когда же свадьба-то?

— А какой у нас ноне день?..

— Пятница.

— Так не в это, а в то воскресенье...

— Так долго! — вздохнул Ермак.

— Раньше не управимся.

И с этим согласились все.

Со следующего же дня в усадьбе Строгановых закипела лихорадочная деятельность. Гонцы летели взад и вперед, в Пермь и обратно. Все принимало тот праздничный торжественный вид, с описания которого мы начали эту главу нашего правдивого повествования.

Для Ермака Тимофеевича, почти безвыходно сидевшего в светлице своей невесты и наслаждавшегося вовсю отдыхом от бранных трудов и утомительного путешествия, время летело быстро.

Уже накануне дня свадьбы собрались все приглашенные поезжане. Прибыл и перм-

ский наместник, и все пермские власти, а также именитые купцы и граждане. Битком были набиты хоромы строгановские приезжими.

Утром, после обедни, отец Петр в церкви старого поселка обвенчал сперва князя с Ксенией Яковлевной Строгановой, потом Якова и Домашу, на долю которых случайно выпала такая пышная, невиданная в этом краю свадьба.

Пир свадебный для обеих пар был в парадных горницах.

Ермак Тимофеевич с молодой женой, осыпанные при входе в хоромы после венчания, как потом и Яков с Домашей, рожью, сидели за первым столом, а вторая пара за другим, где находились все слуги Строгановых и сенные девушки Ксении Яковлевны.

Тут же на почетном месте восседала одетая в новый шелковый сарафан и мать Домашки — полонянка Мариула, благословившая свою дочь и жениха к венцу вместе с Семёном Иоаникиевичем Строгановым.

Пир, что называется, шел горою.

В конце концов все смешалось, воевода,

власти, хозяева и слуги и все веселились от души, без чинов.

В описываемые нами отдаленные времена не было такого резкого различия сословий и положений. Хорошо ли это или худо — здесь не место разрешать вопрос.

Поздним вечером молодых князя и княгиню Сибирских проводили в отведенную им и уже давно приготовленную опочивальню в том же этаже, где помещались парадные горницы, а Якова и Домашу — в новопостроенную избу.

Поезжане с гостеприимными Строгановыми пировали до белого утра.

Смерть Ивана Кольца

«Счастливые часов не наблюдают», — говорит известная поговорка. Она всецело оправдывалась на Ермаке Тимофеевиче и Ксении Яковлевне после их свадьбы. Оба они отдались всецело блаженству законной любви, и дни, и недели казались им быстролетными мгновениями. В объятиях друг друга они забыли весь мир, забыли и новое завоеванное царство, за которое их величали князем и княгинею.

Прошел так называемый «медовый месяц», прошли незаметно еще три, и первым из-под захлестнувшей их волны счастья вынырнул Ермак Тимофеевич.

Строго говоря, и вынырнул он не сам, а был вытащен посторонней силой.

Из Сибири прибыл гонец, привезший печальные вести.

Во-первых, в Сибири открылась жестокая цинга, болезнь обыкновенная для новых пришельцев в климатах сырых, холодных в ме-

стах еще диких, мало населенных. Занемогли стрельцы, от них и казаки, многие лишились силы, многие и жизни.

Во-вторых, наступила ранняя зима, оказался недостаток в съестных припасах. Страшные морозы, вьюги и метели не позволили казакам ловить зверей и рыбу, мешали и доставлять хлеб из соседних юрт, где некоторые жители занимались скудным земледелием.

Пришел голод.

Люди гибли ежедневно, а в числе многих умер и сам воевода Иоаннов князь Болховский, с честью и слезами схороненный в Искоре.

С этими-то грустными известиями и прибыл из Сибири гонец от Ивана Кольца, умолявшего Ермака Тимофеевича поспешить с приездом, дабы вдохнуть бодрость в оставшихся в живых казаков и стрельцов.

Нечего и говорить, что Ермак решился ехать немедленно. Он не боялся смерти, но страшился утратить завоеванное, обмануть надежды царя и России. Личные дела и личные чувства отходили на второй план, как бы

ни серьезны были первые и не велики вторые.

Ермак Тимофеевич с болью в сердце выслушал гонца и наказал ему не говорить лишнего о бедствиях в Сибири строгановским людям и прибывшим ранее казакам, объявил, что двинется обратно через несколько дней.

Гонец был отправлен в поселок к товарищам.

Послушный приказанию любимого атамана, он не передал и десятой доли тех бед, которые посетили казаков и стрельцов в Сибири со времени отъезда Ермака Тимофеевича, хотя и не скрыл от казаков, что на днях атаман решил ехать обратно.

— И давно пора! — заметили некоторые из казаков, которые в привольной жизни томились от бездействия.

Были и такие, кто втихомолку вздохнул по этой жизни, но вслух не решился возражать первым.

— В путь-то, значит, двинемся с молодой княгиней? — спросили гонца казаки.

— Уж этого, братцы, не знаю. Только едва ли... — отвечал гонец.

— Почему же?

— Да неустройство еще там у нас... — уклончиво ответил гонец. — Воевода московский умер.

— Умер? Отчего?

— Чудак человек, отчего... Смерть Бог по душу послал, ну и умер...

— Так, так, оно, конечно. Как же там без воеводы и атамана? Одному Ивану Ивановичу не управиться.

— Он и прислал меня за атаманом. Слухи ходят, что Кучум опять собирает нечисть-то.

— Вот оно что... Ну теперь он не страшен. Наши да стрельцы управятся с ним так, что любо-дорого.

— Оно верно, а все с атаманом-то будет поспокойнее.

— Это что и говорить...

Такие разговоры шли в поселке, пока угощали гонца после дальнего пути.

Ермак Тимофеевич между тем, отпустив гонца, не вернулся в опочивальню, где сладким сном счастливой любимой женщины спала его молодая княгиня, а прямо прошел к Семену Иоаникиевичу Строганову.

Видимо, на лице Ермака было слишком красноречиво написано впечатление, произведенное на него полученными из Сибири вестьюми, так как Семен Иоаникиевич тотчас спросил:

— Что случилось?

Оба сели на лавку.

— Плохие вести прислал мне Иван Иванович... Под утро сегодня прибыл от него гонец.

— Об этом я слышал... Что же, опять поднялись кочевники?

— Хуже.

И Ермак Тимофеевич рассказал Семену Иоаникиевичу все, что только что слышал от гонца.

Узнав о смерти князя Болховского, недавнего гостя Строгановых, Семен Иоаникиевич набожно перекрестился.

— Царство ему небесное!

Ермак Тимофеевич последовал его примеру, мысленно упрекая себя, что не сделал этого ранее. «Ишь как меня ошеломили вести-то», — подумал он, как бы в оправдание себе.

— Недаром ему не хотелось уезжать отсю-

да, может, чувствовал, что на смерть едет, а я его торопил надясь, — сокрушался Строганов.

— Все мы под Богом ходим, и где застанет нас смерть — неведомо, — заметил задумчиво Ермак Тимофеевич.

— Что же теперь делать-то? — спросил Строганов.

— Мне на днях ехать надобно.

— Один поедешь? — дрогнувшим голосом спросил Семен Иоаникиевич.

Он свято признавал за Ермаком Тимофеевичем право увезти в Сибирь жену Ксению Яковлевну, но предстоящая разлука с племянницей уже давно до боли сжимала его сердце. После совещания с племянниками он сам собирался в Москву бить челом батюшке-царю о переводе Ермака воеводою в запермский край и посылке на его место другого воеводы, чтобы таким образом разлука с племянницей была бы временной. Отпустить молодую женщину в далекий край, где на каждом шагу грозит опасность от шалой стрелы кочевника, да где еще теперь свирепствует смертельная болезнь, было более чем тяжело Строгановым, но идти против власти мужа они не

смели, да и сама молодая княгиня не захочет расстаться даже временно с горячо любимым мужем.

Потому-то Семен Иоаникиевич с опаскою задал свой вопрос Ермаку Тимофеевичу и с тревогой ожидал ответа.

— Одному надо ехать... — с тихим вздохом отвечал Ермак. — Куда же теперь брать Ксюшеньку!.. По весне уж за ней приеду... Надо будет отписать царю о присылке другого во-еводы, да войско еще, дабы не только удержать взятое, но взять еще больше.

— Оно, конечно, по весне лучше, — облегченно вздохнул Строганов, — а то теперь и дорога тяжела, метели да вьюги, где же ей, слабой женщине, вынести... Но с ней-то не согласишься...

— Ничего, уговорю ее, поймет, что нельзя... В невестах без меня ждала и в женах несколько месяцев без меня побудет...

— Только ты и уговоришь. А то она убиваться начнет, занеможет еще...

— Уговорю, уговорю...

На том и решили к удовольствию Семена Иоаникиевича, который тотчас же позвал

племянников и сообщил радостное и для них решение.

— А я на днях в Москву челом бить царю-батюшке, о чем мы решили, — сказал старик Строганов.

— Это дело! — согласились с ним оба племянника.

Вернувшись в опочивальню к своей молодой жене, Ермак Тимофеевич застал ее уже вставшей и одетой.

Она с такой нежностью обняла его и поцеловала, ее прекрасное лицо выражало такое очарование и довольство, что у Ермака сжалось сердце при мысли, что ему через несколько дней придется покинуть дом на несколько месяцев.

До позднего вечера он все откладывал тяжелую беседу со своей женой.

— Дорогая моя, ненаглядная, — наконец решился он, — я должен буду на днях уехать... ненадолго...

— Уехать?.. Куда? — с тревогой спросила молодая женушка.

— В Сибирь.

— Так мы едем вместе. Что же ты не сказал

раньше?.. Надо велеть укладываться.

— Нет, моя дорогая женушка. Теперь тебе ехать невозможно.

— Невозможно? Почему?

— Успокойся, моя ненаглядная лапушка, — обнял жену Ермак Тимофеевич, — я расскажу тебе все по порядку, и поймешь ты, что мне одному надо ехать.

И Ермак поведал ей откровенно все, что сообщил ему гонец, представил опасности как самой дороги, так и пребывания в Искоре...

— Но ведь ты же едешь? — спросила сквозь слезы Ксения Яковлевна.

— Я — другое дело, я мужчина, со мной ничего не станется... А тебя побережь должно...

— И для того покинуть, только что повенчавшись... Жена должна быть вместе с мужем, делить с ним труды и опасности, — горячо сказала молодая женщина. — Не пущу я тебя на верную смерть без меня...

— И что ты, что ты! — воскликнул Ермак Тимофеевич. — Да мимо меня идет это слово...

Ксения Яковлевна сама перепугалась.

— Прости меня, это так у меня вырвалось...

Возьми с собою или не езди и ты!..

— И того и другого нельзя, моя милая. Зимою такую дальнюю дорогу тебе не вынести, а там болезнь эта... Сам же я ехать должен, это государево дело, мне царем-батюшкой Сибирь поручена, и я блюсти ее для него должен... До весны недалеко, не заметишь, как придет она, а я по весне за тобой приеду, и тогда мы никогда не расстанемся...

Ермак Тимофеевич нежно обнял жену, привлек ее к себе и горячо поцеловал.

— Милый, как мне страшно за тебя... — шепнула она.

Диву дались Строгановы, когда увидели на другой день Ксению Яковлевну, спокойно обсуждавшую поездку в Сибирь мужа.

И даже после отъезда, после отслуженного напутственного молебна, хотя молодая женщина и горько плакала и сенные девушки почти насильно оторвали ее от Ермака Тимофеевича — так крепко обвила она руками его шею и замерла в слезах на его груди, — Ксения собрала все свое мужество и вместе со всеми молча стояла у окна и глядела, как уезжал ее муж во главе отряда.

Прибывшего гонца он не взял с собою, а отправил в Москву к царю Иоанну Васильевичу с известием о смерти князя Болховского и с просьбой прислать нового воеводу да еще пятьсот стрельцов.

Отряд скрылся из глаз, и Ксения Яковлевна отправилась в свои горницы вместе с Домашей, которая, и выйдя замуж, не рассталась со своей госпожой, став старшею над сенными девушками.

С неизбежными трудностями преодолев зимний путь и особенно перевал через Каменный пояс, Ермак Тимофеевич прибыл наконец в Искор и нашел положение дел в более худшем виде, нежели извещал о том гонец. Около половины стрельцов и казаков погибло от заразы и голода.

Приезд его, однако, вдохнул бодрость в оставшихся в живых его удалых сподвижников. Иван Кольцо встретил его радостно, они по-братски обнялись, после чего Ермак поздоровался с людьми и отправился вместе со своим другом в юрту Кучумову.

— Поздравить можно ли тебя с молодой княгинюшкою?.. — спросил Иван Кольцо.

— Да... Можно... Только оставил я ее у дяди и братьев... нельзя было взять в дальнюю дорогу, да и здесь неладно бы было ей, пока не кончится зараза.

— Зараза-то ослабла, — заметил Иван Кольцо — и хлебушка мы теперь добыли, а все же ты, Ермак Тимофеевич, дельно поступил, что один приехал, ненадежно здесь еще...

— У нас с тобой будет надежно, — сказал Ермак, — только за дело надо опять приняться... А по весне за ней съезжу да привезу.

— Жаль, что не мог я порадоваться на ваше счастье.

— Недолго оно и было, — тяжело вздохнул Ермак Тимофеевич.

— Да приведет ли еще Бог порадоваться?

— Что ты? Вот весною...

— Доживу ли?.. Все мы под Богом ходим...

— Пустое ты баешь, Иван Иванович, жив будешь и здоров, не попустит Бог, чтобы я тебя лишился, — сказал растроганно Ермак.

Однако скоро Ермака настигло это несчастье — Бог не помог, и он лишился Ивана Кольца, видимо, предчувствовавшего свою

гибель.

Мурза или князь Карача, оставив своего царя Кучума в невзгоде, имел на Таре многолюдный улус, лазутчиков в Искоре и единомышленников во всех соседних юртах. Он, видимо, хотел сделаться избавителем отечества и выжидал время, усыпляя бдительность русских наружной покорностью.

Вскоре по приезде Ермака Тимофеевича он прислал послов с дарами, прося защиты казаков от ногаев, будто бы угрожавших его улусу. Ермак поверил и послал к нему в помощь Ивана Кольца с сорока лучшими воинами.

Эта горсть отважных людей могла бы двумя или тремя залпами рассеять тысячи дикарей, но, влекомые судьбою на гибель казаки шли к мнимым друзьям без всякой опаски и мирно стали под ножи убийц.

Первый герой, друг и есаул Ермака и его воины, львы в сечах, пали, как агнцы, на пути в татарский улус. Только один спасшийся от предательской резни казак, явившись в Искор, сообщил о смерти славного есаула и его товарищей.

Как дикий зверь, заревел Ермак Тимофее-

вич, получив это ужасное известие и, тотчас собрав людей, поспешил с ними на место коварной засады, приготовленной мнимыми друзьями.

Тяжелая картина — сорок зарезанных казаков! — предстала перед ними. Несчастные, видимо, погибли без борьбы, застигнутые врасплох.

Ермак Тимофеевич нашел среди убитых своего друга и главного сподвижника, упал на него и долго горько плакал. Тут же он дал страшную клятву жестоко отомстить за смерть Ивана Кольца, сложить ему надгробный памятник из тысячей татарских голов. Затем приказал рыть две могилы: одну большую братскую для тридцати девяти казаков, а другую отдельную — для Ивана Кольца.

Когда могилы были вырыты, убитых с молитвами положили рядом и засыпали землей.

Над могилой Ивана Кольца был насыпан высокий холм и водружен большой деревянный крест. Долго молился у этой могилы Ермак Тимофеевич и снова повторял у подножия могильного холма свою клятву.

Вернувшись в Искор, Ермак стал обдумывать поход против мурзы Карачи, который он намеревался предпринять на другой же день, но, увы, не успел. На другой день Искор оказался окруженным тесным кольцом восставших кочевников, а Ермак Тимофеевич со своими казаками и стрельцами попал в осадное положение.

XXIV

Смерть Ермака

После предательского убийства сорока казаков, призванных им на помощь, мурза Карача сбросил с себя личину русского данника, возбудил мятеж всех остальных русских данников — татар и остяков, которые соединились с ним и стали обозами вокруг Искора.

Ермак Тимофеевич впервые почувствовал опасность.

То, что он завоевал, его царство, его подданные — все вдруг исчезло. Несколько саженей деревянной стены с земляными укреплениями остались единственным владением русских людей в Сибири.

Ермак мог делать вылазки, но жалел своих людей, и без того малочисленных. Стрелять? Бесполезно, так как имелись только легкие пушки, а неприятель стоял далеко и не хотел приступать к стенам в надежде взять крепость с осажденными голодом. Последнее было бы действительно неминуемым для осажденных в Искоре, если бы осада продлилась.

Но перспектива голодной смерти вызвала отчаянную решимость. Ночью Ермак вывел тихо своих казаков из города, прокрался сквозь обозы неприятельские к месту, называвшемуся Сауксаном, где был стан Карачи, в нескольких верстах от города, и кинулся на сонных татар.

Произошло страшное побоище.

Татар погибло множество и в их числе два сына мурзы Карачи. Казаки гнали бегущих во все стороны, мстя за есаула Ивана Кольца и товарищей. Сам Карача еле спасся бегством за озеро с малым числом людей.

Зажглась утренняя заря. Свет ободрил неприятелей, и они, подоспев из других станов, удержали бегущих, сомкнулись и вступили в бой, но казаки, засев в обозе Карачи,

сильною ружейною стрельбою отразили все нападения и в полдень с торжеством возвратились в освобожденный от осады город.

Карача в ужасе немедленно снял осаду и бежал за Ишим. Окрестные селения и юрты снова признали власть Ермака Тимофеевича.

Еще судьба благоприятствовала героям.

Для того чтобы устрашить неприятеля и для будущей своей безопасности, Ермак Тимофеевич, хотя уже слабым числом людей, решил идти вслед за Карачею, вверх Иртышом, чтобы распространить на восток владения России.

Он победил князя Вениша и взял город его, стоявший на берегу озера, выше устья Вагайского, завоевал все места до Ишима, мстя ужасно непокорным, милуя только безоружных.

В Саргацкой волости жил тогда знаменитый старейшина, наследственный судья всех улусов татарских от времен первого хана сибирского и князя — Еличай в городе Тюбендо.

И Еличай, и Вениш изъявили смирение.

Князь Еличай вместе с данью представил Ермаку и свою юную дочь, невесту сына Кучу-

ма, но верный супруг велел прогнать ее.

Близ устья Ишимского в кровопролитной схватке с жителями, бедными и свирепыми, Ермак лишился пяти мужественных казаков, доньине воспеваемых в унылых сибирских песнях.

Он взял затем еще городок Ташангкан и наконец, достигнув реки Ишим, где начинаются голые степи, и распределив дань в этом новом своем завоевании, Ермак Тимофеевич вернулся в Искор с огромной добычей.

Время для него летело быстро: в походе, в нервном состоянии из-за непрерывных опасностей дни кажутся часами.

Наступила и прошла весна, началось лето, а между тем посланный в Москву Ермаком Тимофеевичем гонец не возвращался.

Не было также ни слуху ни духу о московском воеводе и стрельцах. Ермак, считая последним поражением татар власть России в новом царстве совершенно укрепленною, решил, взяв с собою всего десять казаков и поручив город старейшим из своих сподвижников, поехать в запермский край за своей молодой женой.

Это было в первых числах августа.

Старшие казаки предлагали ему взять с собою отряд хотя бы в двадцать человек, но Ермак Тимофеевич не послушался этого совета, во-первых, потому, что не хотел ослаблять и без того малую военную силу русских, а во-вторых, потому, что считал весь край успокоенным и дорогу до перевала через Каменный пояс вполне безопасной.

Это и было так, но он забыл своего злейшего врага султана Кучума, продолжавшего бродить по степям сибирским с неустрашимой злобою и неутомимой жаждой мести в сердце против Ермака, отнявшего у него царство и его любимого родственника Маметкула, отправленного заложником к московскому царю.

Пятого августа после довольно большого перехода Ермак Тимофеевич расположился в шатрах, оставив лодки свои у берега, близ Вогейского устья. Здесь Иртыш, делясь надвое, течет весьма кривой излучиной к востоку и прямым искусственным каналом, называемым ныне Ермаковой перекопью, но вырытым, как надобно думать, в древнейшие вре-

мена.

Там же, к югу от реки, среди низкого луга, возвышается холм, насыпанный, по преданию, руками девичьими для царской палатки.

Здесь и суждено было погибнуть завоевателю Сибири. Погибнуть по своей оплошности, объясняемой, быть может, неодолимым действием рока.

Лил сильный дождь, река и ветер шумели. Ермак и его спутники крепко спали, убаюканные этими звуками, даже не оставив на стороже хотя бы одного казака. Кругом — он был убежден в этом — не было никого.

А между тем за ним по пятам следовал хитрый Кучум по противоположному берегу Иртыша. Его лазутчики сыскали брод, тайно приблизились к спавшим на берегу под шатрами казакам, взяли у них три пищали с ладунками и принесли Кучуму в доказательство того, что мертвецки спят ненавистные им пришельцы.

«Заиграло Кучумово сердце», как сказано в летописи. Он напал на сонных и всех перерезал, кроме двоих.

Один бежал в Искор.

Другой, сам Ермак, пробужденный звуками мечей и стоном умирающих, воспрянул, взмахом сабли отразил нападавших на него убийц и кинулся в бурные волны Иртыша, но, не доплыв до своей ладьи, пошел ко дну под тяжестью надетой на нем железной брони — подарка царя Иоанна Васильевича.

О чем думал он, захлебываясь в волнах Иртыша? О потере ли своей славы или же, что вернее, о своей любимой жене?

Иртыш, ставший его могилой, схоронил и эту тайну предсмертных дум завоевателя Сибири.

Волны Иртыша, поглотив его тело, не поглотили его славы: Россия, история и церковь гласят Ермаку вечную память.

Отняв жизнь у Ермака, Кучум не мог отнять сибирского царства у великой державы, которая однажды признала его своим достоинством.

Ни современники, ни потомство не думали отнимать у Ермака полной чести его завоевания, величая доблесть его не только в летописях, но и в святых храмах, где мы еще

ныне торжественно за него молимся.

В Сибири имя этого витязя живет и в названиях мест, и в преданиях изустных. Тело Ермаково приплыло 13 августа к селению Епаченской юрты в двенадцати верстах от Абалана, где татарин Явиш, внук князя Бегиша, ловя рыбу, увидел в реке ноги человеческие, тотчас вытащил мертвого, узнав его по железным латам с медною оправою, с золотым орлом на груди, и созвал всех жителей деревни посмотреть на бездыханного исполина.

Пишут, что один мурза, по имени Кандаул, хотел снять броню с мертвого, но из тела, уже оцепенелого, вдруг хлынула свежая кровь. Злобные татары, положив тело Ермака Тимофеевича на рундук, стали метать в него стрелы.

Это продолжалось шесть недель. Царь Кучум и самые отдаленные князья остяцкие съехались туда наслаждаться местью. К их удивлению, хищные птицы стаями летали над трупом, но не смели его коснуться.

Страшные видения и сны заставили неверных схоронить мертвеца на Бетишевском

кладбище, под кудрявою сосною.

Изжарив и съев в честь его тридцать быков в день погребения, отдали верхнюю кольчугу Ермакову жрецам славного белогорского идола, а нижнюю — мурзе Кандауну, кафтан — князю Сейдеку, а саблю с поясом — работу Ксении Яковлевны Строгановой — мурзе Караче.

Многие чудеса стали совершаться над могилою Ермака: сиял яркий свет и пылал столб огненный.

Испуганное магометанское духовенство нашло способ скрыть эту могилу страшного для них и после смерти Ермака Тимофеевича, и она до сих пор никому неизвестна.

XXV

В тихой обители

Весть о гибели Ермака привела в неописуемый ужас казаков и стрельцов, оставшихся в Искоре. На собранном круге решено было уведомить об этом печальном событии Строгановых и молодую княгиню Сибирскую.

Жребий пал на одного из старых сподвижников Ермака Тимофеевича, который тотчас поехал в скорбный путь печальным вестником.

В хоромах Строгановых уже несколько месяцев царили тревога и уныние. Ксения Яковлевна, нетерпеливо ожидавшая приезда за нею мужа, по-детски радовалась наступившим весенним дням.

Но дни шли за днями, прошла весна, наступило и стало проходить лето, а о Ермаке Тимофеевиче не было ни слуху ни духу. Ксения Яковлевна все более приходила в отчаяние. Часами неподвижно стояла она у окна своей светлицы, откуда виднелась изба Ермака с петухом на коньке и дорога, по которой

он должен был возвращаться.

Петух на коньке продолжал вертеться кругом по воле ветра, а на дороге не появлялись всадники. По поселку ходили чужие люди. Вместо казаков и стрельцов там появились новые поселщики.

Ксения Яковлевна смотрела в окно, и слезы сердечной тревоги и горького отчаяния туманили ей глаза. Она осунулась и побледнела, словом, стала неузнаваема.

Напрасно Антиповна, Домаша, Мариула и сенные девушки старались всячески развеселить ее и утешить, напрасно Яшка изощрялся в своем искусстве на балалайке, а Домаша соловьем разливалась, запевая в хору. Ничто не помогало, молодая княгиня продолжала ходить туча тучей.

Не порадовал ее и приезд из Москвы дяди Семена Иоаникиевича Строганова, привезшего хорошие вести. Царь обласкал его, милостиво принял его челобитье и не только согласился на назначение Ермака Тимофеевича воеводою запермского края, но даже вручил ему, Строганову, о том свой царский указ.

Узнал также Семен Иоаникиевич на

Москве, что исполнил царь и просьбу Ермака — послал уже в Сибирь нового воеводу и пятьюстами стрельцами.

— Я обогнал его уже в дороге, — говорил старик Строганов, — скоро сюда приедет, а там и дальше сейчас же отправится... Тогда нам и князя ожидать надо... Видно, не пускают его дела, что так долго там задерживается...

Эта разумная речь дяди тоже не произвела на Ксению Яковлевну успокоительного впечатления. Она только грустно посмотрела на него и сказала:

— Нет, не видать мне, видно, больше моего князьенку...

— Что ты, Ксюша, пустое болтаешь! — возмутился Семен Иоаникиевич.

— Чует мое сердце, дядя, чует... Лежит где-нибудь убитый свет мой Ермак Тимофеевич...

— Тьфу, — отплюнулся старик Строганов, — и слушать-то тебя не хочется. Болтаешь несуразное...

Ксения Яковлевна ничего не ответила и снова погрузилась в свои невеселые думы.

Дни шли за днями.

Прибыл воевода московский со стрельцами, прогостил у Строгановых с неделю, пожалел и удостоился бить челом княгине Сибирской и отправился в дальний путь.

— Теперь скоро и наш князь пожалует, — говорила порою при своей питомице Антиповна.

— Не больше месяца ожидать его, свет-батьюшку, — вторила ей Домаша, хотя в душе догадывалась, что предсказание ее матери Мариулы сбылось.

Но цыганка молчала. И это обстоятельство более всего тревожило Ксению Яковлевну.

Наконец однажды, стоя у окна, она увидела скачущего по улице казака. Каким-то необъяснимым чутьем Ксения Яковлевна угадала, что это гонец из Сибири.

Она потребовала к себе Домашу и приказала, чтобы гонец был тотчас же приведен к ней.

Домаша ушла исполнить приказание.

Ксения Яковлевна стала с нетерпением ждать. Но гонец не явился.

Тогда быстро пошла из своей комнаты и, влекомая каким-то инстинктом, прямо про-

шла в горницу дяди. Там она застала картину, сказавшую ей все.

Ее дядя и братья сидели на лавках, а перед ними стоял прибывший казак. Из глаз всех катились крупные слезы.

— Он умер? — крикнула она.

Гробовое молчание было ей ответом.

Ксения Яковлевна как пласт упала на пол.

Произошел переполох.

Позванная Антиповна и Домаша с сенными девушками унесли бесчувственную вдову князя Сибирского в опочивальню.

Долго не могли привести ее в чувство и думали, что она сильно занеможет, но часто сильное горе производит на организм закаляющее впечатление, подобно молоту, кующему твердую сталь из хрупкого железа.

То же произошло и с Ксенией Яковлевной. Она пришла в себя, пожелала встать и казалась спокойной. Пришедшим навестить ее дяде и братьям она сказала:

— Не утешайте меня... Мое горе неутешно! Это воля Господа! Это перст его, зовущий меня к себе. Я посвящаю себя Богу.

Слова эти были произнесены с такой си-

лой духа, с такой бесповоротной решимостью, что Строгановы поняли: возражать против этого решения княгини Сибирской бесполезно.

Она низко преклонила свою голову.

Через несколько дней Максим Яковлевич повез сестру в Москву. Там в тихой обители, в маленькой келье Новодевичьего монастыря, основанного в 1524 году великим князем Василием Иоанновичем в память древнего русского города Смоленска, нашла себе приют несчастная княгиня Сибирская.

Она приняла схиму под именем Сусанны и прожила в монастыре более пятидесяти лет, причем последние сорок в полном затворничестве.

Слава ее о полонической жизни гремела далеко за пределами Москвы.